

ГРАНИ

GRANY

49

1961

Postverlagsort: Frankfurt (Main), Januar-Juni 1961

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XVI

№ 49

Январь-Июнь 1961 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

К восьмидесятилетию Бориса Зайцева	3
ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ — Из новых стихов	5
ВЛАДИМИР КОСТЕЦКИЙ — Окончание романа, рассказ	8
СТИХИ ИЗ РОССИИ — Весеннее, «В альбом Элизе», Находка на толкучем рынке	12
БОРИС ФИЛИПШОВ — Из книги «Музыкальная шкатулка», рассказы	14
Т. БЕЛИЧКОВСКАЯ — «Вышел месяц темной ночью...», стихи	39
ЛЕВ ДУВИНГ — Возмездие, повесть	40
БОРИС НАРЦИССОВ — Случай с Авксентием Алексеевичем, рассказ	88

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЭММАНУИЛ РАЙС — Сорокалетие русской поэзии в СССР (1920—1960)	94
ГЕОРГИЙ МЕЙЕР — Хождение по мукам (Опыт медленного чтения)	141

ИСКУССТВО

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ — Лепота	153
-----------------------	-----

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ — Оправдание духа (Против духоморов)	159
Прот. Д. КОНСТАНТИНОВ — Внешняя политика Московской патриархии (за 1960 год)	166
Е. ГАРАНИН — Новый курс советской карательной политики	187

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Сокольников. «Воздушные пути II». — В. Завалишин. «Разорвать... плен рутинный!» — Борис Филипшов. Владислав Ходасевич. — Г. Забужинский. Выдачки, предательства, лагеря... 1945 года. — Александр Шик. «Москва» Бориса Зайцева.	219
ЮР. БОЛЬШУХИН — Дружеские шаржи	235

К восьмидесятилетию Бориса Зайцева



«Во мне конец, во мне начало», сказал о себе *Вл. Ходасевич*. Эти слова с еще большим основанием применимы к *Борису Константиновичу Зайцеву*. Он не только представитель Серебряного века русской литературы, он и начинатель, что гораздо важнее. Вместе с *Борисом Пастернаком* он проложил новые пути для русской литературы, и есть все основания надеяться, что будущие свободные русские писатели пойдут путем *Зайцева* и *Пастернака*, столь разных на первый взгляд, но связанных единым духовным началом — христианством.

Тихо и в продолжение долгих лет свершает Борис Зайцев свое дело, указывая, что в мире, рядом с земным, грубым и матерьяльным, есть высшее непобедимое.

Основа творчества писателя религиозная. Жизнь — некое бремя, его следует нести. Это — задание, которое человек должен выполнить. И герои Бориса Зайцева так или иначе относятся к этому заданию, ниспосланному свыше; писатель в своих произведениях пристально наблюдает пути человеческих душ, приходящих то ли к преобразению, то ли к помутнению. Для него люди — странники, движущиеся в «странном» путешествии, ведомые Кем-то.

И революционная Россия предстает перед читателем тоже в образе великого странника, искупающего свое прошлое страданиями и глядящая в будущее. «Важнейшее для нас есть общий знак креста, наученности, самоуглубления. Пусть будем в меньшинстве, гонимые и мало видные. Быть может, мы сильнее как раз тогда, когда мы подземельней». Эти слова могут быть отнесены ко всем русским людям в рассеянии и в стране сущим.

Вот уже несколько десятков лет, как наступило в России время разделений и соединений, порожденное революцией: «Теперь люди разделяются... Люди... к людям. Звери... к зверям. И это значит... испытание для человека. Теперь не спрячешься уже: какой ты есть... таким себя и выкажешь. Теперь начистоту. Предъявляй, что имеешь. Время... тайных орденов братских. Чтобы друг дружку узнавать... по знаку... креста».

Для писателя подлинная жизнь — всегда движение, и только в движении может осуществиться просветление человека. И в этом движении бремя человеческой жизни — горе и счастье — всегда равно благословенно. В этих словах преодоление смерти. И в этом решении проявляют себя любимые писателем черты человеческие — смирение, кротость, скромность.

Для Зайцева жизнь и литература неразделимы. Между ними должна существовать полная гармония. Ни взлетов, ни падений, а ровный тишайший свет. Эти стремления привлекли писателя к работе над созданием образов Сергея Радонежского и Жуковского и воплотились в них.

Для Бориса Зайцева, как и для Жуковского, «искусство — не единый смысл бытия, есть высшее — религия».

Борис Константинович — современник Андреева, Бунина, Ремизова, Вересаева, Телешова, Горького и Чехова. В год его отъезда за границу (в 1922 году) в Берлине (изд-во З. И. Гржебина) вышло собрание сочинений писателя в шести томах: «Тихие зори», «Сны», «Усадьба Ланиных», «Земная печаль», «Голубая звезда», «Италия».

После переселения в Париж (в 1924 году) вышли в свет следующие книги: «Преподобный Сергей Радонежский», «Рафаэль», «Дальний Край», «Ул. Св. Николая», «Странное путешествие», «Афон», «Анна», «Золотой узор», «Жизнь Тургенева», «Дом в Пасси», «Путешествие Глеба», «Валаам», «Москва», «Тишина», «Юность» и «Жуковский».

Это литературное богатство еще предстоит познать и принять в дар от щедрого художника современной России...

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Я всё тебя искал. Я долго шел
По всем тропинкам, будто бы без дела.
И вот тебя я так и не нашел —
Лишь ту скамью, где ты тогда сидела.
И я увидел то же, что и ты:
Пологий холм, траву сухого цвета,
Простые, бледноватые кусты —
Обычный почерк северного лета.
Но тут я вдруг твои глаза обрёл,
И я увидел ими мир окрестный —
И странно: он передо мной расцвел
Как свадебный алтарь перед невестой.
Багряным цветом вспыхнули кусты,
Трава взметнулась хризолитом пенным...
Кого ждала, о чем мечтала ты,
Что стало здесь всё так благословенно!
1961

Простых путей не знаю я
К неутомительному раю.
На перекрестках бытия
Я сторонюсь и озираюсь.

Зовут широкие пути,
Но в сердце смутное решенье,
Что если и смогу дойти,
То лишь тропинкою сомненья.

Она теряется в песках,
 Но и высоты одолеет,
 И я бы их не отыскал,
 Когда б измучен не был ею.

Сомненье! Твой суровый срок,
 Твой страшный путь, твой след кровавый —
 Не человеческий порок,
 А человеческое право.

Есть вещей смысл в такой борьбе
 За приближенье, обретенье,
 И каждое мое сомненье
 Не новый ли порыв к Тебе?
 1961

Звенит лазурь, и ветры вторят,
 И влага пенится легко.
 Но то не воздух, и не море,
 И не сейчас, и далеко.

То лишь предчувствие чего-то,
 Что мне обещано потом,
 И прозвучало, словно нота,
 Под неуверенным смычком.

Мираж? Мечты? А если всё же,
 Рассудку вопреки, оно
 На то, что ждет меня, похоже
 И мне взаправду суждено?

Как не принять его и даже
 Не слиться в радости одной —
 Ты скажешь мне: с земным миражем? —
 А может с правдой неземной?
 1960

Глаза! Глаза! Пять-шесть недолгих лет
Вы сохраняете еще сиянье
Иного мира, тот нездешний свет,
Ту чистоту, которым нет названья.

А дальше? Для чего мы принесли
Издалека прекраснейшую нощу,
Чтоб сразу же на рубеже земли
Бесценный дар был безвозвратно брошен?

Зачем расцвел тот несказанный свет,
Коль всё равно ему здесь нет пощады?
И ждешь ответа. И ответа нет.
И что-то тут опять не так, как надо...
1961

ПРИШЕЛИЦЕ

Я на ночь не закрыл окна,
А к утру, словно виновато,
На подоконник проздь легла
Глицерини голубоватой,
И усиком за шпингалет
Так крепко-крепко зацепилась.
Как оттолкнуть мне твой привет,
Твою настойчивую милость!
Пусть будет ветер — все равно,
Пусть беспорядок натворит он —
Раз ты пришла ко мне, окну
Оставлю для тебя открытым!
1961

ОКОНЧАНИЕ РОМАНА

Рассказ

Посвящается В. Д. Самарину

Отца Али, веселого краснощекого батю, рассказчика и хохотуна, матрос взял пятерней за волосы, почти ласково заглянул в откиннутое лицо:

— Что, долгогривый, приехал?..

— и сейчас же выстрелил из нагана ему в затылок.

Алю держали, а она рвалась к отцу и могла исступленно кричать только одно:

— Чутьочку... Ну, хоть, чутьочку!..

Потом стрелявший матрос, глянув на Алю, сказал:

— Важная девка!.. Айда, братишки!..

И Алю взяли с собой на грузовик. А в доме стало совсем тихо. Только на улице трещал грузовик. Заводили.

Матушка, бывшая курсистка Елена Павловна, врач, в платке на плечах, простоволосая, вышла с черного входа и пошла по снегу, потому что нужно было куда-то идти.

*

Через неделю Алю видели на улицах, — в платке на плечах, простоволосой и непричесанной в опромных мужских, — на босую ногу, — ботинках. Она бессмысленно улыбалась проходящим мужчинам, мычала, а из слов говорила только:

— Чутьочку... Ну, хоть, чутьочку!..

Потом она исчезла.

*

Матушка, бродя, только на следующий день подошла к знакомому крыльцу, на которое она поднималась столько лет и у которого на грязном снегу еще остался вчерашний след от автомобильных шин.

На ступеньках крыльца, в луже крови лежал с совсем распоротым животом, с полуоткрытыми, уже застеклевшими глазами, опухший от страданий, — тот же вчерашний матрос.

На вывалившиеся кишки был положен криво оторванный кусок грязной картонки, и на ней, тоже кривыми буквами, тоже криво, — чернильным карандашом было выведено:

«Всем вам так будет!..»

Так, — в последний раз, — матушка Елена Павловна увидела убийцу своего мужа и мужа своей дочери.

Она опять подняла плечи и пошла вниз по Базарной улице, далеко, — туда, где город исходит маленькими редкими домишками, и начинается степь.

*

Совесть человека, узнавшего обо всем этом, должна несколько успокоиться вестью о распоротом животе, потому что одно из маленьких равновесий в природе оказалось восстановленным: от меча погиб «взявший меч», тот, кто это равновесие нарушил...

*

Последний отряд матросов и красных курсантов отошел на броневике, усиленно обстреливая вокзал.

Пути были забиты, и всё, что видел глаз уходящего жадного воина, было втащено, втиснуто в красные клубики теплушек.

Среди прочих, менее важных находок, — те, кто вокзал заняли, обнаружили вагон с несколькими бидонами спирта.

Высшими начальствами было приказано спирт вылить или сжечь. Средние начальства спирта не вылили, потому что близко были вагоны со снарядами. — Кто-нибудь может бросить спичку или окурок...

Из пожарных же соображений спирт не сожгли.

Словом, Леониду штабс-капитан Малицкий крикнул:

— Беги, Ленька, на третий путь!.. Наши все там!.. Там бидоны нашли!..

Поэтому, когда Леонид входил в свой родной город, — узенькие знакомые улицы и маленькие дома с палисадниками качались перед глазами не только от радости.

По главной улице, мощеной булыжником, мимо разбитых магазинов, они шли втроем, причем Леонид объяснял:

— Вон там, за углом, наша гимназия, а напротив — женская... Было жарко от выпитого и еще — потому что радостно же быть победителем в своем родном городе.

Однако окна были почти везде забиты досками. Было совсем пусто. На снегу валялись какие-то совсем для улицы неуместные вещи: продранные кресла, осколки стекла, тряпки, пустые рамы картин и пачки старых газет.

И, вот, когда Леонид, отстал и, наклонившись, стал рассматривать кучу изорванного белья,

— Может быть найдется чистая рубаха...

— из-за угла вышла женщина, простоволодая, растрепанная, в огромных тяжелых мужских ботинках. Она обняла его, наклонившегося, и прижалась к нему, дыша над ухом.

*

— Аля!.. — вздрогнув, глядя в ее зрачки, страшно закричал Леонид. Но Алины зрачки оставались, как и раньше, далекими, неподвижными и безучастными. Она еще крепче его обняла и, еще крепче прижавшись грудью, стала производить неприличные движения, от которых у Леонида кровь хлынула к вискам.

— Алечка!.. Что с вами?.. Как вы одеты?.. — тем же страшным голосом заорал Леонид, стараясь сбросить остатки пьяности и распутаться: в чем же дело?

Губы Али забормогали что-то невнятное, а потом она сказала:

— Чутьочку... Ну, хоть, чутьочку!..

— и, не опуская дрожжащего Леонида, потащила его в тот же проход, из которого вышла.

Проход, — сквозные ворота в каменном доме, — был завален остатками темной полусгнившей соломы. Наклонившись на бок, стояла брошенная двуколка с разбитым колесом.

И, вот, — дуп, — на слежавшейся гнилой соломе, на покривившейся неустойчивой двуколке полудьяный Леонид получил то, о чем, очень в глубине, мучительно сладко и прещно он мечтал эти два года — любимую золотую стройную гимназистку Алю, дочь отца Василия.

Аля крепко его обнимала, задышалась, но когда Леонид сумел

что-то понять — он увидел, что ее зрачки, — как и раньше, — безучастны и неподвижны.

Мучительный страх овладел им.

— Алечка, родная, что с тобою?..

Он начал сознавать: что-то не так, что-то случилось и — что-то ужасное, непоправимое сделал он сам.

Алины губы забормотали быстро, неразборчиво, а, потом, — совсем ясно:

— Чутьочку... Ну, хоть, чутьочку!..

Вдруг она со звериной ненавистью взглянула на него, изо всей силы толкнула в грудь, вскочила и убежала. А он, задыхающийся, стал и, опершись на винтовку, безуспешно пытался разобраться во всем, что случилось.

*

Когда, — через годы, — будут писать историю, никто не вспомнит об Але, о Леониде, матушке Елене Павловне, об отце Василии и — о затерявшем свое имя малюсе. Все знают, что революция и вытекающее из нее будущее счастье народов строится на человеческих костях.

...Это — я, смиренный инок, обученный книжному искусству и прописному ремеслу, записал все во славу Творца, Создателя Вселенной и всех дел ее.

А еще, записал, чтобы знали, что надо искромсать много горячего человеческого мяса, чтобы добраться до этих самых строительных костей...

СТИХИ ИЗ РОССИИ

ВЕСЕННЕЕ

Опять весна горячих строчек крохи,
Как воробей, из рук твоих возьмет.
И промелькнут весенние подвохи —
Апрельский дождь со снегом вперемёт.

Опять весна шепнет тебе: не мешкай,
Не прячься по протопленным углам.
Возьми дожди со снегом вперемешку,
Возьми любовь с тоскою пополам.

«В АЛЬБОМ ЭЛИЗЕ»

Плещет с крыши дымок светло-сизый,
Сад — в зеленом и ты — в голубом.
Не клади эти ноты, Элиза,
В свой сафьяновый глупый альбом.

Затеряются между диковин
Полусонного городка
Беспокойный Людвиг Бетховен
И его ночная тоска...

Это он, неуёмный и гордый,
Наклонившись над нотным листом,
Осторожно ласкал клавикорды,
Улыбаясь усталым ртом.

Это он, в полумраке пугливом,
На мгновенье забыв о борьбе,
Разметав седовласую приву,
Еле слышно шептал о тебе.

НАХОДКА НА ТОЛКУЧЕМ РЫНКЕ

Средь старых книг, часов и платья
Вдруг заблестело предо мной
Простое медное распятье
Полузапертой желтизной.

Какие сны над ним рыдали,
Какие жадные уста,
Томясь, истошно припадали
К отраде медного креста?

В каком альковном изголовье
Он тайны брачные вмещал?
Каким рукам, омытым кровью,
Он преступления прощал?

Висел ли в горенке купецкой
Над мирным сном пуховиков?
Или на шее молодецкой
Гнут от опричных кулаков?

Молчит Распятый в вечной муке,
Пред вечным Господом ходок...
И только обжигает руки
Спокойный медный холодок.

Из книги „Музыкальная шкатулка“

КРИНИЦА

Над монастырской криницей стояла часовенка из песчаника. Стояла она в самой чаще леса, и шагов за пятьдесят можно было только заметить синюю главку купола с полинялыми золотыми звездами, да немного покосившийся крест с прорыжевшими цепями. Лес был корявый, беспорядочно вырубаемый и столь же беспорядочно выращиваемый, но веселый, певучий и грибной, и звонкоголосые детворы перекликалось в нем с ломкими альтами подростков, а в укромных уголках можно было спугнуть не одну затаившуюся парочку. Лес горожане любили, нередко он бывал переполнен гуляющими, и каждый обязательно заходил в часовенку испить вкусной студеной воды монастырской криницы.

На стене висела медная кружка для добродетельных даяний, к каменному повершию колодца, сложенному на манер туба, была приделана скоба, а к ней — небольшая цепь с эмалированным ведерком. Над кружкой была грубо намалевана поучительная картина: скупой богач, высыпающий из мешка и алчно пересчитывающий червонцы, а за спиной его с огромной косяк смерть. На противоположной стене тот же богач, окруженный унылыми козлонюгами дьяволами, простирает из адского пламени клюквенного цвета руки свои к Лазарю, покоящемуся на ватном облаке, умоляя своего райского брата о мизинной капле воды. Этой весной медную кружку взломали, богачу, Лазарю и смерти пририсовали красные и синие усы, но ведерко не тронул никто. Только рядом с часовенкой водрузили на двух тощих столбиках фанерный щит с просветительным плакатом:

Потребляя воду с одного сосуда,
Ты распространяешь сифилис, простуду!

Прекращай, товарищ, это безобразие —
Попам не потворствуй, вере и заразе!

Поперек этого призыва чья-то размашистая, явно неофициальная надпись:

Как был царь с своей царицей,
Была рожь, была пшеница.
Посадили холуя,
И не стало

Дальше все было тщательно выскоблено, и рукою директивной и четкой выведено: «Просьба на общественных объявлениях матерно и вообще не выражаться», — а все завершалось сердцем, вздетым на стрелу: «Обожаю Ньюру!»

Раза два-три в год, летом или ранней осенью, у часовенки появлялся опромный оборванный странник — с целой копной выключенных опленных волос, чуть тронутых у висков изморозью, с красной бородищей и усищами домового. Мальчишки, завидев Агафангела — так звали странника, в далеком прошлом кубанского станичного атамана, — свистели и вопили в оспервенении: «Рыжий-красный — человек опасный!», — но близко подбежать не решались: на Агафангеле устрашающе звякали вериги, а посох, заканчивавшийся медным восьмиконечным крестом, был слишком велик и увесист. Босые жилватые ножищи странника по-хозяйски уверенно топтали землю, а неутихомирившиеся дикие волковы глаза рассказывали мало-мальски наблюдательному человеку житие Агафангела пораздо ярче и полнее, чем косноязычная промогласная речь его.

Сопровождал его к кринице чаще всего тщедушный монастырский дьякон, о. Власий, кривобокий, впалопрудый и щуплоногий, с бескровным сморщенным личиком, редкой узенькой бороденкой и вечно свисающей из левого глаза слезой. Говорил дьякон кудахтающей скоробормоткой и как бы размахивая невидимым кадиллом.

— Неправ ты, Агафангел, — залихватато и в нос захлебывался Власий, сладко щуря подслеповатые глаза: — не оправится мир: обмирщился слишком. Глянь хоть на картину тую: как богач карежится, как денгу пересчитывает и в мешок пхает, какие руки у его запробистые. А смерть уже за плечьями: от ее не уйдешь. Ох, и худо придется нам! Забыли Бога, Христа гоним... Вон на прошлой неделе Ревком на базарной площади «суд над Богом» устроил... Мужик балует, за все втридорога дерет, иконы на дрова

рубает, сатану радует. Вчера моя пошла на рынок, думала масла и сметанки обменять... Куды там! — Две чайных ложки серебряных за стакан топленого масла простот... Последние, знать, времена пришли...

— Ну, отцы, всё мудруете? Чрева на солнышке полируете? Откуда бредешь, Агафангел? — к старикам подсел лысоватый ветеринар Космодамианский.

— А из Армавира. Иконе обновленной поклонился, да сюда на престольный праздник приплелся...

— Наверно смухлевали чего-нибудь: как ей обновиться-то, иконе этой? Не верится, отцы мои, — сомнительно покачал головой ветеринар.

— Видать, у тебя ум за разум зашел, — так ты с большого ума в безбожники записался? А ведь батька твой какой правильный был, благочинным был, а ты такие слова... Вот уж и вправду сказать, последние времена настают, раз такие речи от ученого человека слышать приходится. И чему тебя, арета, в семинарии учили?!

— Оставь его, отец Власий. Все они, ученые, — на дерьме печеные, с последнего ума сбрендили: с большого ума и царя скинули, и церкви закрывают, и братья с братьями своими бьются... А только царь-то наш жив: его в Катеринбурге верный солдат подменил. Солдага, значит, умучили, венец приял, а царь-то до поры скрывается, и как придет срок — объявится... Ну, а до последних-то времен не так близко, слышь ты: ведь князь мира сего — по Писанию — народ вдосыть накормит, а глян, как сейчас народ заместо хлебушка лебеду да курай чёртов жрет... Нет, это еще только детки антихристовы, а сам-то он еще не народился...

Солнце прело так ласково и великодушно, что не было охоты спорить ни цивилизованному ветеринару, ни дьякону, ни страннику.

— Д-даа, — протянул ветеринар: — об эту пору, бывало, к престольному празднику-то что народища к кринице после монастырской обедни ходило?! Причепуренные, веселые, с курями жареными, поросятинкой, яйцами, пирогами, вином... Эх, времена были!

— Самы виноваты: кто просил революцию разводить? — Вот и насидимся в холоде, поддыхаем с голоду, — ежели нас ране не спишут налево...

— Дьякон, дьякон, непутевая голова, — пробасил Агафангел: — Господь не зазя испытания посылает нам: заслужили,

знать. Да ведь и раньше-то разве все было по-Божьи? Держи карман шире! — Жирно жили, брюхо растили, баб перли, а Бога и позабыли.

— Конечно, — о. Власий тулко высморкался в праздный скомканный платок с синей каемкой: — и раньше не всё рай было, но как вспомянешь — до слез жалко, что оборвалась жизнь. Народ пошел сейчас темный, ну, совсем гуманный: ничегошеньки не смыслит, только орет: «долой старое!»

— Не сетуй, дьякон: во испытание дана нам жизнь, а не сластьбы. О смерти думай!

Но думать о смерти не хотелось никому. Солнце уже не пекло, как в июле, а бархатные губы ветерка так приятно щекотали кожу, волосы, тело, забивали за шиворот божьих коровок и черно-зеленых букашек, шелестели в ветвях. Плыли низкие (добные облака, издали неся монастырский благовест.

— Ну, пора в церкву... — О. Власий нехотя поднялся и, зевая, перекрестил мелким крестом рот.

— Успеешь, дьякон.

— А благодать-то какая! Солнышко еще милует нас, милует и Господь землю нашу...

Выдавала меня матушка далече замуж;
Хотела матушка часто езжати,
Часто езжати, подолгу гостити...

Глубокий прудной низкий голос. Старая, старая песня. А голос молодой, свежий:

Лето проходит — матушки нету;
Другое проходит — сударыни нету;
Третье в доходе — матушка едет...

На тропинку вышла красивая, рослая, пышноцветлая мешанка в зеленом атласном платье и кружевном черном платке. Хорошенькая девочка-двухлетка семенила за ней.

Уж меня матушка не узнавает:
— Что это за баба, что за старуха?..

— Хорошо поет. И песня-то ладная, — задумчиво прогудел Агафангел.

— А ты поешь еще, доктор, иль забросил? Ведь какой тенор у тебя в семинарии был! — спросил дьякон ветеринара. Тот безнадежно махнул рукой:

— Где уж мне петь! Жена, пеща, пятеро ребят. Еле-еле концы с концами сводим. Да и пил я немало. Разве останется голос-то?

— Жаль...

Мещанка подошла к часовне. Истоиво перекрестилась, поклонилась земно и опустила ведерко в колодец. Девочка смешно стала на коленки, приложила ручонку ко лбу и пруди, поклонилась, заглядывая назад.

— Прощевай, доктор. Засиделись с тобой: больно денек хороший выдался. Идем, что ли, Агафангел, — не то опоздаем, не дай Бог...

— Идем. Прощай, друже. Бога не пневи и в Армавир ступай, пред иконой помолись обновленной, чтоб сумнение твое тебе простила...

Ушла и молодка, взяв девочку на руки. Ветеринар остался один. Песня всколыхнула всё его прошлое. В семинарии не было его голосистей. Не было в городе вечеринки, чтобы не просили его спеть «Хуторок» или «Дьвлось я на нэбо»:

— Ну, прямо Собинов! Учись, Вася! Тебе на сцену надо бы...

Но у отца благочинного было восемь душ детей, и учить Василия пению средств не было. Да и характерец у парня был боевой. Крепко сколоченный, ладный, с черными маслинами глаз и крутой смоляной вьющейся шевелюрой, быспрохватый и верткий, чистый цыган, — Вася был зачинщиком всех семинарских дебошей, а уж бабенкам испуску не давал. Еле успевали замять один скандал, как глядь — Василий уже нарывался на другой. Как-то поймали его, когда он лез в окно к инспекторше, спелой, как наливное яблочко, молодой и смешливой, сидевшей поздним вечером у окна в одежонке — по жаре — отнюдь не многослойной. Нельзя сказать, чтобы инспекторша слишком обрадовалась поимке закоренелого Дон-Жуана, но Дон-Жуана с треском вышибли из семинарии. Насилу отец благочинный умолил перевести сына в другую семинарию, в другую епархию — не выбрасывать с волчьим билетом. Куда тут еще о пении думать! Уже много позже, на втором курсе Дерптского университета, женившись, Космодамианский попал как-то в Питер. Знакомые устроили ему встречу с Фигнером. Послушал Фигнер студента и сказал ему:

— Были бы у меня ваши данные, — я бы на весь мир пропремел. Но хватит ли у вас упорства, настойчивости, терпения: учиться, бедствовать, ждать?

Ждать?! Но жена ждет ребенка, но денег в обрез на обратный путь в Дерпт, но от отца помощи не дождешься: других детей на дорогу выводить батю надо... Жена... Да. И жениться-то пришлось волей-неволей: жениться на нелюбимой: зашло уже далеко, — и крепкий, как дуб, отец обиженной — настоятель пригородной церкви — силком потянул Василия под венец.

Долго мучился Космодамианский: тянуло на волюшку вольную, влекло к женщинам и веселым товарищеским попойкам, а, плавное, тянуло петь, петь, петь. Не мог ходить на концерты, в оперу: было до слез нестерпимо. Потом забыл, окунулся в семью, в работу, в карты, сплетни, уездную соню...

Ветеринар встал, потянулся, прислонился к дикой черешне — и неведомо откуда полилась прямо изнутри далекая, милая, вся пронизанная музыкой воспоминаний песня.

— Не прещи, доктор. Пой лучше в церкви, — аукнулся издали насмешливый бас Агафангела.

Ветеринар вздрогнул, сосулился и поплелся домой.

Ж А Р Ы Н Ь

В самый разгар лета, когда весь город дымился потной испариной, а от мелкой въедливой степной пыли нельзя было укрыться даже дедовскими ставнями с тяжкими, кузнечного изделия, болтами, — на крутых афишных тумбах мальчишки расклеили гигантские трехцветные объявления:

ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА

(бывший «Альказар»)

ТОЛЬКО ТРИ СПЕКТАКЛЯ! ПРОЕЗДОМ! ТОЛЬКО ТРИ СПЕКТАКЛЯ! Ансамблем артистов Академических театров Москвы, Ленинграда и Баку будут художественно исполнены выдающиеся произведения русской и иностранной классики

О П Е Р Ы!!!

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. Музыка Чайковского по Пушкину

ДЕМОН. Музыка Рубинштейна по Лермонтову

АИДА. Музыка Верди на сюжет древнего феодально-империалистического Египта в декорациях и исторических костюмах.

ВЕДУЩИЕ СОЛИСТЫ (следовал куцый перечень)

Х О Р . — О Р К Е С Т Р . — Б А Л Е Т .

Музыкальный руководитель А. Горенштейн. Режиссер Н. Скляр-енко.

НАЧАЛО БЕЗ ОПОЗДАНИЯ РОВНО В 7 ЧАСОВ.

Администратор Н. Скляр-енко.

— Пойдем, что ли, Захар Павлович, — забежал я прямо со стройки к главному инженеру Горкомхоза Егорову: — в кои-то веки «Онегина» послушаем...

Захар Павлович посмотрел на меня, как на бесноватого. Сам он успел уже разоблачиться и сидел за столом с остатками окрошки, босой и голый до пояса, с мокрым полотенцем на голове:

— Вы очумели?! Чтоб я в эдакую жарницу вылез из хаты! Только закрытые ставни и спасают... Ленка, чего ты там завозилась? Успеешь красоту навести... А что босая и в капоте на голое тело, так это тебе же, дурехе, лучше. Ноги у тебя хоть и волосатые, но не кривые, чай... Вылезай, да и тащи кваску с ледком... Константин Иваныч за капот не осудит, — по жару-то...

— Ну и циник проливный, — выпорхнула из боковушки жена Егорова Елена Сергеевна: — вечно разыгрывает мужлана: ужас, как надоел! Как поживаете, Костя? — стрельнула она искусно подведенными, но уже растекающимися от жаркого пота глазами: — Почему так долго не заглядывали к нам?

— Да ты квас тащи, квас с ледком, нечего языком трепать...

— Так сегодня опера, Костик? «Онегин»? Пойдемте с вами, — моего медведя разве вытащишь...

— А твой медведь и без того сызмалу наизусть знает ихнего тенора Карасева. Сколько мы с Ванькой водки выдули — даже вспомнить страшно. Встретил его сегодня на улице: ошарпанный, но в прунелевых ботиночках и с тросточкой. Тоже тебе — премьер!

— Интересный?

— Тебе, дуре, всякие штаны интересны...

Что было завлекательного в Лене? Скорее даже некрасивая, большеротая, чуть косоглазая, с мохнатыми, как у шмеля, от рыжей щетинки руками и ногами. Вот разве великолепный цвет лица и лусейшая грива огненных волос, да ненасытный темперамент заставляли позабывать и неказистость, и неумягость, и траурные каемки под оплакированными ноготками. Любовничков и просто вздыхателей у Лены всегда бывало вдосталь, очередные ухажоры часами дежурили на скамейке у ворот небольшого егоровского домишки, и Захар Павлович настолько привык к этому, что никогда даже не порывался выйти за папиросами, закуской или напитками, будь то водка, пиво или простой квас. Он, лениво почесываясь, высовывался из окошка и змеиным — сквозь сомкнутые зубы — посвистом подзывал дежурного влюбленного:

— Кто там сегодня? Кравченко? Сходи-ка, голубчик, за водочкой. Да, поллитра. И две пачки «Беломорканала» прихвати. Вот. Тут ровно в аккурат, без сдачи.

В театр мы опоздали всего, правда, на полчаса. Как ни торопил я Лену, но из спаленки слышалось только плесканные воды, мягкий шелест и шмяк разбрасываемых как попало вещей да короткий смешок с подвизгиваньем:

— Ну, сейчас, Костик. Успеет, авось. Какой вы, право.

Опоздали — это, впрочем, не то слово. В засаженном полутемном зале было полно, душно и потно до юдури, но никаких признаков близящегося начала спектакля не было заметно. Наконец, в четверть девятого, после оглушительного рева и топанья ногами озверевшей от жарыни и ожидания публики, в оркестровую щель бодро ввалились шесть духовников из оркестра местной пожарной команды. Капельмейстер Непомнящий взмахнул палочкой, и трубы рывкнули увертюру-фантазию «Пробуждение льва». Вслед за этим оркестр, сложив поплитры и гремя смазными сапожищами, вывихнулся в узенькую дверцу, ведущую прямо в городской сад, и под жиденькие стеклянные звуки разбитого пианино, за которым утнезвился дуныйый маэстро Горенштейн, нехотя раздвинулся занавес.

В отношении хора афиша не солгала: два мрачных скелетообразных пейзажа дребезжали более или менее в унисон с басом расползшейся старухи — она же нянька Лариных, — а одинокая балерина в прязной пачке и узорчатом кокошнике топотала русскую с безголосой Ольгой.

Зато Ленский — с Ленским была трагедия. Он безмолвствовал до самой сцены бала у Лариных. Да и там он с величайшим трудом выперхнул из себя хриповатое: «В вашем доме...» — и окончательно смолк, закашлялся, махнул на все рукой и неловко прислонился к сразу заколебавшейся колонне древнеегипетского храма. На дуэль он не явился вовсе. И на крики возмущенной публики: — Ленского! Даешь Ленского! — появился только порядком перепрусивший Онегин — он же руководитель труппы и ее постановщик. Подстегиваемый криками и топотом несознательной публики, Онегин пробасил, как сумел: «Куда, куда вы удалились».

Секундант не растерялся и, обращаясь к двуликому Онегину-Ленскому, успел пропеть:

— Ну, что же, кажется, противник наш не явился?, — за что и был наповал сражен пулей находчивого Онегина.

Со спектакля возвращались в два часа ночи. Но и ночь не

принесла прохлады. Тяжелые испарения, как пары в предбаннике, плыли горячей марлей над изнемогающим степным городом. Лена висела у меня на руке, потная и лирическая, а я еле тащился, глаза у меня слипались, тело было омерзительно липким, ноги подкашивались.

Сквозь ставни из домика Егоровых лился свет, два пьяных голоса, перебивая друг друга, оралли:

— Нет, ты подумай, он не барригт-тон, а стукач, свол-лочь несчастная, я тебе скажу. А как он партийный, то ему и верят... В руководстве. Да. Не ему, Онегину занюханному, меня, а мне бы его, ссу-ссукиного сына пристрелить... Э-ээ...

— Да ну его к чёрту! Спой лучше, Ванька, «Кукарачу»! Бабы моей нет — она на «Онегина» с хахалем пошла, — так пой со всеми онёрами, по-холостяцки...

— Н-не могу, Зах-хар, — я д-должен х-хоть бы завтра в «Демоне» спеть. Итак Ленского прос-сс..., прости, пропил я его, гол-лубчика, — скандал ведь, братец... И по профсоюзной линии, и п-по ад... ад... ну, министривной...

— Кто это у тебя?! — завизжала Лена и заколотила по дверям, как по литаврам.

Прямо на нее рухнула потрепанная фигура в обившемся набок галстуке, полурасстегнутых штанах и в одном ботинке, но с тросточкой и папироской, приклеившейся к уголку набрякшего слоной рта:

— Б-буддем з-знакомы: давний кореш, то есть приятель в-вашего ссу-ссуруга, засс-з-заслуженный тенор ак-кадемических театров Иван К-карасев... Т-тенор:

— Куд-да, куд... куда вы удалились...

— С-сердце крассавит-цы... склонно к из-мене... — И тенор покачнулся, как-то нелепо пробалансировал ногой в ботинке, но все-таки тяжело обрушился с высоких ступенек в бурьян и крапиву и, обжегшись, заплакал и заматерился.

— Уйду от тебя, пьянчуга несчастный, подлец, — взхлеб рыдала Леночка. Слезы промывали дорожки у подведенных глаз, смывали и пот, и степную пыль.

— Ну, чего взбеленилась, — успокаивал ее Захар Павлович. — Эк напугала: уйдешь. Ну, и уходи на здоровье. Да уймись ты! Сдавайте ее с рук на руки, Константин Иванович, — хватит вам с нею валаандаться: вижу, что обрыдло вам самому это дело...

— В в-вашем домме, в вашшем домме, — надрывался тенор в крапиве, снимая оставшийся башмак и подворачивая попри-

личнее зеленый носок, — чтобы скрыть от дамы вылезавший наружу большой палец ноги: луна светила во всю...

— Уймись, опера чёртова...

— Закаччем ты меня подпойл, З-захар?! По жаре я всегда легко балдею... М-меня легко об-бидеть: я крутлая с-сирота... И барритон, сволочь, меня обижает... А ты подпойл, ссу-ка, а теперь см-меешься! Я т-тебя!..

Но брошенный пьяной рукою башмак попал не в хозяина, а больно треснул меня по животу.

— До свиданья, Леночка, до свиданья, Захар Павлович, — поспешил я ретироваться.

— Простите, голубчик, в чужом пиру похмелье — так тоже бывает...

Я уже заворачивал за угол непомерно длинной и широкой улицы городка, но все еще слышал пьяные рулады:

— Я лоблю вас, Ольга, туды в качель...

— Вдоль по улице м-метелица метет...

РЕСПУБЛИКА МУЗ И ГРАЦИЙ

Как сказать, — одиноким он все-таки не был. В его комнате, сплошь уставленной книжными полками, как-то еще умещались рыжая собака лисьего обличья со скатанной в войлок шерстью и длинная черная кошка со всегда удивленным выражением круглых зеленых глаз. И Рейнеке-Лис — так звали пса — и Чертулька — так звали кошку — ревниво следили, чтобы доли хозяйского благоволения, пища и ласки были распределяемы равномерно, никому не в обиду, а впрочем, жили мирно и дружно. Кошка любила забираться за книги, иногда вываливая на пол стопку томиков и томищ, а пес тщетно старался следовать примеру своей приятельницы. Он как-то ухитрялся засунуть в узкое пространство между стеной и книгами передние лапы, но ни уширяющаяся к ушам башка, ни рыжее туловище никак не влезали, даже если выбросить особо неприятные толстенные книги.

Тогда, соскучившись по сладко заснувшей за книгами Чертульке, Рейнеке-Лис начинал уныло скулить, и хозяин отрывался от очередной рукописи, с крикхтеньем нагибался — артрит и годы давали себя знать, — вставлял на места вывалившиеся книги, трепал по башке пса, скашивавшего набок голову до того, что коричневые глаза выворачивались чуть ли не наизнанку, выказывая иосиня яркие белки. А Чертулька умащивалась на рукописи и та-

рахтела, выгибаясь в самых невероятных-кокетливых позах и скребя коготками испианные стремительным почерком листы.

Когда-то были увлечения, была и большая любовь, и пестрая жизнь спервоначалу филолога, затем офицера и механика, даже одно время газетчика, — беспокойная и размахистая жизнь требовала поворачиваться к ней разными сторонами и всяческими способностями и специальностями. Но теперь оставались только книги, покой и два четвероногих друга. Хлеб всем троим давали изредка выбираемые патенты на мелкие изобретения, о которых всегда с неким торжеством сообщала хроника местной газеты «Слово Истины».

Так, именно по хронике, и обрела его она, живущая ныне в далеком-далеком южном городе, та, измучившая когда-то его юность. Однажды, через газету, он получил беременное письмо, начинавшееся не без патетики: «Я, наконец, свободна. Мой умер. Одиннадцать лет тому назад. Дети не могут быть помехой: у них уже свои семьи. А сердце и душа — они не стареют. Не правда ли?

Помнишь ли ты
 Наши южные страстные ночи,
 Блещут цветы,
 Юным смехом горят мои очи...»

— Ну, раз до стихов дошло, — значит уже *дошло*. Правда, Рейнеке-Лис? А была она на тебя похожа. Рыженькая, с мелкими чертами острого личика, и как все рыжие, — белая-белая, с веснушками на шее и плечах. Даже остренькие груди были с пестринкой, как яйца коноплянки. Сколько теперь ей, мой рыжик? Должно быть, пятьдесят восемь. Ну, да, не меньше...

И письмо недочитанным было уложено в «ящик реликвий».

Читал он много, много и знал, но когда писал, старался не цитировать и не повторять чужого. Ведь и так, думал он, совершенно бессознательно *чужое* не может не отразиться на *твоем*, тобою прочувствованном, пережитом, продуманном: мы — дети наших отцов, да и окружающее не может не влиять на нас. К чему же еще и сознательно увеличивать в *своем* эту долю *не своего*, и так наиболее уёмистую? И он исписывал свои тетради вольготным и широким потоком «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Редкие гости, которым он охотно, но еще более редко, показывал отрывки своей «Жизни без прикрас и домыслов», — говорили ему:

— Грех такое таить. Публикуйте, обязательно печатайте. Это так интересно, своеобразно и талантливо. А мы в журналах читаем такую мякину...

«Что же? — подумал он: — попытаюсь...» И пошел, без всякой надежды, но для очистки совести, в редакцию толстого журнала «Старина и Новизна».

Редактор, верткий и молодежавый, с поседевшими прибородовскими бачками, сильно смахивающий на старшего приказчика галантерейного магазина доброго старого времени, встретил его ласково, но с недоверием: сам он был историческим романистом, писавшим ножницами толстые повествования, сплошь нарезанные из популярных мемуаров, учебников для средней школы и отрывных календарей. И всякого беллетриста рассматривал как потенциального соперника и возможного врага. Увидев, что рукопись старого новичка скорее не беллетристика, он с облегчением повернулся к толстому одышливому средовеку в мутных очках, все время сосредоточенно скатывавшему в трубку листы чьей-то злополучной рукописи:

— Профессор, это по вашей части. Скорее философия...

Ученый член редакции нехотя взялся за принесенную рукопись. Приподняв ее близко-близко, совсем впритирку к своим очкам, он тщательно перелистал ее, и, установив, что это, профессора, имя никак и нигде не упомянуто, сразу заохолодел, как котлета в станционном буфете:

— Видите ли, — сказал он, — здесь, во-первых, явное смешение жанров: не поймешь — что же это такое: мемуары? философия? беллетристика? А, во-вторых, нет ни обзора литературы предмета, ни подлинного критического отношения к господствующей там — вы понимаете? — теории зеркального отображения. В-третьих: где же ваше личное отношение к квантовой теории, к гуссерлианству, к Ясперсу и французским экзистенциалистам? Нельзя же так! Мы ведь живем не в безвоздушном пространстве...

Автор даже весело и с облегчением подхвачил свои тетради и пошел уже к выходу, когда его остановил великодушно-величественным жестом главный редактор:

— Э, послушайте... А я полагаю, что вы могли бы зайти в редакцию «Слова Истины»: у них нет такой нужды заботиться об академической выдержанности жанра...

Редактор «Слова Истины» принял автора более чем радушно: материала было совсем мало, особенно мало писало мужчин. Мило ослабившись, он взял рукопись:

— Да-а, — протянул он, — очень-очень интересно. Но — не

находите ли вы, — что для газеты, даже для отдела «Республика Муз и Граций», — это несколько длинновато? Если пустить с продолжениями, то хватит, пожалуй, года на полтора... Знаете, друг мой, не сократите ли вы все это эдак на два фельетончика и два-три трехстолбцевика? Хорошо бы придать матерьяльчику и такой легкий юмористический оттенок... А, впрочем, может быть, это лучше подойдет для «Вестника Экзистенц-Персонализма»?

*

Однажды соседи услышали за дверью нашего одинокого мыслителя унылый, голодный дуэт: выла собака, жалобно вторила ей кошка. Мыслителя никто не встречал уже дня два-три. На стук никто не отвечал, только усиливались вой и мяуканье.

Когда дверь выломали, увидали за столом мертвого хозяина. Рядом буквально рыдали его ополодавшие и одичавшие от скорби четвероногие друзья. Мыслителя похоронили. Зверье с прехом пополам отправили не то на живодерню, не то в общество покровительства животных. В газете появилась заметка: «Памяти нового Киркегора». А книги и рукописи были окончательно попребены — их передали в архив университета.

И через десять лет добросовестный ученый, набредя на полустершиеся рукописи нашего чудака, написал добротное о нем исследование. Написал такими тяжкими свинцовыми словами, что даже на зов трубы Страшного Суда не подняться мыслителю из мертвых: тяжеленный саван учености навеки задавил его в трубу.

...Где и когда это было? *Всегда и повсюду.* Уверяю вас.

ДУША, КАК ГОСТЬ

Редактировал я тогда одну книгу. И, чтобы выпустить ее как можно тщательнее, последнюю неделю буквально не вылезал из типографии: тут же корректировал гранки, следил за расположением стихотворных строк на страницах, ругался с линотипистами и хозяином.

Выйдя в перерыве, чтобы где-нибудь перекусить на скорую руку, я случайно взглянул в витринное зеркало: — батюшки! не стрипса, видать, месяца четыре... Вид аховый. И тут же я вернулся в ближайшую парикмахерскую, в подвальчик, совсем небольшую, с одним мастером и с совсем старомодной вывеской — такие встречались в русской провинции, только здесь буквы были латинские:

«Якопо Бенвенуто Рубини».

Мастер, средних лет, с большими залызынами на лбу и седыми висками, со скорбно опущенными углами губ и выпуклыми печальными глазами, театральным жестом предложил мне занять кресло, обвязал вокруг шеи покрывало и старательно заткнул за шиворот мягкую бумажную салфетку.

— Поко-поко, — сделал я у самого запылка жест пальцами, сдвигая и раздвигая их, как ножницы: — э модерато, — этим был исчерпан весь мой итальянский словарь.

— Может, вы говорите по-русски? — неожиданно спросил меня маэстро Рубини.

— О, да, конечно.

— Мы пана обстрижем по-нашему, под-полечку...

— Вы хорошо говорите по-русски. Вы давно из России?

— Два года. Через Польшу.

— А где жили в России?

— А не так много — где :на Ухте, в Казахстане...

— На Ухте?!

— Ну да. Я был заключенным там. Работал вторым парикмахером на управленческом лагпункте.

— Рубин?! Это — вы?!..

— Да неужели... Да Господи ж... Да быть того не может...

— Это я, Яков Вениаминович, это я. Ведь и наши койки в бараке были рядом... Но почему вы стали Якопо Рубини? И как попали в Нью-Йорк?

— Если хотите знать, — это целый роман. Или, вернее, драма... А Рубини стал потому, что квартал этот, ну, только художники и потаскушки... Ночные бары, артисты, бродяги разные... Тут половина взяла итальянские имена: искусство! — Нельзя же отставать от других — коммерция...

...Последний этап на Ухту — поздней осенью 1940 года — живо заинтересовал и уголовников, и лагерное начальство:

— Ну, держись, братва, — Европа к нам хряет, — смеялись уркаганы.

В модных тогда коротких пиджаках с нашитыми карманами, в широких брюках и в мягких фетровых шляпах; в атласных и шерстяных плащях; с необычными разноцветными чемоданчиками, к нам подходили все новые и новые толпы мужчин и женщин. Это были схваченные в только что освобожденных от панского пнета областях Западной Белоруссии и Украины евреи (поляков потнали на Веплюсян, украинцев и русских на тракт Чибью-Крутая, а белорусов на лесоповал к Лья-Иольским буровым).

За что их схватили? В чем их обвиняли? На это ни они, ни их конвоиры не могли бы ровно ничего ответить: их схватили, посадили в теплушки — и привезли вот сюда, не предъявив даже обвинительного заключения. Некоторых, правда, для порядка били, кое-кого даже попытали, но без большого усердия. И формулировку обвинения, и сроки им объявили только через несколько месяцев, уже на месте, в лагере НКВД: «ПШ» — «подозрение в шпионаже»: «могли оказаться шпионами»... Сроки — от пяти до десяти лет. И всё. А сейчас — они не понимали ничего:

— Мы встречали русские войска с цветами... Ведь нас, евреев, поляки не очень-то жаловали... И вот — пришли освободители, для которых нет различий между людьми — все равны, все братья... Да и все мы — трудящиеся — портные, шапошники, сапожники, парикмахеры...

За их пиджаками и юбками, штанами и шляпами и началась теперь свирепая, ожесточенная и упорная охота. Оголодавших, непривыкших ни к приполярным условиям, ни к тяжелому физическому труду евреев-ремесленников намеренно поставили на самые непосильные для них работы — на рытье котлованов, на засыпку и осушение торфяных участков на строительных площадках новых цехов. Евреи норм выполнить не могли — и получали штрафной паек — триста граммов липкого глинистого хлеба и пустые щи из хряпы — зеленых внешних листов капусты; они торговали — и продавали за бесценок свои вещи: лишь бы как-то прикупить хлеба, какого-нибудь жира и сахара. Покупали вещи чекисты и их жены, а кто повыше, кому торговаться с заключенными контриками было совсем зазорно, — те покупали пиджаки и юбки через уголовников, работавших в аппарате управления. Наконец, покупали вещи у тех уголовников, которые попросту ограбили зазевавшихся «западников».

Рубину посчастливилось устроиться в парикмахерскую управленческого лагпункта; заправлял его вор-рецидивист, уже неоднократно бегавший из тюрем и лагерей, Федька Чума; Федьке страстно захотелось носить фетровую шляпу с проломом, и, получив ее от Рубина, он быстро сварганил назначение Якова Вениаминовича вторым мастером. Рубин был на вершине блаженства: в тепле, не надо топтать за пять-шесть километров на работу, да и доход кое-какой — чаевые от стригущихся и бреющихся заключенных, из которых, правда, львиную долю выхватывал Чума.

Однажды Рубин подсел ко мне на койку совсем убитый:

— Федька Чума меня нагло ограбил...

— Каким образом, Яков Вениаминович?

— Вы понимаете, пошел я сегодня в баню. А у меня деньги были — двести целковых. Ну, я, знаете ли, уже слышал — как обкрадывают в бане! Я и отдал свои деньги на сохранение Федьке... А он после, когда я у него их спросил, не только матом меня покрыл, но и ударил что есть силы: — Отойди, гад... Надроел...

— Что вы сделали, Яков Вениаминович?! Ведь Федька — вор и бандит... Как можно было доверить ему деньги?!

— Да, вор, конечно... Но ведь и он — парикмахер, и я — парикмахер... Должна же существовать корпоративная честность?!

С тех пор так и прозвали Рубина «Корпоративной Честностью»...

...И вот теперь «Корпоративная Честность» стояла передо мной в Нью-Йорке, в халате парикмахера — маэстро Якопо Бенвенуто Рубини, радостно глядела на меня, потирала короткие ручки, переступала с ноги на ногу, как бы пританцовывая от нетерпения.

Наконец Рубин не выдержал:

— Знаете что?! Разве могу я сегодня больше работать?! Нет! Такая радость! Если б вы только знали — какая вы мне радость! Во мне уже не было почти души — ведь у меня не оставалось уже прошлого. А без прошлого — как жить душе? Вы — то, что у меня осталось от прошлого. Только вы... Вот, последние разики ножницами — и вы будете как римский бог! Классическая полечка, а не паршивый здешний бокс... И теперь — мастерскую на замок — и идем — и выпьем! За такую встречу!..

В ресторанчике местных художников, выставляющих свои произведения прямо на тротуарах Вашингтон-сквера, было в этот час пусто и темно. Где-то был осипший теноришко какую-то пронзительно-омерзительную, как зубная боль, мелодию о любви, а Рубин, голосом срывающимся от волнения, наплыва воспоминаний и давно невысказывавшегося горя, — рассказывал мне свою эпопею.

После первых месяцев войны и поражений его досрочно освободили: на воле уже так мало оставалось мужчин-работников. Но домой его не пустили. Да и куда было пускать?! В Белоруссии хозяйничали немцы. Послали в Акмолинск. Там работал парикмахером. Стремился что-нибудь узнать о семье — ничего. Как и не было. А дома остались и молодая жена Яся, и сынок — хорошенький и умненький, уже восьмилеток — Бенья. И старая его, Рубина, мама — Сарра Моисеевна, и брат матери — портной Наум Гольдберг, и еще много родни — не всех же арестовали тогда. Где же они все? А слышно было о тех краях такое, что не хотелось ни

жить, ни думать, ни даже узнавать *наверное*... В Двинске двадцать тысяч расстреляли, многих не дострелили, зарыли заживо. Не так глубоко. Ночью жители слышали стоны из-под земли. В Невеле сами и ямы себе копали перед расстрелом. Да, Господи, разве есть силы пересказать все?!

— Я надеялся — и не надеялся, я не раз сомневался даже в Творце. Я кричал, как в древности наши предки кричали Небу: «— Тебе принадлежит все: и весь этот мир, и земля, и леса, и воды, и все мы, и дома наши, и семьи наши... Зачем же Ты разрушаешь всё целиком?» — И казалось мне в отчаянии моем, что слышу я с неба Голос всемогущества, а покаяния передо мной, песчинкой на берегу необъятного океана: — «Победили Меня сыны Мои, победили Меня»... — И становилось мне так страшно, будто заживо душа моя ушла — и борется с Ним, как прародитель наш — Иаков...

— И вот — немцев погнали, как скот, далеко, далеко, били их уже за Берлином. И я, наконец, смог — после, ой, каких хлопот и беготни! — поехать домой, к своим. Домой! Дома — одни обгорелые дубы торчат. И — никого. Узнал после: мать убили здесь, жену, дядю Наума Гольдберга, сына, Бенечку моего — и девяти ему тогда не было, — и всех, кого знал, кто еще оставался дома, — сожгли в Аушвице. И друзей — кого здесь, кого в лагерях в Риге прикончили. Не спрашивайте уже — как. Самому не хочется жить. Сам ходил, как мертвец. Даже ненависти не было — страшнее: была мертвая пустога. Только бились, как жилка, в душе слова Наума Гольдберга — он был ученый человек, очень умный: — «Душа, как гость: приходит и уходит, но не знаешь ты *наверное*, никак не знаешь — когда она уйдет от тебя».

— Да, вот, — мучили меня, арестовали, в лагерь швырнули ни за что: а я — жив. А мои, к которым я годы рвался, — что с ними сделали?! За что?! И не знаешь — что лучше: жить — или не жить, чтобы не знать, не видеть, не думать?.. Разве лучше так вот жить, как я живу? Ведь душа моя ушла почти вся к ним, туда, нет меня здесь...

— Потом уехал вот сюда — ехал через Германию, как через ад, но ненависти не было: было больше, чем ненависть — и хуже, чем она. Не скажешь даже — что: слов таких нет у меня. Вот приехал сюда. Здесь — дальние родственники отца. Но разве они могут понять?..

— И вот вы: вы, единственный из моего прошлого. Душа, как гость: приходит и уходит, когда вздумается ей... Не уходите же от меня! Не уходите так скоро! Чем смогу я вам быть *нужным*? Ну,

дорогой, хотя бы брейтесь и стригитесь у меня. Даром. И с самым лучшим одеколоном. Хотя бы это! Ведь больше у меня — ничего. Вы один оттуда, где всё, всё прошлое. А без прошлого человек — как дерево без корней. Вот — и горе всколыхнулось, но и радость: встреча. Идемте же — я вас еще хоть выберю...

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЛХВ

*Памяти Алексея Михайловича Ремизова,
чудодея языка, великого сказочника, пи-
сателя.*

Ты не веришь мне? Почему не веришь ты мне? Ведь я слышал это от своего деда, а он — от своего, и в незапамятные времена уходит предание, и все свято верили ему. Слушай же и не перебивай меня.

Когда рождался Спаситель, звезда рождения Его была усмотрена четырьмя монушественнейшими и мудрейшими царями-волхвами. И был первым из них Вал-Та-Цзы, повелитель Китая. Был он весьма ветх и с большим трудом вставал каждый восход на молитву-размышление. В цветущем яблоневом саду, у маленького бассейна с золотыми рыбками, садился он на низкую инкрустированную перламутром и нефритом скамейку из полированного прутшевого дерева и размышлял о Великом Пути, по которому должно идти все сущее к Великому Небу. Этот путь был путем добродетели и тишины, благорасположения, мудрости и кроткого смирения. По вечерам старый Вал-Та-Цзы снова, кряхтя и опираясь на плечи двух любимых мальчиков-учеников, спускался в сад, глядел на звезды, свисавшие над ним из бездонных глубоких черных небесных сфер, и на звезды, ласково теплившиеся под ним в неглубокой чашке бассейна, редко возмущавшегося всплесками золотых рыбок. И Вал-Та-Цзы думал, что скоро ветхая плоть его приложится земле и уйдет в цветение его сада, а душа полетит звездным путем к другому великому пути, продолжающему путь земной в небесную необозримость, по пути к Седьмому Небу Великого Промыслителя. И старец говорил себе и ученикам:

— Все хорошо, все свято, все мудро, все благо в нашем пути, великом пути к мудрой тишине Вечности.

И ученики звонко отвечали ему не совсем еще окрепшими и не совсем еще уверенными голосами: — Прав ты, учитель жизни!

Но сегодня незнакомая звезда приковала внимание мудрого Вал-Та-Цзы. Звезда не сияла спокойно-приветливо. Звезда пела, плясала на небе, звезда влекла в небывалую радость пути.

«Или старая юность забурлила в потухшей крови моей? Или я заблудился в небесной пустыне?» — думал мудрец. Но звезда веселила душу его и влекла дух его куда-то на Запад солнца, и Вал-Та-Цзы чувствовал, как крепнут ноги его и наливаются юными соками все его тело. «Очевидно, родился Великий Учитель, путеводитель империй и народов», — рассудил старец и тронулся в путь на верблюдах с балдахинами из китовой кости и мореного дуба, сопровождаемый сонмом учеников и слуг, несших подарки Царю Царей от великого императора, сына Неба, как его самого звали его подданные.

— Золото не нужно Ему, Мудрейшему. Оно — власть телесная и земная. Молитвенные дымы не нужны Ему, нашедшему мудрость: ладан нужен тем, кто еще привязан к земле и поклонению, склонен к любви земной. Как плавно-текущее миро — духовная тишина Просветленного. Мирю умастит и Тело Его. Мирю — мой дар Царю Царей.

А в это время, в нестерпимо жаркой Нубии, углядел звезду могучий царь Каспар. Был он совсем черным, ибо знойное солнце опалило кожу его и превратило его и подданных его в подобия фигур из эбенового дерева. Мельчайшие крутовертны стальной черненой проволоки его волос покрывали круглую как шар голову, а губы, выпяченные вперед и украшенные большим золотым кольцом, были красны и почти облизались с мясистым приплюснутым башмаком-носом. Каспар ходил совсем нагишом, только браслеты брэнчали на руках и на ногах его, да пояс из страусовых перьев окружал чресла его.

— Родился Царь Сил. Великому Властителю лесов и пустынь, моря и неба, земли и огня надо принести в дар золото: оно — цвет власти и силы. Опрямный Он как слон-поводырь, сильный Он как лев, мудрый Он как каменный питон. Море несет Ему дары свои, земля несет Ему дары свои, и я, Каспар, должен принести Ему дары свои — золото.

И Каспар плясал под звездой, спокойно споявшей над ним, а затем двинувшейся на Полночь, к дальней земле иудеев. А за звездой, горевшей в высоком-высоком темно-синем небе, шел нестройный шумный караван Каспара, и царь Африки отплясывал, припевая, на всех привалах, и шакалы пустынь издали подвывали треску барабанов и хору рабынь и крепконогих невольников, качивавших всем телом в такт широкосердой царской молитвен-

ной пляске. Звезда благосклонно глядела на Каспара, молча и сосредоточенно, чуть-чуть улыбаясь, а Каспар слушал в тишине звезду, и ему казалось, что она шепчет ему: — «Иди, Каспар, Царь Царей ждет тебя. Он даст тебе великую силу мышц и радость вечного детства».

И третьим увидал звезду великий король готский Карл-Мельхиор, суровый воин, проживавший на высоком Памире. Выше облаков был его дворец из грубо отесанных камней-валунов и крепких сосен и кедров, и дремучий лес окружал жилище его. А над вершинами могучих великанов-деревьев плыли далекие звезды, и в черной безграничности сущего блестела одна еще никем нигде невиданная звезда. И звезда безмолвно говорила с душою царя-воина и волхва:

«Ты один во вселенной. Ведь подданные твои так же одиноки, как и ты. В лесной дебри жизни одинокой скалою высится каждый человек, а выше всех ты, повелитель Памира, повелитель суровых одиноких воинов, скрежещущих зубами от ярости и соревнования, но подчиняющихся тебе... пока не ослабел дух твой и мышцы мысли и воли твоей не упустили возжи управления. Но все одиноки в вечности, все одиноки перед разящей смертью, и только Промыслитель, только Царь-Дух, Царь-Воля, Царь-Мысль, Царь-Слово Парящее соединяет нас с миром, с собой и друг с другом. И этот Царь народился. И дар Ему — ладан, ибо только сжигающиеся на огне святости благовония-молитвы во юбреже дыма кадильного несутся к непостижимому и недостижимому подножию Престола Бога-Разума».

И с ладаном отправился за звездой к юго-западу король Карл-Мельхиор, и суровые воины-копьеносцы на черных конях следовали за ним.

— Он даст нам власть над миром, ибо мы — воины духа, мы суровые борцы за мысль и железную броню ее — государство, ведение, силу.

У Ерусалима встретились волхвы-цари, цари царей, повелители царств великих. И пошли они к Ироду-царю, мелкому властителю, римскому рабу, трепещущему перед любым вахмистром великого Рима. И сказал Ироду черный Каспар:

— Слушай, братец, звезда привела нас к тебе. И теперь исчезла. И мы не знаем, куда дальше идти, дабы поклониться Великому Слону Слонов, Льву Львов, Сыну Повелителя Моря и Земли, Воздуха и Огня. Скажи же нам ты — ты, братец, местный — где найти нам Царя Царей?

Ничего не ответил Ирод, только злобный огонек сверкнул в

глубоко вдавленных глазах его. И тогда обратился к нему мудрец Вал-Та-Цзы:

— В мир явился Великий Учитель, Сын Неба и Царь Царей. Скажи, брат мой по скорби земной радости, брат по рабству смерти, брат по утлости надежд и упований наших, где найти Царя? Звезда привела нас к твоему домику, и мы не знаем — куда дальше направить стопы наши?

Но и ему ничего не ответил Ирод, только низко склонился и облобызал стопы его. Тогда вскричал король готский, повелитель Памира, Карл-Мельхиор:

— Дерзкий раб! Цари царей спрашивают тебя, убогого, — как пройти и поклониться Неизреченному Владыке, и ты скрываешь место рождения Его?! Говори, или я призову своего палача, и он удавит тебя, ибо негоже нам даже пальцем прикасаться к тебе, Иродом законно обруганному!

И Ирод, злобу затаив, отвечал тогда царям-вохивам:

— Где уж знать мне, глупому, где же ведать мне, убогому, — где и когда родился Повелитель Мира? Думаю я, раб и червь, что коль раз звезда довела вас сюда, то и далее поведет владык мира, а вы, повелители, не откажитесь на обратном пути заехать к рабу вашему Ироду и сказать — где же народившийся Царь Царей, и я тоже поползу к подножию престола Его — поклониться нищетою и скудоумием моим...

Топнул ногой король готский, повелитель мира и Памира, леза и гор, от сих и до этих пор. Нахмурилось чело его, а рука потянулась к рогу — звать палача Касперле. Озверел от негодования и Каспар, и широкий ятаган наполовину извлёк из кривых ножен, золотом и камнями усыпанных. Но мудрый Вал-Та-Цзы глянул в окно иродова дворца и сказал:

— Идем, братья, звезда опять путь укажет нам...

И все пошли к яслям вифлеемским и поклонились Предвечному золотом, ладаном и маслом мудрости — миром благовонным. Ирод же, по уходе вохвов, обернулся к слугам своим. Гневом и гордостью, страхом и надменностью горело злое чело его. И сказал он слугам:

— Приведите кудесников и чародеев ко мне, дабы мог я допросить рабов моих о рабе моем, царем себя именующем.

А четвертый царь-вохв, Святослав Иванович, великий князь Русский, был еще молод и радостен — кровь-кипяток. Узрел он веселую новую звезду, кинулся к звездочету своему придворному, но тот только руками развел: ничего, дескать, не понимаю, да и трубка глядельная ослабла — плохо видеть стал. Бросился сам

князь и великий государь к книгам позвездным — нет такой звезды. И только в одной книге пророческой, цивилиной кумы Царя Соломона, смотрит, сказано: появится та звезда, когда родится в мир Царь Царей, Отец наш Небесный. А у князя Святослава был старый дядя — многоумный старый дид-украинец, князь Омелько Бодданович. Пошел к нему великий князь Святослав: так, мол, и так говорят пророческие книги халдейские, в Париже и Гамбурге немецкими буквами печатанные. Покрутил князь Омелько Бодданович длинный сивый ус, наverts на желтый от табачища палец оселедец свой, совсем засеребрившийся, и процедил сквозь зубы:

— Ступай, чоловиче Божий, ибо то — Спас наш нараждается. Ступай, княже, поклонись Господу Сил. А допрежь того испроси материнское благословение, навеки нерушимое — на путь. Дорога дальняя: шляхами басурманскими, степями безводными — опасен путь в землю Ерусалимскую, на крутой пуп земли — к Алатырькамню.

Не хотела мать отпускать князя-государя Святослава Ивановича. Плакала и причитала, умоляла сына не ехать в незнаемый неверный путь, через земли турецкие и татарские. Но — делать нечего! — упрямы были князь Святослав. Благословила его матушка иконой явленной Николы Угодника, перекрестила, сухарей насушила, заедок испекла, а для дара Господу — хлеба духмяного аржаного каравай да меду стоялого корчагу дала:

— Поклонись Господу Богу нашему от чистого сердца и простоты душевной материнской лаской моей, да хлебушком российским святым!

Облачился князь и великий государь святорусский в доспехи ратные, кликнул дружинну хоробрую и, после молебна с водосвятием, сел на Гнедка своего, да и в путь.

Долго ли, коротко ли едет он через земли неверные, и попадает в страну хана крымского. Сидит у Перекопа чудище чудное — татарва не татарва, арап не арап, а так что-то: не разбери-пойми: чистый нехристь и басурман. Встретил он князя с дружиной бранью самопоследней:

— Куда ты, неумытая русская рожа, пробираешься?!

Поглядел на него Святослав Иванович и говорит:

— Что ерепенишься, холоп? Еду я за звездю. Днем почиваю, ночью догоняю, дуракам не докучаю, а холопьям не отвечаю!

Как взъярилось чудище — князь Перекопа, разбойная душа, приложилось рожей к земле, дунуло, плюнуло — аж коня напрочь отнесло! А дружина вся вместе с лошадушками наземь попададала.

Рассерчал князь Святослав, наехал на чудище, рубанул его сплетча, надвое посек, — где было одно, глядь, а уж на него два чудища прут. Рубанул их — четыре на дружинну и самого князя наседают. Рубит князь, рубит дружина поганую нечисть, а она все растет и растет числом и силою. Смуглилась дружина, дрогнула, наутек пустилась. А нечисть за нею. Вся полетгла дружина-то, и сам Святослав Иванович в полон попал.

И томится он в полоне у чудища, как приезжает к тому чудищу сторожевому сам великий кудесник, сам злодей хан крымский, государь того чудища поганого. Собою зверовиден: один глаз в Арзамас, другой в Нижний; ноги кривые, как арбуз обнимают, а зубы — чисто собачьи клыки! Купил он великого князя Святослава у чудища, да и увез к себе в Крым. А годы-то шли и шли...

Лет уже через десять вырвался светлый государь из полона татарского. Помог ему внух ханский из тифлисских армян, да немец-доктор Фриц Эдуардьч, хоть и люторского папешного костелу, униат, но человек добрый. Сел Святослав Иванович с контрабандистами царьградскими на баркас, да и ходу. Глянь, а за ними пароход таможенный турецкий гонится:

— Пропали, православные!

А пароход все ближе. Волною так и заклестывает, так и опрокидывает хлипкий плоскодонный баркасишко. Ну, тут растерялись контрабандисты. Хотели, понятно, досмотра избежать (в тюрьгу-то сесть ни для кого не занимательно!), да и наутек! Но не выдержало суденышко того бегу. А тут еще с парохода из орудия бок баркасий продырявили, и пошла посудина ко дну. Никто не спасся, только Святослава Ивановича выловили турки, да генерал-паше своей подарили. Полюбил светлого государя паша. Сделал его своим садовым управляющим, кормил вдосьгть, одевал в шелка да бархаты, работой не нудил, только все разговоры разговаривал, да от веры русской соврацал. Но не поддался Святослав Иванович: — Хоть с живого кожу сдирайте, от Руси не отрекусь и от веры ее святой!

Прошло еще десять лет. И все не было случая бежать любимому рабу паша — великому князю Святославу Ивановичу. А тут пришел в Турещину целый французский торговый флот. Товару парижского да берлинского понавезли видимо-невидимо! Ажно глаза разбегаются. Пошел паша с любимцем своим Святославом на пароходную пристань: товары выбирать, себя показать, людей поглядеть. Неотрывно смотрит князь русский на капитана французского: выдручай, дескать, своего! Капитан тоже мигнул ему: понимаем! А покупал он в Турещине товары опромадными

ящичками. Вот ночью приходит тайком Святослав Иванович на пароход, боится нарваться на какого-нибудь незнакомца, может и активиста какого, — но капитан тут как тут. Садит его в пустой ящик из-под халвы, да в трюм! — под другие ящички. Отплыли, и лишь час спустя в порту прожнули пушки: помощник садовника паши того бдительность проявил, — вот и хватились, что любимый холоп паши сбежал.

Едут, едут, не доедут, а тут буря. Разбила-разметала буря корабль, а Святослава Ивановича на берег к арапам выбросила. Арапы страшные, черные, и на лице как сажка непроглядном только белые глаза да зубы сверкают. Дикие: по-русски ни гу-гу. Увидали Святослава Ивановича, кричат:

— Урус! Урус! Шён, зер гут, о-кей, припарковывайся, шерамы, — кричат.

Схватили его, и к царю. Десять лет не мог убежать от арапов государь святорусский. Старым, сторбленным вырвался он от арапского царя, переодевшись пречином-торговцем, да и скрылся в пустыню. Идет, а звезда — та самая, только князю русскому зримая, — ведет его в Ерусалим. И идет Святослав Иванович, босой, избитый, израненный, голодный и в рубищах, но духом крепкий. И приходит, наконец, в Ерусалим.

На улицах не протолкнуться! Толпы горожан и посадских, давя друг друга, бегут за взводом солдат, ведущим на казнь худого, обросшего длинными темно-русскими волосами человека. Волочит человек огромный крест деревянный, сплывает под тяжестью его до земли, а толпа улюлюкает, наседает. Солдаты злятся, а их начальник, в медной блестящей каске и со щетинистыми рыжими усищами, обращивается к уличной босоте и злобно ругается последними солдатскими словами:

— Креста на вас нету! Воистину, хриstopродавцы, басурманы окаянные!

Отглянулся и Человек с крестом: чело кровавым потом покрыто, на лбу кровь от венца тернового, в кровь избиты руки и ноги, но очи! И таким светом торжества горит весь страдальческий лик Его! Хочет подбежать к Нему светлый государь русский, князь Святослав Иванович, хочет принять на себя крест Его, но начальник конвоя не пускает, бьет прикладом винтовки, а в это время какой-то иногородний, кириинянин что ли, тоже не выдержавший взора Человека сего, бросился к Нему, осыпаясь ударами палок толпы и прикладов стражи, и на себя принял несение тяжкого креста Его. Поднялся упавший от удара солдатского Святослав

Иванович, кинулся сквозь озверелую толпу ко кресту, хочет тоже пособить, чем может.

— Пусти, — кричит киринейянину, — устал ты и изранен, а я привыкши, меня жизнь вон как изломала, — и крест у того из рук рвет. Так и дошли оба, споря и ругаясь из-за креста, до места Лобного. А там взглянул Святослав на Осужденного, проняла его и тоска, и радость, и свет, и жалость, — и спросил он начальника стражи:

— Кто этот Человек, служивый?

— Ты что, али вовсе неграмотный? Глянь на крест, — прохрипел, злобно косясь на князя, римлянин.

И понял Святослав Иванович, что солдат тот — добрый человек, и что злится он и ругается оттого, что на душе его темно и муторно — и казнить Праведника неумоготу. Глянул государь русский на крест, а на нем дощечка прибитая с надписью: ИСУС НАЗОРЕЙ ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ. А на небе звезды зажигаются, и над местом Лобным звезда Вифлеемская стоит. Рухнул князь русский в ноги Спасителю:

— Прости меня, Иисусе Христе, Царь Небесный! Опоздал раб Твой спасти Тебя!

Кротко взглянул на него Христос, и ничего не сказал ему. Только показал глазами на Север: иди, мол, домой. Но не сразу ушел четвертый волхв Господень, и до смерти крестной и Воскресения Господня не отходил от креста Его. И с панихиды Господней свечу негасимую на Русь принес. А как пришел домой — благословил сына своего Владимира Святого во Христову веру всю Русь окрестить. И свечу негасимую до Второго Пришествия Господня свято соблюдать.

А ты, чудной, не веришь мне!

Так от отцов и дедов повелось. Так прадеды сказывали. Так и нам заповедано. И оно так и есть.

Вышел месяц темной ночью
И запутался в омелах.
Червячок незримый точит
Сердце яблок недозрелых.

Червоточиной порока,
Черным знаком заклеяменный,
Плод отвалится до срока
Беспольный и зеленый.

Застрялся месяц в тучах,
Пролетает ветер мимо.
Сердце яблок самых лучших
Гложет червь неутомимо.

Но внутри сокрытой муки
Глаз извне не замечает...
— В темноте глухие стуки,
Ветер яблоню качает...

ВОЗМЕЗДИЕ

Дверь в кабинет председателя областного отдела Союза воинствующих безбожников Зорина неслышно открылась, и в нее просунулась голова секретаря.

— Владимир Иванович, машинистка пришла наниматься.

— Ага, давайте ее сюда!

Секретарь посторонился и пропустил вперед молодую женщину. Зорин поднялся навстречу. «Недурна, очень недурна», подумал он, быстрым оценивающим взглядом окидывая ее с ног до головы.

— Хотите работать? Как вас зовут?

— Анна Зайцева. Вот, пожалуйста, мои документы. Я студентка педагогического института и хотела бы немножко заработать во время каникул.

— Кто вас направил ко мне?

— Один знакомый. Наш институтский военрук. Он узнал, что вам нужна машинистка и посоветовал мне...

— Машинистка мне, действительно, сейчас нужна, — Зорин помолчал, рассматривая ее документы, и, улыбнувшись, снова спросил:

— В Бога не веруешь? В церковь не ходишь?

Анна изумленно подняла на него глаза.

— Я без предрассудков, — сухо ответила она.

«Не поняла, обиделась», досадливо подумал Зорин и продолжал:

— Добре, принимаю в свой курень... Извините, но для формы должен сделать вам маленький экзамен. Садитесь за машинку, я продиктую несколько спрок. Начинайте... «Миф о рождении Христа возник так же, как мифы о рождении Зороастра и Будды...»

Зорин диктовал, не задумываясь над содержанием. Долголет-

няя практика пропагандиста-безбожника выработала в нем известные штампы и тематикки и изложения мысли. По всей вероятности то, что он диктовал, уже содержалось в какой-то из его брошюр, но он не утруждал себя это замечать.

Анна печатала неуверенно и с ошибками — она волновалась. Но Зорин ни ошибок, ни волнения не замечал. Он стоял сзади Анны и смотрел на тонкую девичью шею, обнаженные налитые руки, а, плавное, на крутлые колени, невинно и бесстыдно выглядывающие из-под сбившейся вверх короткой юбки.

— Достаточно... Покажите, что напечатали... Вполне удовлетворительно... Только вот тут, — он показал пальцем, — надо было поставить запятую. И Зороастр пишется через два «о». Плохо же вас учат в институте.

Анна покраснела.

— Я только год в институте...

— Ничего, ничего. Знаю, что наши студенты все еще хромают в грамотности. Кстати, вы не обиделись, когда я спросил — «В Бога не веруешь!» Не подумайте, что я начал «тыкать». Помните вы сцену приема новых казаков в Запорожскую Сечь у Гоголя? Там кошевой атаман спрашивает новичка: — «В Бога веруешь?» Ну, а я как атаман безбожников задал тот же вопрос, только с отрицательной частицей.

— Я поняла и ни сколько не обиделась.

— Очень хорошо. Значит мы с вами поладили. Сегодня гуляйте, а завтра приходите на работу... Идите с миром.

Анна благодарно улыбнулась.

*

Домой Зорин вернулся в отличном расположении духа. Этому способствовало не только постоянное ощущение здоровья, довольства и самоуверенности, но и предвкушение новых встреч с понравившейся женщиной. Настроение не испортилось даже тогда, когда из передней он услышал в соседней комнате сухой полос жены:

— Сколько раз я учила вас, Фрося: тарелки перед обедом нужно нагревать, — выговаривала жена домработнице. — Почему не прибрали в буфете? Не переменяли ручника?

— Не успела, Аглая Петровна. Стирала, обед готовила. Разве со всем сразу управиться?

В полосу домработницы посыпались слезы.

— Самы виноваты, не умеете организовать свой труд... Мече-

тесь по квартире, а толку никакого... Почему не исполняете распоряжения натереть тарелки?

— Опять война? — сказал, входя, Зорин. — Аглая, не порти себе нервы. Фрося, давайте обед.

Зорин уселся и довольным взглядом обвел столовую, служившую одновременно кабинетом: новенький буфет, шкаф с книгами, удобное кресло перед письменным столом, мощный радиоприемник (премия за участие в процессе верующих). Рядом, в спальне, у противоположных стен аккуратно постеленные кровати, большой умывальник. Да, при умении можно приятно жить даже в советских условиях, если бы... И Зорин перевел взгляд на жену. Сухая, костлявая, с застывшим на лице выражением высокомерия (словно хотела предупредить — «с пустяками не обращайтесь, я всегда занята важными делами») — Аглая считала себя стопроцентной коммунисткой, и это было так: слепо верила в непогрешимость вождя и партии, искренне была убеждена, что является народной избранницей.

Да, если бы здесь видеть другую женщину, вроде той, сегодняшней... Впрочем на Аглаю жаловаться не приходится — она удобна. Член партии и депутат райсовета, председатель райкома Рокк...

— Просто беда с этой домработницей, — раздраженно заговорила Аглая. — То забудет, то перепутает...

— Ты, кажется, сегодня особенно не в духе? — спросил Зорин, принимаясь за суп. — Случились неприятности?

— Да. У меня в Рокк'е. Нужно платить инструкторам, за помещение, свет, телефон, а денег нет... Дотацию горсовет не дает, говорит — вы теперь на самоокупаемости.

— Разве нет дохода от твоих Рокк'овских парикмахерских?

— Какая от них рентабельность? Весь доход отбирает областной комитет Рокк'а.

— Хм... Знаешь, я дам тебе совет. Поезжай-ка к директору трампарка и скажи: так и так, у вас часты несчастные случаи, а аптек первой помощи нет. Берусь, скажи, обеспечить каждый моторный вагон аптечкой и персонал обучить подаче скорой помощи. А вы, дирекция, отвалите мне парочку тыщенок.

Аглая подумала.

— А ведь идея не плохая! — оживилась она. — Дело это я обмозгую... начинание полезное, конкретное! Спасибо, что надумил! Фрося, принимайте со стола. Что вы кукуетесь? В нашем советском государстве все равны, только каждый имеет свои обязанности. У меня одни, у вас другие. Если я, к примеру, буду ис-

полнять свою работу с кондачка, меня вздренут по двадцатое числу. Так и вы...

«Поехала!», усмехнулся про себя Зорин.

— Я пойду полежу, — сказал он вслух, вставая и закуривая папиросу. — Фрося, подай из портфеля «Правду».

«Что у меня сегодня было такое приятное?», думал он лежа. «Ах да, Зайцева... Прекрасна, как роза Ливана»... Незаметно он задремал.

II

Анна шла домой быстро, всецело погруженная в свои мысли. Они были приятно-взволнованные: у нее будет заработок, она сможет и семье помочь и для себя кое-что купить; появятся новые, вероятно, интересные знакомые; а Зорин ей понравился — очень представительный и, видимо, прекрасно образован; она тоже понравилась ему — недаром так глазел!

Разброшенный ход приятных мыслей прекратился, когда Анна с главной улицы свернула в узкий кривой переулок. Еще две сотни шагов, и она выйдет на площадь имени Сакко и Ванцетти; там ей нужно свернуть налево, пройти мимо старенькой церкви, превращенной в продуктовый склад; на фронтоне церкви еще сохранились позолота и краски престольного образа, хотя разобрать что было изображено, невозможно.

Еще несколько шагов — и ее дом.

Анна не любила своей площади. По субботам и воскресеньям здесь устраивался колхозный базар, было шумно и прыжно; вечерами под навесами и столами бродили собаки и шмыгали крысы; а вокруг площади — старые кряжистые утрюмые дома, словно затаившие думу и печаль о давно ушедшем.

Анна вошла в сени, с опаской заглянула в нишу, образованную нависшей деревянной лестницей (сюда не раз забирались спать пьяные), и по скрипучим ступеням поднялась наверх.

— Наконец-то! — с укором сказала мать. — Отец спешит на лекции, и мы ждем только тебя.

— Я задержалась по делу, сейчас расскажу...

Отец уже сидел за обеденным столом и, пощипывая пальцами сидящую бороду, просматривал конспект предстоящей лекции. Инженер по профессии, Николай Иванович преподавал физику в одном из техникумов, но заработной платы не хватало, и в свободное время он прирабатывал на стороне. По другую сторону

стола сидели два мальчика; братья Анны; сдерживая смех, они подталкивали друг друга.

— Какие же у тебя важные дела, Аня? — Николай Иванович улыбнулся и взглянул на часы. — Поживей, Катя, мне уже пора.

— Я поступила на работу! — Аня посмотрела на родителей, ожидая, какой эффект произведет ее заявление. — В союз безбожников.

Мать замерла. Потом всплеснула руками.

— Аня, ты в своем уме? Мальчишки, не шалите!.. Николай, что же ты молчишь?

— Собственно, я не против. Но зачем тебе это понадобилось? Разве ты не сыта, не обута, не одета?

— Папа, я хочу быть немножко самостоятельной. И вам помочь. Кроме того, я могу кое-чему поучиться. Мой начальник — очень начитанный и образованный человек, знает и литературу и грамматику.

— У безбожника учиться! — снова ужаснулась мать. — Он тебя научит!

— Ну, как хочешь. — Зайцев поднялся. — Катя, я вернусь около восьми.

— Папа, ты знаешь Зорина? Это мой начальник!

— Немножко о нем слышал, — ответил уже с порога Зайцев. — Не то расстриженный священник, не то недоучившийся семинарист. Выступал общественным обвинителем по делу верующих...

— Аня, ты сыта? — спросила Екатерина Николаевна, прибирая со стола. — Помоги посуду помыть. Дети, идите погулять... Я всё еще не могу опомниться: ты — и будешь работать у безбожников...

— Мама, ведь я буду только машинисткой!

— Твой отец всегда был равнодушен к религии, — продолжала мать, как бы отвечая на собственный, давно заботивший ее ход мыслей. — Мне это было неприятно, но я старалась оправдать... Он всегда занят, о религии теперь не заикайся. Но сейчас, когда собственная дочь идет к безбожникам — он молчит, чуть не одобряет!

— Папа прав! Теперь другие взгляды, другие люди! Наука идет вперед. Я не безбожница, но я сознаю, что кое-что в религии является суеверием, мифом!

— Не будем спорить, Аня! Иди лучше, отдохни, безбожни-

ца! — Екатерина Николаевна вдруг добродушно усмехнулась и достала из-под кровати корзинку со штгопальным материалом.

Анна вынула из книжного шкафа том энциклопедии, прошла во вторую комнату, служившую спальней для нее и мальчиков, и прилегла на кушетку. Нужно же узнать, кто были Зороастр и Будда!

Вскоре послышался звонок. В комнату Ани, постучавшись, вошел военрук пединститута Маевский («военручка», как ласкательно его прозвали студенты).

— Вы уже знаете? — спросила Анна, улыбаясь и протягивая ему руку. — Мама сказала вам, что я поступила на работу к безбожникам?

— Да, рад за вас, хотя...

— Что «хотя»? — Анна заметила, что Маевский замаялся.

— Хотя это означает, что реже буду вас видеть.

— Ну вот! Теперь ворчит, а сам же мне посоветовал!

— Я не советовал. Я только сказал, что союз безбожников ищет машинистку. Что вы читаете?

— Нужны кое-какие справки по историческим и религиозным вопросам, — небрежно ответила Анна. — Мой новый начальник очень образованный человек, и мне нельзя отставать.

— Вот как! А я зашел предложить вам прогуляться. Такой восхитительный вечер... Хотите в парк или в кино?

— Хорошо. Впрочем, в парк или кино пойдем в другой раз, сегодня прогуляем по берегу реки.

Анна подумала, что в парке или кино она может встретить Зорина, и ей не захотелось показаться ему в обществе другого мужчины.

— Как прикажете...

Она поднялась с кушетки, и книга соскользнула на пол. Маевский быстро нагнулся и поднял ее.

— Вы — настоящий рыцарь! Наши студенты и пальцем не пошевельнут, чтобы оказать даме услугу. «Сама поднимешь!» — лукаво передразнила она кого-то. — А ведь тоже ухаживают, куры строят!

— Это пустяки, — Маевский покраснел. — Меня так воспитывали.

— Мама, мы идем с Леонидом Павловичем на реку! — крикнула Анна в столовую. — Что мне надеть?

— Надень, по крайней мере, кофточку. На реке свежо.

Маевский преданными и любующимися глазами смотрел на Анну.

III

На следующий день, когда Зорин пришел в свою канцелярию, Анна была уже там. Пользуясь стеклом открытого окна как зеркалом, она высоко поднятыми руками поправляла прическу. Отчетливо обозначившиеся выпуклости груди, нежные пухлые руки с розовыми локтями, придавали неожиданную преховность ее облику. И снова, как вчера, Зорин почувствовал прилив острого чувственного влечения.

— Вы уже здесь! Пойдемте в мой кабинет. Временно вы будете работать там: это и для меня и для вас удобнее. Потом посмотрим. Начните печатать вот эту рукопись.

Анна села за машинку. Работа сначала шла не особенно гладко, но постепенно Анна увлеклась. Наткнувшись на непонятное слово, она беспомощно оглянулась на Зорина и заметила, что он смотрит на нее особенным взглядом, значение которого она уже научилась понимать.

— Вы ходите что-нибудь спросить, Анна Николаевна?

— Да, одного слова не могу понять. — Она подошла к Зорину. — Вот это... Гню... гню... — Она нагнулась ниже, и упавший локон ее волос почти коснулся его щеки.

— «Гносеологической»... Философский термин. Вся же фраза читается так: «Нас упрекают в гносеологической непоследовательности...»

Зорин давал деловое разъяснение, но сам едва владел собой. Он чувствовал теплоту ее склонившегося тела, запах волос.

Анна заметила его состояние и поспешно отошла. «Что с ним, неужели?..» Ей стало и стыдно и страшно. Она едва посмела взглянуть на его лицо; но когда решилась — Зорин уже спокойно улыбался.

— Что-нибудь еще непонятно? Не стесняйтесь обращаться ко мне. Для того и посадил вас сюда...

— Пока всё понятно... «Какие глупости приходят мне в голову!», подумала Анна. «Он умный и симпатичный человек. Почему я должна предполагать гадости?»

«Чёрт возьми, девчонка окончательно раздражила меня!», думал Зорин, искоса поглядывая на печатающую Анну. «Девчонка ли? Эли руки, бедра... Если не девушка, тем лучше, меньше ответственности. Однако я слишком уж занялся ею. Пора и за дела...»

Он чуть вздохнул, еще раз покосился на Анну и решительным движением взялся за карандаш.

Зорин любил свою работу. Смелый, самоуверенный и чувственный, он не чуждался и интеллектуальных наслаждений. Он любил слово, любил острую полемику, дерзкие утверждения, тонкую и разрушительную критику. В нем жил дух ниспровергателя, не фанатичного и ограниченного, а рафинированного, уверенного не столько в своей правоте, сколько в своем умственном превосходстве над живыми и мертвыми противниками. Антирелигиозная работа как нельзя более подходила к нему: в этой деятельности он был относительно свободен и независим. Ко всему тому Зорин получил семинарское образование, был начитан, знал быт духовенства. Словом, он был вполне на своем месте.

Приходили и уходили люди. Пришел старичок, заведующий антирелигиозным музеем, жаловался, что музей почти не посещается, экспонаты устарели, плакаты скучны. Забежал инструктор-антирелигиозник узнать, какие агитационные мероприятия намечены по поводу предстоящего праздника Троицы. Перед обеденным перерывом в комнате секретаря послышался уверенный и промкий голос — «Зорин здесь?», и в кабинет вошел невысокий человек с твердыми и спокойными глазами. По почтительной улыбке секретаря, по уверенным движениям вошедшего, Анна поняла, что он — персона важная.

— Ах, ты не один! — сказал незнакомец, мельком оглядывая Анну.

— Машинистку взял, — пояснил, как бы извиняясь, Зорин. — Тов. Зайцева, выйдите на минутку.

— Ничего, ничего, пусть остается. Дело вот в чем...

Незнакомец говорил вполголоса, и Анна не могла понять разговора. Он скоро ушел, чуть кивнув головой Анне и не заметив поклонившегося секретаря. Анна не смогла сдержать любопытства.

— Владимир Иванович, кто это был у вас?

— Не знаете? Секретарь обкома партии, товарищ Падучев. Хозяин всей области. А область по территории целой Франции равняется.

— Да, — продолжал Зорин, — большой, умный человек. Вы слышали наш разговор? Зовет в субботу на рыбную ловлю. В нескольких километрах от города, вниз по реке, находится бывшее имение князя Белецкого. Дворец, роскошный парк... Теперь там дача обкома. Падучев — большой любитель рыбной ловли и почти каждую субботу уезжает туда. Соберутся несколько высоких партийцев, приглашены лучшие артисты породе. Время проведем

замечательно. Как-нибудь и вас захвачу с собой. Принимаете приглашение?

Анна ничего не ответила.

В этот день Зорин отпустил ее несколько раньше: «Не надо переутомляться, пальцы-то еще не привыкли. У меня нет стахановщины». Сам он тоже недолго задержался. Без Анны кабинет показался уютным.

И в то же время, когда Анна спрашивала отца: «Папа, объясни мне, что такое гносеология? Не могу же я вечно краснеть...», в канцелярии союза безбожников происходил следующий разговор:

— Я пойду заканчивать статью домой, — говорил секретарю Зорин. — Здесь постоянно мешают. На завтра вызовите инструктора Федина. И вот еще что... — Он наморщил лоб и приложил пальцы к лбу, будто силясь что-то вспомнить, нужное, но не очень важное.

— Да! Деньги у вас есть? Наши, общественные?

— Имеются, Владимир Иванович.

— Сегодня же купите приличное зеркало и повесьте его в моем кабинете, возле пишущей машинки. Затем купите хорошее мыло и пару полотенец. И, наконец, последнее... Перед приходом сюда купите три букета сирени и поставьте всем нам на столы. Маньянистке — побольше и получше, все-таки женщина...

Секретарь понимающе улыбнулся.

— Будет сделано, Владимир Иванович.

— Кажется, всё. До свидания, Петр Петрович.

— Всего наилучшего, Владимир Иванович.

— За цветы заплачу я! — крикнул секретарю Зорин уже из коридора. — А на остальное возьмите счет.

IV

Чем дальше, тем сильнее увлекался Зорин хорошенькой, чуть кокетничавшей сотрудницей. Серьезных намерений, однако, не имел. Избалованный жизненными успехами, он полагал, что легко сделает Анну своей возлюбленной.

— Завтра вечером вы мне будете нужны, Анна Николаевна, — сказал он однажды девушке. — Я делаю доклад на заводе «Красный Октябрь», и вы его должны будете записать.

— Хорошо. На какую тему доклад?

— О процессе религиозных изуверов. О том самом, на котором я выступал общественным обвинителем.

— А-а! — только и ответила Анна. Но через минуту, меняя лист в пишущей машинке, она внешне равнодушно спросила:

— Вам не было жалко этих изуверов?

— Жалко? — удивился Зорин и усмехнулся. — Жалость — вредное чувство, Аня! В коммунистическом обществе не может быть жалости к врагам. Нет этого чувства и во всем биологическом мире. Сам Господь Бог, по Библии, — безжалостный Судья! Эти фанатики пошли против течения и получили по заслугам.

Он вдруг смолк и нахмурился. Неожиданно вспомнился маленький инцидент на процессе: когда председатель суда в мертвенной тишине переполненного зала огласил смертный приговор для двенадцати обвиняемых крестьян, они стали крестить и троекратно целовать друг друга, как при христосовании.

К чёрту это тяжелое воспоминание! Перед ним прекрасная девушка, и на днях она будет принадлежать ему!

— Значит, вы совсем не верите в Бога и Его заповеди?

Зорин рассмехался.

— Какой же я был бы в таком случае председатель безбожников?

Анна смуглилась. В самом деле, она задала глупый вопрос. Зорин помолчал и заговорил серьезно:

— Слушайте, Аня, я вам изложу основные принципы моего неверия. Не пугайтесь, не буду ссылаться на Маркса, Энгельса или ученых, вроде Геккеля. Дело обстоит проще... Я не верю в бессмертие души. Она так прочно связана с телом, что, в случае смерти, умирает и она. И чем могла бы жить душа после физической смерти тела? Ведь подавляющее большинство проявлений души обусловлено именно телом! Что же станет делать душа, расставшись с физической оболочкой? Вечно мучиться за совершённые грехи? Или вечно славословить Бога? Благодарю покорно за такую скуку! — Он помолчал. — Но если душа смертна, то зачем нужен Бог? Чем я могу оправдать Его бытие для меня? Ничем! Понимаете — ничем! Он не нужен — значит Его нет. Аминь.

Анна молчала. Ей было не по силам обнаружить слабость аргументации Зорина, и это сердило и волновало ее.

— Не подумайте, Аня, что я легкомысленно пришел к своему безбожию. Я много мучился этим вопросом, поверьте мне... Может быть, вы хотите возразить?

— Я не знаю, что возразить, — с трудом заговорила Анна. — Но... но мне кажется, что вы заблуждаетесь... Да, заблуждаетесь!..

Голос Анны зазвучал нежным упреком.

— Я не знаю, как сказать... Но так хотелось бы вам помочь! Вернуть вас!

Зорин долгим взглядом посмотрел на девушку.

— Аня, знаете вы, что послезавтра Духов день?

Она кивнула головой.

— В этот день вы не будете работать, я освобожу вас... И, знаете, что? Поедем в Духов день покачаться на моторной лодке! Поговорим еще на эту тему. Согласны?

Анна медленно наклонила голову.

V

Маевский любил Анну бесхитростной, но крепкой и верной любовью. В его мировоззрении вообще все было просто и ясно, без всяких сложных и мучительных проблем. Есть Бог? Может быть, об этом подумаем в старости. Есть родина? Да, притом горячо любимая. Поэтому он избрал профессию военного. Есть любовь? Да. И он полюбил хорошую, чистую девушку, она будет ему верной и любящей женой. И вот теперь он в первый раз ревнует.

В Духов день он зашел в канцелярию союза безбожников, надеясь проводить Анну домой. Анны там не было. Не было и Зорина. Он пошел к Зайцевым, но там сказали, что Аня еще не возвращалась с работы. Маевский промолчал, но сердце его болезненно сжалось. Что-то словно надтреснуло в его до сих пор спокойной, безоблачной любви. Он медленно побрел домой, путаясь нового тяжелого чувства.

*

Прошло три дня. И он еще держит данное себе обещание к Зайцевым больше не заходить. То есть не то, чтобы он решил отказаться от Анны, — этого он не мог, — а решил подождать, пока она не почувствует, что он оскорблен. А там скоро конец летним каникулам, он все равно встретит ее в пединституте. Нет, он ни за что не пойдет к Зайцевым!

Маевский достал с полки учебник тактики и уселся за стол. В открытое окно его комнаты во флигеле вливались негромкие звуки городского лета: кудахтали куры, удобнее устраиваясь под тенью чахлого куста. Слышались мерные хлопающие удары — кто-то выбивал пыль из ковра; пел в граммофоне Утесов старую милую песню «Раскинулось море широко...» Закричал женский

голос: «Васька, чего не смотришь за курами, ведь покрадут!» Всё было так хорошо, если бы не это странное поведение Анны.

— Леонид Павлович!

Маевский вскочил. Да! Этот тихий неуверенный голос принадлежит ей...

— Анна Николаевна! — он чуть не задохнулся. — Вы пришли! Но заходите же ко мне!

Анна колебалась. «К тому пошла», с горечью пронеслось в ее голове, «почему же не зайти к Лёне?» — Она вошла.

— Пришла узнать, что с вами случилось? Уж не заболели ли?

— Нет. Нет, — он замялся. — По правде сказать, настроение было отвратительное...

— На меня обиделись? Какой же вы смешной! В Духов день пришлось выехать за город... Теперь, видите, сама пришла...

— Больше не повторится, Анна Николаевна.

— То-то! Будете снова приходить? — Она заглянула ему в глаза. — Ну, я пойду, неудобно долго оставаться... У вас всегда такой беспорядок в комнате?

— Уже заметила! Нет, не всегда... Скоро мой день рождения, я картинку сделаю из комнаты. Я вас приглашаю, Анна Николаевна, придете?

— Посмотрим!

— Нет, обязательно! Восемнадцатого августа, в день советской авиации. Для меня ваше посещение будет много значить.

— Вот как? Может быть, и приду. Проводите меня, но только до ворот.

— Кстати, — сказал Маевский, когда они пересекали двор. — Разве вы сегодня не работаете?

Анна помедлила с ответом.

— Я больше не буду работать у безбожников. Иду за расчетом.

Маевский помрачнел. Значит, его подозрения были не безосновательными. Между ней и Зориным что-то произошло.

Анна угадала его мысли.

— Я бросила работу только из-за мамы. Впрочем, и самой надоело. Каникулы кончаются, а я так и не отдохнула.

— Правда?

— Конечно, правда! А вы что подумали? Смешной! Дальше не провожайте. Придете сегодня вечером?

— Да, да, приду! — Маевский схватил обе ее руки и застенчиво поцеловал.

— Леонид Павлович, увидят! — Анна с испугом отняла руки

и быстро пошла. Завернув за угол, она убавила шаг; по лицу пробежала тень, голова низко опустилась.

«Любит. И руки, мои поганые руки целует!»

Поток мыслей, мучивших ее после злополучного катанья на лодке, снова, подобно виденному на реке водовороту, закружился в голове. Мысли были всё те же, наполненные стыдом, горечью, отчаянием. Но избавиться от них Анна не могла и не хотела.

«Я видела, что он ужаживает... Мне это нравилось. Но чтобы так кончилось?!» — Анна вспомнила искажившееся лицо Зорина, его сильные, не знающие пощады, руки. И дрожь отворачивания пронизала всё ее существо.

«Почему я так слабо сопротивлялась? Ведь могла отбиваться, звать на помощь... И вот произошло ужасное, непоправимое...»

Глаза наполнились слезами, но плакать было некогда: она уже входила в здание облисполкома, где помещался союз безбожников.

Зорин ждал Анну с любопытством и беспокойством: не вздумала бы жаловаться! А когда он услышал ее легкие шалги, сердце гулко застучало: с чем идет — с мечом или с оливковой ветвью мира?

Анна бросила чуть слышное «здравствуйте», прошла к своему столу, положила сумочку, подравнивая лежащую стопку бумаги, снова взяла сумочку... Было видно, что она волнуется и набирается сил, прежде чем обратиться к Зорину. Она стояла в профиль, и Зорин разглядывал ее опущенные вздрагивающие ресницы, открывшиеся от частого дыхания свежие губы.

«Королева! Разве можно от такой отказаться?»

— Владимир Иванович, прошу меня уволить с работы.

— Я понимаю вас... Знаю, что виноват. Но как-то так вышло. Со временем вы поймете, что это чепуха. Не спешите с уходом. Я уважаю вас, ценю. Не передумаете?

Анна отрицательно покачала головой.

— Жаль! Что ж поделать? Скажите секретарю. Но прежде чем уйти, знайте, место я оставляю за вами. Может быть, простите и — придете?

Анна молчала.

— Прошу прощения, слышите? И буду ждать. В знак того, что не имеете зла, протяните мне руку. — Зорин заметно волновался.

Анна помедлила, и со смешанным чувством жалости и отчужденности нерешительно протянула руку. Зорин почтительно поцеловал.

— Прощайте, — шепнула Анна и быстро вышла.

— Н-да, — протянул вслух Зорин, оставшись один. Он испытывал незнакомое до сих пор чувство: здесь были и облегчение от недавних опасений, и удивление, и благодарность, что Анна даже упрёка не бросила, и грусть...

«Жаль, жаль... Придет!» — вдруг уверенно подумал он и взялся за работу.

VI

«В каких они отношениях?», тяжело думал Зорин, работая под вечер в своем служебном кабинете. Он отложил в сторону книгу Фейербаха «Сущность христианства», выдержками из которой хотел подкрепить содержание своей новой антирелигиозной брошюры, и опустил голову в мрачной задумчивости. «Любовники? Собираются пожениться? Что нашла она в нем интересного?»

Мысли такого рода стали донимать Зорина с тех пор, как он несколько раз встретил Анну, и всегда — в сопровождении Маевского. Она отвечала на приветствия бывшего начальника, однажды позволила ему присоединиться и проводить до квартиры, но отклонила предложение возобновить у него работу.

«Собственно говоря, на том приключении следовало бы остановиться. Попользовался безнаказанно — и слава Аллаху... Но ведь я всерьез увлекся этой пустой девчонкой! Нужна она мне, нужна стала! А тут этот Маевский...»

Он подошел к открытому окну, перед которым расстилался городской парк культуры и отдыха. Летний день заканчивался, ослабевшие лучи солнца прощально скользили по верхушкам деревьев и зеленому куполу летнего театра. Рассеянно глядя на почти пустые аллеи, Зорин попытался дать другое направление своим мыслям.

«Я не согласен с Фейербахом, что именно человек сотворил Бога по своему образу и подобию. Такая точка зрения вызывает новые вопросы, трудно поддающиеся разрешению...»

Он вдруг насторожился... По одной аллее шел высокий военный, фигурой напоминавший Маевского. Военный подошел к одной из скамеек. На ней, спиной к Зорину, сидела женщина в нарядной косынке. Она поднялась навстречу военному, и оба пошли к выходу из парка.

— Они! Свидание! — хрипло шепнул Зорин. Он вдруг твердо решил, что видел перед собой Анну и Маевского. И острая, ненавидящая и сладострастно-любопытная ревность залила все его су-

щество. «Куда они идут? И что он, Зорин, должен сейчас предпринять?»

«Не они!» — облегченно вздохнул он, когда двое приблизились к выходу... Он ошибся. Но где-то они наверняка тайно встречаются. Может быть, в тех маленьких садиках, которые прячутся между городскими зданиями? Там всегда имеется услужливая уединенная скамейка, скрытая свисающей листвою. Вот где можно поймать Анну!

Ревность не всегда бессмысленна и слепа. Она бывает изобретательной и деятельной. Ревность не замыкается в кругу мучительных подозрений, она ищет подтверждений, пусть даже сомнительных и несущественных. Ей нужны улики, притом непременно непристойные, соблазнительные улики! Как бешено сладко застать изменницу или изменника на самом месте преступления! Застать не случайно, а выследить и нагрянуть в наиболее рискованный момент свидания. Темными потаенными тропами ведет человека ревность в поисках улик. Как вор крадется ревнивец. Как хищник залегает в засаде, воспаленными глазами подстерегая любовников. И если они, наконец, застигнуты, — какое наслаждение одним своим появлением, неожиданным и прозным, внести растерянность и жалкий страх!

Соблазн захватить Анну сегодня же, на тайном свидании, был так велик, что Зорин не мог ему противиться. Он не спрашивал себя, зачем ему нужно поймать прешащую Анну и что он предпримет, если действительно выследит предполагаемых любовников; не хотел думать и о том, что захватить Анну на тайном свидании в огромном городе почти невозможно.

Когда достаточно стемнело, Зорин начал свой обход укромных садиков, специфическое удобство которых он хорошо знал по своим прежним приключениям. Загадочно молчащие, угонувшие в мраке безлунной ночи или слабо озаренные светом из окон прилегающих зданий, они скупо, неохотно открывали ему свои ночные секреты. Зорин шел медленно, осторожно ступая, чтобы преждевременно не спугнуть дичь, за которой охотился. Шелест листвы, потревоженной налетевшим ветерком, казался шепотом притаившихся влюбленных; блики бледного света, падающие на древесные стволы, на скамейки и стены ограды, создавали иллюзию силуэтов слившихся в объятии людей. Встречались парочки, но это были не они, не они...

В конце концов, Зорин устал, опомнился, и, крепко выругавшись, пошел домой. Глупо было их искать, еще глупее было пой-

мать! Но он должен выяснить всё, он должен встретить Анну и говорить с ней!..

VII

Анну он увидел спустя несколько дней, на аэродроме Особавиахима во время празднования Дня авиации. И снова она была с Маевским.

Зорин пробрался сквозь толпу и сзади подошел к Анне.

— Здравствуйте, — сказал он. — Не хотите узнавать вашего недавнего духовного пастыря?

Анна быстро обернула голову и густо, чуть не до слез, покраснела. Можно было подумать, что она и ждала и боялась встречи с Зориным.

— Здравствуйте, — ответила она, справляясь с собой. — Вот опять встретились.

— Я давно вас заметил и решил подойти. Здравствуйте, товарищ Маевский. Видел ваше занятие по ПВХО в облисполкоме. Очень интересно...

Разговаривая, они стали медленно пропугливать по огромному авиационному полю, наполненному все возрастающей толпой и уставленному киосками, палатками, подмостками для артистических выступлений. Зорин сторал от нетерпения остаться с Анной наедине, и такой момент скоро подвернулся: она почувствовала жажду, и Маевский вызвался принести лимонаду.

— Анна Николаевна, я хотел бы через вас предупредить вашего... спутника. Ему грозит некоторая неприятность...

— Неприятность? Какая?

— На занятиях ПВХО в облисполкоме он был неосторожен. Сделал кульки с песком из газет с портретами вождей. Один из сотрудников донес об этом в органы госбезопасности...

— Разве это преступление?

— Зависит от того, как отнесется НКВД. Если хотите, я замолвлю за него доброе словечко.

— Спасибо, — Анна тепло и открыто взглянула в его глаза. — Но почему вы сами не хотите ему об этом сказать?

— Видите ли... Мне кажется, что он восстановлен против меня...

— Не думаю... У него нет никаких оснований...

Не закончив, Анна умолкла; Зорин быстро отпрянул и изменившимся голосом шепнул:

— Аня, почему вы меня избегаете?

Она потупила голову. Зорин продолжал чуть срывающимся голосом:

— Не буду напоминать... Моя вина, хочу искупить... Скоро я буду свободным, ради вас свободен! Могу ли надеяться?

Анна молчала, носком туфли вычерчивая что-то на земле. Лицо ее покрывлось легким румянцем. Зорин смотрел на нее с беспокойством.

— Почему не отвечаете, Аня? Не верите в мое чувство? Или дали слово ему?

— Нет! — вырвалось у Анны.

— Тогда чем же объяснить отчуждение?

Анна подняла голову. По ее лицу пробежала тень незабытой горечи и — одновременно — блеснуло торжество победы.

— Потом поговорим, — поспешно шепнула она. — Леонид Павлович подходит...

— Когда? Где?

— Зайду к вам за справкой о работе...

Подождал Маевский с лимонадом, и Зорин попрощался — ему незачем было дольше оставаться. Цель достигнута. Поднявшись на пригорок, где был разбит шатер для знатных гостей, Зорин обернулся — он хотел еще раз увидеть Анну.

Теперь им владело чувство спокойного удовлетворения. «Чего же я волновался, страдал? Так и должно было окончиться. Все пойдет по-старому. А там посмотрим; может быть, действительно разведусь с Аглаей...»

Вдруг новая волна ревнивого беспокойства охватила Зорина. «Куда они пойдут после авиационного праздника? Может быть, не домой, а куда-нибудь в укромное местечко? Нужно проследить!»

И он видел: пара не села в трамвай, а свернула в глухую боковую улицу. Возле небольшого двухэтажного дома молодые люди задержались, потом Анна нагнулась и исчезла в подворотне, за ней последовал Маевский.

Зорин тяжело задыхался, брови мрачно сдвинулись, руки сжались в кулаки. Значит, он прав — измена! Но нужно подождать: может быть, Анна имеет поручение в этот дом от родителей? Или по дороге забежала к подруге? Если скоро не выйдет, значит, любовное свидание, это совершенно ясно.

Из подворотни выскочил мальчик с рогаткой и побежал навстречу Зорину.

— Паренек! Не знаешь ли ты, где тут живет военрук Маевский?

— Леонид Павлович? В нашем доме, во флигеле.

Зорин постоял еще минутку, исподлюбья наблюдая дом, спрятавшийся ненавистную пару. Лицо его потемнело, приняло звериное выражение. Потом он повернулся и медленно пошел назад, к трамваю.

...Он знает, что там происходит. Они верно уже выпили вина. Она призывно смеется навстречу Маевскому. Он поднимает ее со стула, подталкивает к постели... У-ух, ворваться бы туда! Услышать жалкий испуганный крик, схватить нож, бутылку, скрутить в бешеных пальцах бесстыжие медные волосы!..

Нет, он не сошел еще с ума! Но он отомстит, чего бы это ни стоило! Он еще надеется ею, как девкой.

Проклятая! Что ты со мной сделала!..

VIII

Возвращаясь с аэродрома, Анна была молчалива и рассеяна. Она всё еще находилась под впечатлением признаний Зорина. Зачем этот человек вошел в ее жизнь? Не верит она ему, не верит! Не может забыть позора, насилия, своих мук, слез! И не хочет она больше с ним встречаться!

А тут еще Маевский... Она идет к нему в день его рождения и знает: сегодня он сделает ей предложение руки. Что нужно ему ответить?

Анна сбоку внимательно оглядела молчаливо шагающего Маевского и сердце ее дрогнуло от жалости. Бедный, он, конечно, ревнует. Нет, она не откажет ему совсем, она скажет примерно так: «Принципиально...» Какое это внушительное, подходящее слово! Итак, принципиально она не против, но просит подождать до окончания института...

Стол у Маевского был уже накрыт, в комнате было чисто убрано. Анна похвалила его за аккуратность.

— А теперь я хочу вас поздравить и выпить за ваше счастье, — сказала она, протягивая рюмку. — Имейте в виду, что я не могу у вас долго засиживаться...

— Благодарю... Кстати, счастье во многом от вас зависит.

— Что вы хотите этим сказать?

— Видите ли, Анечка... Для вас должно быть ясно... Словом, я решил вас просить... Согласны ли вы стать моей женой?

Анна опустила глаза и покраснела.

— Так неожиданно... Не знаю, что и ответить. Принципиально, я не возражаю, но хотела бы...

— Спасибо, Аня. — Маевский тоже покраснел и опустил глаза. — Но перед окончательным вашим решением я хотел бы выяснить... Скажите, вы ничего от меня не скрываете?

Анна пришла в замешательство. Правда, она предполагала, что Маевский заговорит о Зорине, и приготовила ответ. Но вопрос, поставленный в такой общей и, вместе с тем, бьющей прямо в цель форме, смутил ее.

— Я понимаю, на кого вы намекаете, — начала она неверным голосом. — Но сегодня он подошел ко мне исключительно в ваших интересах. Он хотел предупредить вас о доносе...

— О каком доносе?

— Вы сделали кульки из газет с портретами вождей, и кто-то донес на вас...

— Глупости! В каждой газете портреты, а другой бумаги нет. И это всё, Аня?

Она молчала.

— Не могу отрицать... — переведя дух, наконец, заговорила она. — Да, он начал ухаживать за мной. Мне это не понравилось и я перестала у него работать.

— Я так и предполагал. И больше ничего, Аня?

— Больше, кажется, ничего...

Анна, пунцовая, как мак, нервно вертела дрожащими пальцами рюмку.

— «Кажется!» — горько усмехнулся Маевский. — Я хочу верить вам, Аничка, — продолжал он серьезно и печально. — Но... Но снимите последнюю тяжесть, скажите по совести. Между вами, действительно, ничего больше не было?

Тяжелая борьба происходила в душе Анны. Всего лишь одним словом, шуткой или достойной опповедью она могла свести на нет неприятный допрос. Но Маевский воззвал к ее совести, и без того распинаемой совершенным невольным прехом. Она чувствовала себя изменницей, припертой к стене, бессильной перед тяжестью улики. И она решила.

— Я имею право ничего вам не отвечать, но я так расположена к вам, что не хочу скрыть. Я не девушка...

— Не девушка... — тихо и медленно повторил Маевский и закрыл лицо руками.

— Когда это произошло? — глухо, сквозь ладони, спросил он.

— На Троицу... Он пригласил меня покататься на лодке, — покорно ответила Анна.

Настало молчание. В полуоткрытом окне звенела, стучаясь об стекло муха, мирно кудахтали во дворе куры, где-то далеко рокотал мотор самолета, и слышалось прерывистое дыхание двух людей.

Плечи Маевского вдруг затряслись, и в комнате раздался странный всхлипывающий звук.

— Боже мой! — воскликнула Анна и бросилась к Маевскому — Лёничка! Простите меня! Я не виновата! Все расскажу, вы поймете!

Он с гадливостью оторвал цепляющиеся руки и гневно оттолкнул ее.

— Ничего не хочу! Вы бесчестная, бессердечная женщина! — Но вдруг он опомнился и ледяным тоном кончил: — Нам не о чем больше говорить, Анна Николаевна. Всё кончено.

— Я должна уйти, Лёня? — покорным, слабым голосом спросила она.

— Да. Извините меня, но... Погодите! — воскликнул он и схватил ее за руки. — Анечка, как вы могли? — зашептал он с отчаянием. — Ведь я богодворил вас! Верил в вас, в вашу чистоту!

— Не мучьте, я не виновата! Это был какой-то дурман...

— Ах, дурман? Дурман страсти! — подхватил это слово Маевский в бешенстве. — Чего же вы пришли ко мне? Идите к вашему любовнику! Вы — потаскушка! Уходите немедленно или...

Он вне себя озирался и ухватил за горлышко бутылку.

— ...Я не отвечаю за себя!

Анна долгим взглядом посмотрела ему в глаза и молча вышла. Через несколько секунд она уже бежала по улице к трамвайной остановке.

*

Оставшись один, Маевскийпил вино стакан за стаканом. Иногда он вставал, ходил по комнате, невидяще смотрел в окно, потом снова садился и пил. Он хотел забыться, так забыться, чтобы бессильно закрылись глаза и душа утонула в пьяном безразличии. Мысль о самоубийстве не приходила ему в голову, и, тем не менее, жизнь казалась навсегда оборвавшейся.

«Я не девушка!»... Какие простые, незначительные слова! Словно кто-то по-старинному ошибочно назвал ее барышней, и она спокойно поправила: «— Я не барышня, а дама, женщина!» Но для него эти слова означают крах и позор любви.

Маевский вспомнил, что на аэродроме она была смущена. О чем они говорили? Почему Зорин так поспешно ушел? Может быть, назначили друг другу свидание? И после этого она согласи-

лась стать его, Маевского, женой... — «Принципиально согласна...»

Как душит, как давит в груди...

Нет, восстановить прежние отношения невозможно! Между ними легла пропасть — ее измена, и через эту пропасть не перекинуть моста прощения и забвения. Они могли бы внешне примириться, даже пожениться и прожить вместе десятки лет. Но и слезящимся стариком с выцветшей памятью он будет помнить, что его старенькая подруга однажды отдалась другому. Придет время, когда не станет влечений, страстей, тусклый взгляд будет безучастно скользить по событиям человеческой суеты, но жгучее воспоминание о неверности жены останется навсегда, будя злобу, ненависть и жажду отплаты.

И, все-таки, он любит еще Анну... Не только любит, — он хочет ее! Странно, но только теперь, после признания Анны, Маевский открыл в ней женщину, созревшую для плотской любви. С ненавистью к ней и отворачиванием к себе Маевский чувствовал, что Анна стала желанной именно теперь, когда невидимые одежды чистоты и невинности спали с нее.

Но, может быть, Анна против воли стала любовницей Зорина? Может быть, в нем, Маевском, она искала защиты и спасения? Теперь же, оскорбленная и прогнанная им, она станет любовницей того добровольно, из мести или слабости...

Это изображение потрясло Маевского. Как он, мужчина и военный, не только не сумел постоять за любимую девушку, но сам же толкнул ее обратно в руки развратника! Может быть, сегодня же, через час, она выйдет на условленное свидание и в отчаянии мести снова безвольно отдаст себя на поругание...

Он должен идти на площадь Сакко и Ванцетти! Он спрячется где-нибудь под тенью базарного навеса и только проверит через освещенные окна, дома ли она. Только проверит! Но если ее нет, он дожидется ее возвращения, и тогда...

Кровь бросилась в голову Маевского, зубы ожались. Спеша, он набросил пиджак (в штатском он не так замечен!), сунул в карман малокалиберный учебный наган и вышел.

IX

Ночь. Темным пологом, усыпанным звездами, нависла она над засыпающим городом. Посередине неба — золотисто-бледная луна. На диске луны темные пятна; в старину благочестивые люди верили, что на ней запечатлелось злодейское убийство Каином

Авеля; нужно только внимательно присмотреться к этим пятнам и увидишь поверженного Авеля и страшный образ братоубийцы над ним. Так велик, так велик был гнев Господа Бога, что Он во всемогуществе Своем приказал луне навек отобразить неслыханное злодеяние. В назидание людям, в предостережение им.

Но люди любят луну. Ее серебряные струи разгоняют ночную жуть, ее кроткое сияние будит грёзы и возвышенные мысли. Даже животные и птицы равнодушны к лунному свету.

Центр города еще полон жизни и движения: звенят и грохочут трамваи, по улицам движется веселая толпа, в аллеях парков — потоки гуляющих; ослепительным светом горят шары уличных фонарей, витрин магазинов и окон ресторанов. За этим искусственным освещением совсем не видно маленькой бледной луны, прячущейся за крышами высоких домов.

Но на окраинах луна царствует. Там всё погрузено в темноту и тишину, и только с неба льются невидимые лучи, сказочно меняя вид строений, таких обыкновенных и невзрачных днем.

На площади имени Сагко и Ванцетти тоже ночной покой, хотя центральная улица совсем близко. Нахлобучив шапки-крышки, поблескивая черными очками-окнами, дремлют старенькие домики. Безжизненно-остро рисуются переплеты креплений и навесов колхозного рынка; замерли стройные тополя за церковной оградой; всё купается в волшебном свете, и только под навесами базара темно.

Тихо. Лишь в часы, когда кинотеатры и сады извергают на улицы своих посетителей, тишину площади разрывают гулкие шаги, разговоры, смех возвращающихся домой людей. Но вот они прошли, где-то хлопнули двери, зажегся и потас в квартире свет. И снова тишина.

Впрочем, она обманчива. Если остановиться и прислушаться, можно уловить и смутный рокот еще не уснувшего города, и мягкие звуки оркестра из парка, и гудки далеких паровозов, и залихватые свистки милиционера, зовущего подмогу на место драки. А вот на реке ритмично застучал лодочный мотор и донесся голос далекого певца: «Любимый город может спать спокойно...»

И еще можно услышать шорох, странный шорох под темными навесами колхозного базара: там хозяйничают бездомные собаки и крысы. Темными тенями перебегают они с места на место, ворошат мусор, вспрыгивают на столы, прызнут, чавкают. Собаки промывают молча, среди крыс нет-нет да возникает лискливая возня.

Где-то далеко за рекой медленно и печально начал отбивать

часы колоколов. Одиннадцать. И тотчас же из переулка донесся дробный топот женских туфелек. На площадь вышла женщина, свернула налево возле церкви и скрылась в сенях двухэтажного домика. В тот же момент от одного из столбов, поддерживающих рыночный навес, отделился силуэт и в два прыжка настиг женщину. Легкий испуганный возглас, два шопота из темноты сеней.

— Ах! кто это?

— Это я, не бойтесь...

— Как напугали! Зачем вы здесь?

— Нам нужно объясниться. Откуда вы идете?

— Вам нет до этого дела... От подрули...

— Вы лжете! Вы у него были!

— Пусть даже так... не смейте, я закричу...

Глухой стук падающих тел. Хриплые слова: «Не уйдешь, расплатишься!» Непромолкий тревожный возглас — «Папа!» Не то стон, не то мычание. И тишина...

Из черного четырехугольника выхода осторожно выглянул человек. Он воробьино посмотрел по сторонам и, взглянув низко опущенную голову в поднятый воротник пиджака, проворно перебежал под тень базарного навеса.

Упрямо нахохлившись, дремлют деревянные домики на площади имени Сакко и Ванцетти. Черной жуткой дырой смотрит открытая дверь двухэтажного облезлого дома, неподалеку от бывшей церкви. Мягкими волнами льется свет кроткой, задумчивой луны. А на реке опять застучал мотор, и прежний высокий голос снова пьяно затянул:

«Любимый го-род может спать спокойно и видеть сны, и видеть сны...»

X

Труп Анны был обнаружен в ранние часы колхозником, привезшим Зайцевым заказанные продукты. Войдя в сени, он сразу заметил выглядывающую из ниши под лестницей женскую ногу. Не подозревая еще ничего страшного, колхозник заглянул в нишу. Там лежала в разорванном платье молодая женщина с растрепавшимися по грязному полу пышными каштановыми волосами. Перепуганный колхозник взбежал наверх и изо всей силы забарабанил кнутовищем в дверь.

Дикий крик, сменившийся протяжным воем, вдруг пронесся над базарной площадью. Ближайшие люди опрометью бросились в сени дома, откуда донесся всполошивший их вой. Пожилая кра-

сивая женщина прижимала к груди и обессиленно роняла на пол безжизненное тело дочери.

— Аня, доченька! У-у-у! Очнись, я твоя мама! У-у-у!

По лестнице сбежал бородатый мужчина, бросился на колени перед трупом и, приложив ухо к груди мертвой, судорожно схватил ее за руку, пытаясь нащупать пульс. Все было кончено. И мужчина, закрыв лицо руками, зарыдал.

— У-у! Доченька! — выла и билась на руках сбежавшихся людей мать. Ее отпихнули от дочери, пытались уговорить, но она рвалась обратно. За юбку ее хватались два мальчишка, с громким ревом неопытно смотрящие туда, где лежала сестра. Возле дома уже кишела громадная толпа.

Появились милиционеры, агенты уголовного розыска, приехал прокурор. С надрывным завыванием сирены подкатила машина скорой помощи и забрала с собой тело Анны.

Через четверть часа на базаре возобновилась обычная торговая суетлока. И только заслышав из-за наглухо закрытых окон рокового дома заглушенный вой, люди оборачивали на него сумрачные лица, а женщины сморкались и крестились.

*

В этот день Зорин явился в свою канцелярию несколько позже обычного. Лицо его выглядело утомленным, веки покраснели. Поздоровавшись с секретарем, он сбросил пиджак и начал мыться у рукомойника.

— Всю ночь не спал, заканчивал свою брошюру, — пояснил он секретарю. — Только под утро заснул, а разбудить вовремя было некому... Жена еще позавчера уехала в командировку, домработницу отпустил в деревню — вот и проспал. Так, не мывшись и прибежал сюда. Есть что-нибудь новое?

— Почта у вас на столе. А новость, притом печальная, есть. Наша-то бывшая сотрудница, Анна Николаевна, приказала долго жить.

— Как? Что? Умерла? — пораженный Зорин схватил за руку секретаря. Глаза его с ужасом раскрылись, наполовину надетый пиджак так и остался висеть на одном плече.

— Задушена в сенях собственного дома. К тому же, кажется, изнасилована. Принесла это печальное известие стенографистка Мария Павловна, она ведь живет на той же площади. Весь город уже трубит об убийстве.

— Какой ужас! Какое несчастье! — несколько раз повторил заметно потрясенный Зорин. — Убийца пойман?

— В том-то и дело, что нет. Вся милиция на ногах, ищут... Какой-нибудь садист.

— Возможно, возможно... Я пойду к себе. — Находу надевая пиджак, Зорин прошел в свой кабинет.

Секретарь с любопытством и участием посмотрел ему вслед: «Знаю, что ты за ней увивался!» Он жалел убитую девушку, жалел и Зорина.

Войдя в кабинет, Зорин сел за стол и закрыл лицо руками. Из мрачной оцепенелой задумчивости его вывел телефонный звонок.

— Да, я самый, Зорин... Да, свободен. Конечно, могу, иду.

Он положил трубку, с трудом поднялся, вздохнул, как бы набираясь сил, и вышел в секретарскую.

— Петр Петрович, я иду к народному следователю. От него, вероятно, узнаю подробности. Вас прошу узнать день и час похорон. А также — закажите хороший венок.

Он опять подошел к рукомойнику, помыл руки, освежил лицо и молча вышел.

«Лишился ты теперь покоя!», сокрушенно подумал Петр Петрович. «Уж не собираешься ли сам разыскивать убийцу? Эх, Анна Николаевна, как же это тебя утратило, бедняжку?»

XI

Зорин вошел в полутемную приемную, где находился только делопроизводитель, и назвал свою фамилию. Делопроизводитель молча наклонил голову и, приоткрыв дверь в соседнюю комнату, негромко сказал: — Иван Лукич, товарищ Зорин явился. — Тотчас же оттуда вышел молодой, но уже лысеющий человек и жестом пригласил Зорина пройти в его кабинет.

— Извините, что потревожил вас, но дело, видите ли, такое... Знаете ли вы об убийстве студентки Анны Зайцевой, происшедшем сегодня ночью?

— Да, знаю...

— Я хотел бы получить от вас некоторые показания. Вы ведь знали убитую?

— Да, знал, но не близко. — Зорин был спокоен и лишь руки, лежавшие на коленях, дрожали. — Какое несчастье, какое ужасное преступление! Зайцева... Покойная Зайцева работала у меня приблизительно полтора месяца.

— Как вы ее знали, товарищ Зорин? Только по работе или бывали у нее на дому?

— Нет, знал только по работе. Даже не знал, где она живет.

— Минуточку, товарищ Зорин. Отец покойной показал, что вы ее несколько раз провожали домой.

— Ах да, такие случаи, действительно, были. Но я не заходил. И даже дома не помню. Знаю, что на площади Сакко и Ванцетти... За разговором разве замечаешь, где остановилась твоя спутница? И повода замечать ее местожительство у меня не было и не могло быть...

Прозвенел телефон. Следовательно взял трубку.

— Извиняюсь, товарищ Зорин. Да, это я, — ответил он в аппарат. — Начал, начал... Опросил отца, нескольких студентов... Мать невозможно пока. Сейчас у меня на допросе товарищ Зорин. Убитая некоторое время работала у него машинисткой. ...Постараюсь, товарищ прокурор, дело очень интересное...

Он положил трубку и снова обратился к Зорину.

— Значит, на квартире у нее не были? А почему вы её уволили с работы?

— По собственному ее желанию. Она хотела отдохнуть перед началом занятий в пединституте. Не смел ее удерживать, тем более, что... что она... Как бы это сказать? Она была начинающая машинистка и не совсем подходила, а у меня как раз готовится большая работа.

— Хм... Не знаете ли вы, как она проводила свободное время? Были у неё какие-нибудь интимные знакомства?

— Не могу ответить на этот вопрос, не знаю... Повторяю, знакомство мое с покойной Зайцевой имело только служебный характер. Что касается её знакомых, то я знал лишь одного — военрука Маевского, он преподает военное дело в пединституте и проводил занятия по ПВХО у нас в облисполкоме. На мой взгляд, у них были довольно близкие отношения.

— Это интересно... Считаете ли вы, тов. Зорин, что Маевский мог быть насильником и убийцей?

Зорин развел руками.

— Трудно ответить на этот вопрос. Ведь я знал Маевского очень поверхностно. — Он помолчал и продолжал с некоторым напряжением. — Откровенно скажу, что на меня Маевский производил неприятное впечатление. Человек мрачный, видимо, очень ревнивый и — решительный. Допускаю, что между ними могла произойти размолвка, и он... Очень трудно возводить на посторон-

него человека тяжелое обвинение, не имея никаких доказательств, но... Но как-то напрашивается подозрение...

Зорин стал бледнеть. Руки судорожно мяли портфель.

— Нет, товарищ Зорин, вы ошибаетесь. Маевский не убил. У меня тоже было такое подозрение, но факты его опровергли. — Следователь сделал паузу и веско добавил: — Маевский был арестован органами НКВД по совершенно другому делу, за несколько часов до убийства Зайцевой. Это совершенно точно установлено. Арестован на пороге собственной квартиры. А Зайцева в это время была у своей подруги-студентки.

— У подруги? Не он? Тогда — кто же? — тяжело вырвалось у Зорина.

— Пока не знаю, но надеюсь узнать. Больше ничего не можете показать? В таком случае не буду вас задерживать, товарищ Зорин. Однако в нашем деле необходимы некоторые формальности. Потрудитесь подписать вот эту бумажку.

— Что это?

— Подписка о невыезде на время следствия, товарищ Зорин.

XII

— Да. Задушена и, кажется, изнасилована, — сказал Зорин своему секретарю, вернувшись от следователя. — Убийца пока не обнаружен. Откровенно скажу вам, я очень, очень удручен. Сделали вы что-нибудь по моему поручению?

— Да, похороны завтра, в воскресенье, вынос тела из прозекторской медицинскому институту в шестнадцать часов. Венок тоже заказал, а вот с надписью затруднился. Во-первых, долгая это музыка: на напечатание ее в типографии требуется разрешение Обллита...

— Закажите чертежнику, — нетерпеливо прервал Зорин.

— Слушаюсь. Во-вторых, текст. Я составил такой: «Незабвенной нашей сотруднице — Союз воинствующих безбожников».

Зорин странно взглянул на секретаря.

— Нет! Измените. «Незабвенной» оставьте, а «Союз безбожников» не надо. Поставьте только наши фамилии, и всё. И венок возложите сами. Я, к сожалению, .. я буду очень занят.

Снова умывшись, Зорин заперся в своем кабинете. Поздно закончив занятия, он пообедал в ресторане и отправился в городской театр. Там встретил нескольких знакомых, в антрактах пил с ними водку в буфете, был оживлен, но временами беспокойно

прислушивался к разговорам соседей, если они касались убийства, ставшего уже предметом пересудов всего народа. Домой вернулся около полуночи. В спальне был свет, и он понял, что жена возвратилась из поездки.

Аглая, уже раздевшись, лежала в постели и просматривала «Правду».

— Опять поздно! — ворчливо приветствовала она мужа. — Если хочешь есть, в буфете холодная телятина и молоко.

— Спасибо, я уже поужинал. Спать, спать... Вчера целую ночь писал свою брошюру, устал смертельно. Ты еще будешь читать?

— Нет.

Аглая выключила свет, и в спальне стало резко темно. Когда глаза Зорина с темнотой освоились, мрак, казавшийся густым и непроницаемым, рассеялся. Сбоку в окно светила луна.

— А я очень удачно съездила. На станции Лужи организую парикмахерскую. Послезавтра опять поеду, дня на четыре...

— Рад за тебя, — сонным голосом отозвался Зорин. — Покойной ночи, Аглая...

Аглая не ответила. Зорин подумал, что жена уже засыпает, но она снова заговорила:

— Кто это там убили?

— Ты уже знаешь? Девушку одну, студентку. Она, между прочим, больше месяца проработала у меня машинисткой. Хоть и старательная была, но печатала плохо... Пришлось уволить.

Жена больше не спрашивала. Скоро по носовому посвистыванию Зорин понял, что она спит. Он пошевелинулся, заложил руки за голову, но сейчас же с какой-то гадливостью вынул их из-под затылка и вытянул вдоль туловища, поверх одеяла. В таком положении с открытыми глазами он и остался лежать. А в пылающем мозгу кроваво-багровым хороводом закружились, то обгоняя друг друга, то возвращаясь назад, воспоминания о вчерашней ужасной ночи.

...Анну задушил он. Вот этими самыми руками, которые темными, уродливыми буграми неподвижно, и словно бессильно, лежат на белом одеяле. Напрасно весь день он их моет, напрасно! К ним прилипло неогмываемое...

...Если бы можно было об этом не думать! Если бы этого не было!

...Какой странный, таинственный свет в спальне! Луна. Вот и вчера она светила, когда он стоял под навесом. Совсем он тогда не

думал об убийстве! Его тянул туда голод по Анне, ревность и томление проверить — дома ли она? Или все еще с *тем?*

...Её не было дома. Из освещенного окна высунулась женщина, с беспокойством сказала: «Что же Ани нет до сих пор?» — и закрыла окно. Стало до боли ясно: она с Маевским.

...Дождаться её, хотя бы пришлось простоять здесь целую ночь! Зачем? Отомстить! Сколько злобно-сладкого наслаждения предвкушал он от этой встречи! Лишь бы шла одна, без этого мерзавца.

Ах, этот странный лунный свет! Так и представляются белые домики вокруг площади, задумчивые тополя, тени от навесов, силуэт церкви. Над входом поблескивает позолота вытертого образа и букв. Он, хорошо знакомый с церковно-славянской вязью, легко разглядел надпись: «Всех скорбящих радость».

Он ждал долго, колокол за рекой отзвонил десять, одиннадцать... В квартире Зайцевых погас свет, очевидно легли спать. Это его обрадовало, значит, не услышат... Снова удары колокола и вдруг — дробный стук каблучков молодых женских ног. Она!

Ах, не об этом надо думать, это позади! Спасать себя надо, спасать... Всё ли он сделал, чтобы подозрение его не коснулось?

Об их отношениях никому не известно. Ведь не могла она проболтаться родителям или Маевскому? Ночью его никто не видел. Карманные вещи проверил, одежду и ботинки сжег... Как будто, всё в порядке. Маевский может на него указать. Возможно, он знает больше, чем нужно. А этот вопрос, подписка о невыезде... Подозревают!

Как храпит Аглая! Та тоже хрипела, рвалась, мьгчала.

Если его уличат — конец! Позор, длительное заключение — или расстрел? Сердце замирает от ужаса. Нет... защищаться, защищаться до последней возможности!

Если на него на улице кто-нибудь укажет пальцем, разъяренные люди разорвут его на части. Он *один* во всем мире и *все* против *него!* Он сам должен быть против себя! Люди его ищут, а он должен ходить среди них, разговаривать, шутить. Люди говорят о нем со страхом и отвращением, и он должен так о себе говорить... Люди хотят его казни, и он должен промко требовать самому себе казни.

Бежать, — но куда? Кто поможет достать фальшивые документы убийце, садисту, безбожнику?

Не садист, нет, нет! Он сам не понимает, как это случилось! Он хотел только отплатить! Не убивать! Но она закричала. И он зажал сперва рот, потом сдавил шею.

К чёрту ее, к чёрту! И не жалеет ее нисколько! Не вернешь! Спасаться надо! Не светает ли? Нет, всё еще луна. Какие странные лучи... Они падают косо, дробятся о переплет окна и спинку Алмаиной кровати. Они бледно-зеленого мертвенного цвета. Он боится этих лучей, боится закрыть глаза!

А та лежит мертвая. На каменном столе мертвецкой...

Еще позавчера он был другим, настоящим Зориньм. Спокойная обеспеченная жизнь, упроченное положение, жизненные наслаждения... Теперь он преступник, за которым охотятся...

Проклятая, ты довела меня до этого!

Если бы уснуть! Ведь так нужны силы и нервы. Спокойно обдумать. Найти доводы, алиби... Подготовить себя ко всем случайностям...

Кажется, светает... Да, светает... Можно закрыть глаза».

XIII

Зорин проснулся поздно. Его разбудил негромкий, но резкий звук: Аллая, уже одетая, возилась с чемоданом и только что захлопнула крышку. В столовой хлопотала с утренним чаем Фрося. И, может быть, потому, что открывшаяся картина была обыденной и привычной, сразу властно и тревожно вспомнилось то, что раскололо его жизнь на две несоединимые части, между которыми клин — его преступление.

— Который час? — спросил он, начиная быстро одеваться.

— Одиннадцать. Заместо того, чтобы жене помочь, всё дрыхнешь!

— Когда уезжаешь?

— Сегодня вечером. Рад, небось? Можешь опять погулять. Только знай, — если приведешь на квартиру...

— Аллая! Что за предположения, постыдилась бы! Работы у меня по горло, а не гулянки на уме!

— Идем чаевать, — помолчав, коротко ответила Аллая.

«Как странно! Как чудовищно странно!», думал Зорин, принимаясь за чай. «Вот я просто, обычно с ней говорю, пререкаюсь, как говорил и пререкался неделю, месяц, год тому назад. Пью чай, ем яйца и булку, Фроська в спальне стелит постели и даже не посмотрит на меня. И ни одна из обеих не подозревает, что рядом с ними страшный убийца, которого ищут! И этот убийца — Я! Как странно! Как нелепо и странно!»

Он вдруг посмотрел на шею жены. Худая, с морщинистой ко-

жей, некрасивая, но живая человеческая шея! А вот рот, лениво и медленно жующий булку, с тонкими некрасивыми губами, но тоже живой человеческий рот! А другую гибкую шею он сжал мертвой хваткой сильных пальцев, другой рот он навсегда закрыл ладонью безжалостной руки. Невольно содрогание пробежало по телу Зорина, и вновь охватило гадливое отвращение к своим рукам.

— С трамвайным парком ты уладила? — спросил он, чтобы только говорить, говорить, задавать вопросы, выслушивать ответы и не позволять другим мыслям овладеть его мозгом. — Получила у них деньги?

— Получить-то получила, но уже растратила, а аптечек так и не оборудовала...

И Аглая стала длинно рассказывать, путаясь в бухгалтерских терминах, что деньги, полученные от трампарка, ушли на зарплату, на другие административные и хозяйственные расходы, а на приобретение перевязочных материалов ничего не осталось. Дирекция трампарка потребовала выданные деньги назад, а в РОКК'овской кассе хоть шаром покати! Пришлось обратиться за помощью к райкому партии и, в конце концов, порешили на том, что дирекция спишет понесенный расход за счет «премиальных».

Зорин делал вид, что слушает с интересом, но на самом деле вел бесплодную борьбу с роем мыслей, страхов, мучительных воспоминаний, облепивших его душу, как комары.

— Смотри, не случилось бы с парикмахерской, как с трампарком, — сказал он, поднимаясь из-за стола. — Прикажи Фросе убрать, я буду здесь работать.

«Как она долго копается!», нетерпеливо и раздраженно думал Зорин, наблюдая за Фросей. Ему казалось, что если он углубится в работу, к нему вернется душевное равновесие, он станет прежним Зориным. Помыв еще раз руки, он включил радио, но послушав с минутку сообщения о ходе уборочной кампании и энтузиазме колхозников, сдающих урожай государству, стал искать другую передачу; поймал музыку, но послушав ее тоже с мгновение, резко выключил приемник, посмотрел на ручные часы, сверил время со стенными и тщательно выровнял их, заглянул для чего-то в платяной шкаф, потом открыл окно в спальней; наконец, с облегчением вздохнул и уселся за стол, с которого Фрося убрала чайную посуду. Да, да, работа успокоит его, отвлечет!

В три часа пообедали. За едой Зорин старательно отводил глаза от шеи жены. «Неужели это так просто? Сильно сжать ее, так, чтобы почувствовать пульсацию сосудов, поддержать с минутку — и человек перестал говорить, есть, смеяться? Оказывается, очень

просто, ужасно просто! Он знает это по событиям вчерашней лунной ночи, по воспаленным от страха мыслям, по рукам, ничего не забывшим. Если мозг устает или отвлекается, они тотчас напоминают.

После обеда Зорин снова помыл руки, сказал жене, что пройдет на реку, и вышел в переднюю; постоял там в тяжелой нерешительности и вернулся назад; прошелся по комнате и сел за стол с папиросой и газетой. Будь что будет!

Гулко и мелодично стенные часы отбили четыре удара. Зорин чуть вздрогнул и сделал движение встать. Может быть, нужно наглухо закрыть окна? Наполнить комнату дромким шумом и музыкой радиоаппарата? Или лечь на постель, закрыть голову подушкой? Нет, не в силах он этого сделать, не в силах! Словно парализованный, он прилип к своему стулу и не может пошевелиться!

Воскресный августовский день был чудесен. Это был один из тех дней золотой русской осени, когда лето с его жарой и прозами уже кончилось, и солнце дарит уставшей от родов земли покой и теплое благословение. Небо, видимое через открытое окно, радостно полубело, солнечные лучи, отражаясь от стен, крыш, стекол, казались добрыми улыбками пославшего их светила; со двора, с улицы долетали беспревозжные голоса, ступки, шорохи, воркованье голубей.

В эту мирную симфонию осеннего дня вдруг ворвалось новое. Издалека воздух принес первые аккорды духового оркестра: он играл похоронный марш Шопена. Зорин пошевелился, коротко вздрогнул — словно ажнул — и, сникнув всем телом на стуле, замер с дрожащей газетой в руках.

Трам... Там... Та-там... — вливались в окна мрачные, скорбные голоса труб и басов, и симфония смерти победила только что радостно звучащую симфонию жизни. Казалось, всё: и солнце, и промады зданий, и живые существа со страдальческим недоумением прислушиваются к маршу смертных стенаний.

В столовую быстро вошла взволнованная Фрося.

— Аглая Петровна! — задыхаясь от спешки и нетерпения заговорила она. — Позвольте сбежать посмотреть. Ведь хоронят эту самую, задушенную! Везут по проспекту, недалеко от нас, я мигом слетаю и сейчас же назад.

— Вы все сделали, что полагается? — строго спросила Аглая.

— Всё, всё... И посуду помыла и кухню убрала...

— Ну, идите, — великодушно согласилась Аглая; она сама была не прочь узнать подробности траурного шествия. — Только

не долго! — крикнула она вдогонку уже выбежавшей на лестницу Фросе.

Ближе и ближе торжественные аккорды похоронной музыки. Зорин сидит не шевелясь, словно читает газету. Лицо его бело, бисеринки пота выступили на лбу. Он оцепенел, руки и ноги налились «свинцовой тяжестью». Жизнь остановилась в нем.

...Её не по проспекту везут, а сюда, на его улицу, к его дому!.. Нарочно везут, чтобы уличить его! И остановятся, непременно остановятся перед его окнами и будут звать ужасной музыкой, взглядами, проклятиями и стонами родителей! И он подойдет к окну, как заигнотиженный, и увидит открытый проб!

Если бы кто-нибудь шепнул Зорину в ухо... Не гневно закричал, а именно спокойно шепнул: «Это ты сделал?», он ответил бы также шепотом, бессильным и жалким — «Да, я!» И склонил бы покорно голову с закрытыми глазами, ожидая конца.

Шопеновский марш кончился, его сменил другой похоронный мотив, и звуки стали как будто удаляться. Удаляются, удаляются! Ее уже провезли мимо!

Жизнь возвратилась к Зорину, он глубоко вздохнул, выпрямился и перевернул лист мелко дрожавшей газеты.

«Слава Богу! Самое страшное испытание прошло!»

XIV

— Владимир Иванович, я тоже получил от следователя повестку явиться к нему на допрос. Разрешите пойти?

— Идите, конечно, — хмуро ответил Зорин и хотел пройти в свой кабинет, но секретарь удержал его.

— Я хотел спросить: что я должен говорить следователю?

— То есть, как это — «что я должен говорить?» — с раздражением перебил Зорин и вдруг набросился на своего секретаря. — Что мы — сообщники, что ли, с вами? Вместе убивали и насиловали? Должны заранее договориться, как держаться на допросах? И как подобный вопрос мог прийти вам в баш... в голову?

— Я не то хотел сказать, — сконфуженно начал оправдываться секретарь, но Зорин не дал ему договорить.

— Говорите правду! — почти закричал он. — Как долго мы ее знали? С какой стороны знали? Исполнительная сотрудница, работала только месяц, уволилась по собственному желанию. Что мы с вами еще можем показать?

— Больше ничего, — ответил оторопевший секретарь.

— Так зачем же идиотские вопросы задавать? Придет же в голову!

Зорин оборвал себя и пошел в кабинет, но на пороге еще раз возмущенно повторил:

— «Что я должен буду показать!» Остолоп!

Петр Петрович сконфуженно помотал головой: «Действительно, я, что называется, брякнул! Но какая муха укусила его? Грустит, поди, по содрунице, а я еще масло в огонь подливаю. Однако надо идти к следователю!»

В кабинете Зорин тяжело опустился в кресло и понурил голову.

«Если этот дурак так спрашивает, ведь отлично вижу суть его вопроса: «могу ли, дескать, ответить следователю, что Зорин придумал за Зайцевой и теперь нервничает. Тот так и вцепится! Ведь подозревает, недаром подписку о невыезде взял! Неужели я погиб?»

В секретарской послышались шаги и в кабинет вошел Падучев.

— Здорово, Владимир-богоборец! Или как его там звали? — усмехнулся секретарь обкома, слабо пожимая руку и спокойными, твердыми глазами глядя прямо в лицо Зорину.

— То был по Библии Иаков-богоборец, я же только смиренный Владимир-богопёр.

— Богопёр? Это хорошо сказано! Я к тебе вот по какому делу... Кстали... Что это у тебя пусто? Где твоя машинистка?

— Машинистку я уволил... Она на днях умерла.

— Как умерла? — удивился, впрочем довольно равнодушно, Падучев. — Молодая, кровь с молоком. Или с опорчения?

— Она задушена, убита...

— Ах, так это та самая... Вот оно что!

Падучев испытующе глянул в глаза Зорина, и тот вдруг с замиранием сердца почувствовал, что тайна преступления уже не принадлежит ему одному.

— Жаль, жаль... Дело у меня вот какое: нужно написать большую брошюру на антирелигиозную тему в плане критики христианской морали. Задание агитпропа ЦК, срок большой, три месяца. Берешься за это дело?

— Подробную, товарищ Падучев.

— Отлично. Ты что-то выглядишь нехорошо. Может, дать тебе путевку в Крым, к морю? Там поработаешь на свободе над брошюрой. А?

— Нет, товарищ Падучев, буду писать здесь.

На мгновение мелькнула мысль сказать Падучеву, что он не может ехать — связан подпиской о невыезде. Но тотчас Зорин со страхом прогнал эту опасную мысль.

— Ну, как знаешь. В субботу еду охотиться на сомов, хочешь, приезжай. Поехал дальше, пока...

«Подает руку или нет?», с тревогой думал Зорин, когда Падучев взялся за свой портфель. Но тот с улыбкой в уголках губ слабо, по своей манере, пожал руку Зорина и, дружески кивнув, вышел.

«А все-таки он догадался!», с отчаяньем подумал Зорин. «Я погиб!»

XV

Жизнь Зорина раздвоилась: сзади было довольство, спокойная самоуверенность, но это в прошлом; в настоящем — страх, тоска и возрастающее, до сих пор неведомое чувство *виновности*.

Внешне всё шло по-прежнему: Зорин ходил на работу, писал брошюру, делал доклады, в привычные часы обедал и ужинал. Но он похудел, стал молчалив, во взгляде появилась пугливая настороженность. Арест он считал неизбежным, готовился к нему, обдумывал аргументы самозащиты. И все так же часто мыл руки. Они хранили неизгладимую память о преступлении.

Таковы были дни Зорина, наполненные одним стремлением: уйти от воспоминаний, отвлечься от них. Зато ночи... Бессонные ночи убийцы, сознавшего безумие совершенного. Кому он расскажет о них?

Одна из ночей:

«Тяжело. Порошки не помогают, только на рассвете и удается уснуть. Не смею зажигать свет, постоянно прислушиваюсь — не пришли ли за мной?»

Во всех ощущаю враждебность ко мне, во всем — даже в вещах! Вот различаю в темноте: там платяной шкаф, там умывальник, рядом ночной столик, за ним Аглаина кровать. И все эти предметы наполнены враждебностью ко мне, хотят, но не могут отодвинуться от меня!

Сбоку шкафа, что-то белое и длинное. Это капот Аглаи. И я боюсь его... Слежу за ним, не решаюсь закрыть глаза. Откуда этот мистический страх?

А вот моя рука. Широкая, крепкая, поповская рука. Послушна мне. Я захотел, и она сжалась в кулак, разжалась, растопырила пальцы — так я приказал. Неужели я и тогда приказывал?

Странно, чудовищно странно!

И тоска. Откуда она? Неужели томление смертным прехом, неужели поповское?»

Другая ночь:

«Опять нет сна, ворочаюсь, курю. Мысли всё те же, от них горит мозг. Откуда эта душевная мука?»

Хорошо — убил. Тысячи и миллионы людей убивают в наше время друг друга и не испытывают никаких угрызений совести. Почему же я исключение?

А, может быть, — испытывают?

Часто, очень часто приходит желание — признаться... Не следовательно и не суду, эти не дождутся! Нет! Признаться честному и порядочному человеку. Спокойно и серьезно сказать ему: «Знаете, а ведь Зайцеву-то убил я!» Что он ответит?

Отвернется со страхом и омерзением? Или покажет на меня пальцем и закричит: «Вот он убийца!» А, может быть, спросит, тихо спросит: «За что?»

И я не знаю, что ответить. Весь ужас мой в том, что не знаю, за что лишил жизни человека! Не только человека, но любимого человека... Теперь знаю, горько знаю, что любил ее...

Аня! Покажись хоть на секунду! Вон там, где висит белое длинное... Я буду смотреть и ждать. Ну? Прошу тебя! Ведь только на секунду!

Нет, не показываешься... Не стало тебя — навсегда... И нет там ничего. Только на кладбище гнет то, что было тобой.

Тоска! Тоска!»

И еще одна ночь:

«...Удалось немножко уснуть. И какой странный, хороший сон я видел!

Сижу в столовой, не то читаю, не то пишу. На душе спокойно. Из спальни выходит Аня, моя жена. Да, да, моя жена! «Владимир, куда ты поставил святое миро?» — «Как всегда, в буфет», — отвечаю, — «зачем оно тебе понадобилось?» — «Но ведь должна же я быть миропомазана!», — и в голосе ее звучат капризные нотки. Улыбаюсь и иду к буфету — и просыпаюсь.

Какой нелепый, смешной сон! А я плачу!

Если бы поверить, что ты приходила! Пусть с упреком, но была здесь! Аня, сама видишь, казнюсь, мучаюсь... Собственную жизнь отдал бы, чтобы видеть тебя живой!

Задушил... Вот этими руками. Опять слышу, как тяжело и бесшумно стучит артерия на твоей шее. На губах твоих, на подбород-

ке — слюна... Рот умоляет о дыхании, под локтем — полушарие твоей груди...

Возьмите от меня руки! Отрубите, ампутируйте их! Не могу с ними жить!..»

XVI

После гибели Анны прошло около месяца. В городе об этом трагическом происшествии почти успели забыть. Мало ли у людей своих собственных забот и огорчений? Успокоился несколько и Зорин. К следователю его не вызывали, и он постепенно пришел к убеждению, что страхи ареста и суда были преувеличены.

Так наступила еще одна ночь. Полнолунная ночь. Зорин возвращался с затянувшегося заседания в облисполкоме. Он уже не раз так возвращался после той ночи: одинокий, чуть задумчивый, мало внимательный к окружающему. Но сегодня произошел пустяк — он увидал луну. Окруженная широким бледным сиянием — признак перемены погоды — она вдруг выплыла из-за высокого здания и грустно-недоумевающе взглянула на Зорина. Сразу болезненно вспомнилось всё! И тотчас неведомый голос шепнул в ухо:

«Забьл? Успокоился? Сходи же туда и вновь переживи!»

Зорин знал, что существует такой психологический рефлекс — преступника тянет на место преступления. И он с возмущением поспешил прогнать странный соблазн, навеянный луной. «Глупости! Достоевщина! Только слабые волей и невежды могут поддаться!»

Но соблазн остался. И Зорин постепенно, словно на тормозах, стал ему уступать.

«Почему не сходить? Так я проверю свою силу». Он взглянул на луну, и ее рассеянные лучи снова принесли таинственный и повелительный зов:

«Поди же туда, пойди! Тебя ждут!»

Что-то подобное предчувствию или велению из потустороннего мира побуждало его исполнить призыв, рассудок останавливал, запрещал. И Зорин шел, шел к роковому месту, останавливаясь, пытаясь повернуть назад, влекомый непреодолимым желанием опять пережить прошедшее, заглянуть за опасный предел. Такое чувство испытывает путник, подступивший к краю пропасти. Незачем туда подходить, опасно, но замороженный близкой, готовой открыться тайной бездны, поддавшийся игре с опасностью, путник делает шаг за шагом вперед.

Поток воспоминаний, светлых и сладостных, хлынул в душу Зорина, когда он подходил к площади Сакко и Ванцетти. Вот здесь, провожая Аню после работы, он прощался с ней и долго смотрел вслед ей, оборачивающейся и улыбающейся. У этих ворот она весело смеялась, когда он рассказал анекдот из жизни духовенства. Всё это было так недавно, что в Уэльсовской «Машине времени» достаточно было бы молниеносно нажать рычаг, и она вернулась бы, а с ней — бестревожная жизнь и любовь.

Зорин вышел к церковной ограде. Перед ним открылась вся базарная площадь, залитая лунным светом. Всё — как тогда... Насупившиеся домики, презающие о прошлом; рядом — промада забытой оскверненной церкви, окруженная, как часовыми, тополями; низкие и плоские базарные навесы со сгустившимся под ними мраком. И тот поддерживающий навес столб, возле которого он, налитый ревностью и злобой, поджидал Анну.

Он должен пройти до конца эту всю, теперь спадную, дорогу! Подойти к дому. Открыть дверь. Войти в сени. И там...

«Нельзя тебе туда, нельзя! Вернись назад!» — обеспокоенно и сердито кричал рассудок. Зорин слышал этот голос, но уже не в силах был ему повиноваться. Он топал во власть прошлого. Он шел к Анне.

Сейчас он подойдет к двери и нажмет ручку (не делай этого, не делай, вернись!), нет, он повернет ручку и надавит на дверь: тихо, осторожно, чтобы никого не всполошить. Дверь медленно откроется и... обнажит полную зловещей тайны черноту сеней. Он переступит порог (не входи, не входи!). Нет, войдет — только на несколько секунд! И скажет: «Это я, не бойтесь!» И прислушивается: не зазвучит ли ответный милый голос? А если ответа не услышит, зажжет спичку (не зажигай, безумец, беги назад!). Нет, зажжет спичку и заглянет при ее колеблющемся свете туда... В нишу...

До двери осталось два шага, и Зорин, весь трепещущий, уже нацупал в кармане спичечную коробку. Вдруг он замер... Сверху донеслись голоса и, как ему показалось, плач...

— ...такой ужасной, такой позорной смертью! — говорил измученный женский голос, видимо заканчивая фразу.

«Мать!», молнией пронеслось в голове Зорина.

— Кагыша, не мучь себя и меня! — ответил мужской голос, голос отца. Он ходил, видимо, по комнате, половицы пола тихо поскрипывали. — На всё Божья воля...

— Боже! Накажи убийцу! — с тоской и страстью простонала мать.

— Родная, не надо так говорить, не надо! Разве такую просьбу исполнит Он? Он, учивший прощать даже врагам?

— Не могу простить, не могу! Доченька, милая, за что, за что? Это мы виноваты, Николай, что позволили ей работать у безбожников! Нас наказал Господь! А еще увлеклась этим Зориным! И никогда мы ее не увидим, никогда... За что же, Господи?..

Заглушенное рыдание, сморкание в носовой платок.

— Катюша, мы увидим ее, увидим! Разве ты забыла, разве не веришь в обещание Спасителя?

Голос отца, до сих пор мягко убеждающий, вдруг особенно зазвенел — силой и верой? Вернее сказать, тоской по еще не полной, не завершенной вере.

— Слушай, Катюша, родная моя! Она у Него, у Господа. И где же еще она может быть, как не у Него — чистая, любящая, замученная? Она у Него — и ждет нас. Поставим с тобой на ноги наших мальчиков, и тоже в далекий путь. Там нас встретит Анечка. — «Здравствуйте, милые мама и папа!» — закричит она и побежит нам навстречу. А Спаситель будет ласково улыбаться. — Вот, — скажет нам, — вы и встретились — больше уж не разлучу вас. Ты представляешь эту радость? Только ее надо заслужить... Посуди сама: если мы придем туда с ропотом, ненавистью, требованием мести, что Он нам скажет? Недостойны вы, скажет, видеть вашу дочку. Разве ненависти Я учил вас? И, знаешь, что? Я совершенно убежден, что и убийце нелегко, терпит он муку, может быть, горшкую, чем наша. Покоримся же воле Божьей, и нам и Анечке будет легче. Ведь видит она, как ты плачешь, и сама плачет. Зачем же и ее расстраивать? Мы никогда не забудем нашей дочки. И она будет радостная и светлая, потому что знает — мы заслуживаем встречу. Ведь так, мой дружок, моя бедная? А теперь, перед сном, помолимся. Прочли «Царю Небесный»... Все я молитвы перезабыл, а сейчас эту особенно захотелось услышать. И она будет слушать...

— Царю Небесный, Утешителю, душе истинный, — отдельно и расстроганно начал читать дрожащий женский голос. Но Зорин больше не слушал. Заплетающимися шагами он пошел назад, губы его кривились. Навстречу в лунном свете мягко блеснула позолота церковной надписи: «Всех скорбящих радость».

Зорин низко нагнул голову и почти побежал мимо церкви.

XVII

На следующий день Зорин заметно нервничал. Рассеянно вслушивал и давал ответы на вопросы секретаря и посетителей, задумывался, часто смотрел на часы; не дождавшись конца занятий, сказал Петру Петровичу, что страдает головной болью и потому пойдет домой.

По проспекту он шел торопясь, озабоченно осматривал обе стороны улицы, словно искал кого-то. Наконец, лицо его приняло удовлетворенное выражение — он нашел то, что ему было нужно: у входа в городской театр стояла старушка, у ее ног — корзина цветов — астр и хризантем.

— Что стоит? — показал он на цветы.

— Пятьдесят копеек букетик. Самый подходящий подарок для дамочек!

— беру всё, — сказал Зорин. Уложив цветы в свой объемистый портфель, он сел в трамвай.

Ехал Зорин до конечной остановки на окраине города. Затем пошел по шоссе в направлении нового городского кладбища; оно лежало в ложине, недалеко от шоссеиной дороги.

Ему недолго пришлось искать могилу Анны, в отличие от других мест последнего человеческого успокоения, над ней возвышался березовый крест. Зорин подошел, обнажил голову, аккуратно разложил на могильном холмике принесенные цветы и стал у подножья могилы; лицо его приняло задумчивое выражение, а затем слегка нахмурилось.

Место погребения Анны не производило впечатления уныния и печали, скорее наоборот: могильный холмик был аккуратно выложен дерном, дорожка вокруг него посыпана песком; была и скамеечка; сверху лежали цветы, увядающие и свежие, на кресте висело несколько венков, отчего он казался пышно распустившимся деревом; только запряженные и смятые ленты венков с траурными надписями нарушали общее впечатление удивленно-радостного и умиленного торжества победы жизни над смертью. На одной из лент Зорин прочел и свою фамилию.

День был серенький и теплый. Безоблачное с утра небо затянулось однообразной белесоватой пеленой, которая на горизонте спускалась и приобретала темный оттенок; по всем признакам собирался дождь. Недалеко от Зорина по дорожке прыгала пичужка с хохолком и желтой грудью; черными веселыми глазками она любопытно поглядывала на неподвижного, молчащего человека. На земле и в воздухе было удивительно тихо.

— Аня! — вдруг негромко позвал Зорин. — Слышишь меня, Аня?

Тишина не опоздалась, но стала будто еще более чуткой; испуганная голосом пичужка оглупела на несколько шагов, но вспомнив, что люди здесь всегда говорят и плачут, осмелела и снова мелкими скачками стала приближаться к человеку.

— Аня! — громче заговорил Зорин. — Прости меня! Был безумен и сам погубил — тебя и свое счастье. Ведь любил и люблю. И мой грех — искуплю... Слышишь?

Он замолчал и склонил голову, как бы ожидая тихого ответа.

— Завтра, Аня, я пойду к прокурору и повинюсь. Радостно понесу наказание, к чему бы ни приговорили. Только ты, ты — прости меня!

Он опять смолк; затем снова заговорил с трудом, с усилием.

— И еще попрошу... Помнишь, я излагал тебе свое безбожие? Тогда ты хотела мне помочь... Помогии теперь... Попроси Его... Сам я не смею... Попроси Его простить меня.

Голос Зорина задрожал и сорвался. Отбросив в сторону портфель, он закрыл лицо ладонями. Ноги вдруг стали подгибаться, и он тяжело рухнул на колени. Уже коленапреклоненный, Зорин с мукой выдавил через пальцы конец фразы:

— Ведь простил же Он... разбойника на кресте?

Стало чуть накрапывать. Мелкий, как из частого сита, дождик падал незаметно, несмело, словно уважая горе одинокого человека. Зорин отнял руки от искаженного страданием заплаканного лица и страстно-настойчиво зашептал:

— Простишь? Простишь? Протянешь мне там руку? Ведь никого нет, кто бы встретил меня! Никого!

Он нагнулся, оперся ладонями в углы могильного холмика, как бы для земного поклона, и стал целовать дерн, землю, цветы там, где должны находиться Анины ноги. Слезы текли по щекам, капали, лицо измазалось.

— Анечка! Жена моя! Доченька! Люблю и искуплю! — испуганно шептал он между поцелуями. — Только прости!

Раскаяние, горе погубленной любви, проснувшееся отцовское чувство, мольба и вера в чудо — всё слилось в бурном припадке. И странно: Зорин уже ощущал, как уменьшалась давящая тяжесть в груди, как умиротворение, тихо вея крыльями, обволакивало душу. Невидимая нежная рука успокаивала и утешала, ласково касаясь его головы.

Еще больше потемнело; дождь усилился. Теперь он стал крупнее, шелестел в лентах, заставляя вздрагивать цветы. Влага

смочила голову и руки Зорина, забиралась под воротник, колени ощутили сырость; на нижнем обрезе перекладки креста росли капельки и, сбегаясь друг к другу, сливаясь, тяжелыми ягодами падали вниз.

Медленно размахивая крыльями, с карканьем пролетели птицы, направляясь к далекому лесу. Пичужка давно спряталась, даль занялась сеткой дождя и паром земли; еще больше попомнело. Пора было уходить.

Зорин с усилием, нехотя поднялся, отер лицо платком, отряхнул прязь с колен, обошел кругом могилу... И тут случилось нечто неожиданное, странное: безбожник и убийца дрожащей рукой стал крестить маленький могильный холмик.

Он посылал свои крестные знамения, свои благословения каждому бугорку и углублению, каждой песчинке и травинке на всем протяжении, которое занимала мертвая Ална; движения его руки были препетно-страстные, ненасытные, словно хотел отдать он той, что в земле, всю свою душу, всю любовь, все страдание свое и веру, возрожденную веру в прощение и свидание. И опять ощутил он незримую ответную ласку, дружно-утешающую и кроткую.

Уходил он медленно, пятясь, с лицом, обращенным к могиле. Казалось, хотел он навсегда вобрать в свои глаза, в память, во всё существо свое видение могилы убитой и оскверненной им девушки.

XVIII

Фрося накрыла камфоркой трубу закипевшего самовара, взглянула на часы и пошла будить хозяина (Алтая снова была в командировке).

С тех пор, как Алтая Петровна стала ездить по своим партийным делам, Владимир Иванович спит по упрям, как убитый.

Но будить не пришлось: к ее удивлению Зорин был одет и что-то писал; перед ним на ночном столике лежали сложенные в пачки деньги.

— Будить пришла? — ласково спросил Зорин. — Опоздала, голубушка!

— Что это вы нынче рано встали?

— Так нужно, Фрося... Я уезжаю надолго, а, может быть, и навсегда.

— Назначение новое получили? То-то, вы веселый!

— Пожалуй и назначение. Сослужи мне, Фрося, последнюю службу... Только так, чтобы Аглая Петровна не узнала.

Фрося вопросительно смотрела на Зорина.

— В этом конверте деньги и записка Аглае Петровне. А вот в этом... В вашем селе есть священник?

— Как не быть, только старенький. Молодого-то сослали...

— Так вот. Отправляйся после чая в село и передай священнику этот конверт. В нем деньги и поминальная записка.

— Неужто у вас кто-нибудь помер?

— Да, жена умерла... Что глаза вытаращила? Не тетерешняя, а прежняя — Анной звали. Пусть поминает, насколько денег по его тарифу хватит. Сделаешь?

— Как же не сделать, я же православная.

— Спасибо. И вот что еще, Фрося, — Зорин поднялся, обнял ее за плечи и со странным выражением лица взволнованно спросил:

— Скажи, Фрося, если человек совершит большой, большой грех... Может его простить Бог?

— Разве я знаю? Если человек раскается, пожалуй, и простит...

— И на этом спасибо, Фрося... Вот тебе от меня подарок. Не поминай лишком.

В канцелярии еще никого не было, когда он пришел туда. Зорин сел за стол и стал приводить в порядок бумаги и рукописи. Вдруг рассмеялся, прекратил уборку и стал рвать рукопись начатой брошюры. За этим занятием его и застал секретарь.

— Петр Петрович, я уезжаю сегодня, может быть, навсегда.

Секретарь сделал невольное движение.

— Не спрашивайте, потом узнаете. На ваше попечение оставляю всю работу.

Зазвонил телефон, Зорин приложил трубку к уху.

— Да, узнаю! Хорошо, сейчас приду.

Лицо Зорина вдруг омрачилось — звонил прокурор. Очевидно допрос, а может быть, и арест. А ведь он хотел добровольно признаться!

Зорин поднялся и протянул руку секретарю.

— Прощайте, Петр Петрович. Сюда я, пожалуй, не вернусь, — он усмехнулся, — или вернусь с новым «назначением» сдать дела...

По дороге к прокурору Зорин обдумывал, как он сделает признание. Это решение бесповоротно. С этим решением пришло и умиротворение и надежда на прощение. Лицо его прояснилось; он

не станет ждать вопросов, а сразу скажет всю правду. Так велела Анна, так велит совесть.

Прокурор был не один. У окна, развалившись в кресле, сидел Падучев и просматривал журнал. Это было неприятно: значит, признание придется делать под иронически-холодным взглядом этих спокойных твердых глаз.

— А! Владимир-богопёр! — улыбнулся Падучев, повторяя понравившееся ему словечко. — Говори с прокурором, мешать вам не буду, — и он снова уткнулся в журнал.

— Я пригласил вас по делу об убийстве пражданки Анны Зайцевой, — начал прокурор. — В этом деле вы участвуете в качестве свидетеля...

— Да, товарищ прокурор, и я хотел...

— Предварительное следствие по этому делу потребовало отобрания у вас подписки о невыезде до окончания следствия.

— Да, товарищ прокурор, и я хотел...

— А ты, Зорин, слушай прокурора, — вдруг вмешался Падучев, не отрываясь от журнала. Стало ясно — он присутствует здесь намеренно.

— Дальнейший ход следствия показал, — продолжал прокурор, — что вы к этому делу имеете только несущественное, косвенное отношение. Поэтому возьмите обратно...

И он протянул Зорину листок с подпиской о невыезде.

— А теперь скажу и я парочку слов, — заговорил Падучев, подходя к Зорину. — Получено распоряжение из Москвы командировать тебя туда, в распоряжение агитпропа ЦК. Чувствуешь? Пожалуй, нас обгонит в «чинах и орденах».

Он дружески потрепал Зорина по плечу.

Огромная, задыхающаяся радость охватила Зорина и смыла то одухотворение, муками добытое, что еще полчаса тому назад светилось в его душе. Он свободен! Он выйдет отсюда без пятнышка на репутации!

— Поздравляю с назначением, — сказал Падучев. — Ты в облизполком? Поедем вместе, подвезу...

*

— А теперь поговорим по душам, — начал секретарь обкома, удобнее устраиваясь на подушках сиденья. — Я всё знаю. Признайся, в порядке самокритики, ведь сделал большую ошибку?

— Д-да, — запинаясь, ответил Зорин. — Я очень измучился... Хотел сам признаться...

Падучев внимательно посмотрел на собеседника. Он был равнодушен к Зорину, как вообще был равнодушен к людям. Его не

интересовали личности, его интересовали полезные и преданные работники. С этой точки зрения он оценивал Зорина и поэтому властно вмешался в его судьбу.

— Похвальное намерение, — чуть насмешливо сказал он. — Но партия решила иначе. Ты нужен не на принудительных работах, а за кабинетным столом. Хотя ты и беспартийный, но партия решила взять тебя под свою защиту.

Он чуть помолчал и продолжал:

— Я сразу понял, в чем дело, когда был у тебя, и поэтому решил заняться своим делом. К счастью для тебя, не опоздал. Следователь уже составил предварительное заключение и требовал у прокурора ордер на арест. Тот чуть не дал, — но лут появился я...

Падучев усмехнулся воспоминанию.

— Следователя едва уломали, упрямый оказался, как козел. Пришлось припрозить партийной дисциплиной, только тогда подчинился. Впрочем, это к слову...

Освободив одну руку от руля, он полез в карман за папиросами и так же холодно и веско продолжал:

— Мне нечего тебя агитировать, сам знаешь, что религия нам первый враг. Она еще жива, тихой сапой пробирается в молодежь. Бороться внешними средствами с ней трудно. Ее нужно изнутри, идеологически взрывать. На этом фронте мы дорожим каждым способным работником, к числу таких относим и тебя. Будешь хорошо работать — плохо тебе не будет! Однако мы приехали.

Улыбаясь одними губами, Падучев слабо пожал руку Зорина, захлопнул за ним дверцу, кивнул головой и уехал.

— Пришли всё-таки? — обрадовался секретарь.

— Только на полчаса... Теперь могу сообщить: еду в Москву, в распоряжение ЦК партии.

— Ого! Значит, можно поздравить! Вы заслужили повышение, Владимир Иванович, — с чувством добавил он.

Оставшись в кабинете, Зорин болезненно сморщился, сжал голову руками и с отчаянием пробормотал:

— Что я сделал?! Подлец я, подлец!..

XIX

Скорый поезд на Москву несколько опаздывал, и Зорин, чтобы убить время, бродил по вокзалу. О недавних переживаниях — о преступлении и исцеляющей силе раскаяния — он старался не думать. «Потом, потом! Приеду, устройся и тогда все обдумаю», — говорил в нем прежний Зорин.

Блуждая так, он наткнулся на газетный киоск. «Нужно что-нибудь взять на дорогу», подумал он.

— Свежих московских газет еще нет, — сказал продавец. — А журнальчики выбирайте... Имеется литература, избранные рассказы Чехова, Горького, Зоценко, повести Гоголя...

— Дайте Зоценко и «Тараса Бульбу», — неожиданно для себя заказал Зорин. Он вдруг болезненно-остро вспомнил первое появление Анны и свою шутовскую фразу, пародирующую слова кошевого атамана. Странное, взволнованное желание прочесть в подлиннике то, что в искаженной форме было сказано трагически вопиющей в его жизнь девушке, охватило Зорина. Так случается с иными впечатлительными любителями чтения: прочитав интересный трагический роман, они возвращаются к первым страницам.

Подошел поезд. В купе Зорин снял пальто и шляпу, протер перчаткой запотевшее, с бегущими снаружи струйками дождя окно и уселся. Заверещал свисток обер-кондуктора, ему оглозвался мощным взрывом сирены паровоз, и поезд плавно тронулся. В окне проплыли мрачный фасад вокзала, станционные строения, водокачка, семафор. В вагоне посветлело, поезд выбрался из черты города и уже несся по бесконечной, поливаемой дождем равнине.

«А что, в Христа веруешь? И в церковь ходишь? Ступай в какой знаешь курень», — прочел Зорин, и в памяти снова возник образ Анны со смущенным лицом, сумочкой и документами в руках. Остро-сладкая боль возникла в груди. И тоска охватила все существо убийцы.

Неожиданно Зорин сорвался с места и припал к стеклу окна. Оно опять затуманилось, и он порывисто опустил раму. В купе ворвался ветер и брызги дождя, послышалось ворчание других пассажиров, но Зорину было не до них. Там, на равнине, между рощей и невидимым за сеткой дождя городом, лежит убогое, пустынное кладбище. Среди бетонных столбов и плит, которыми увенчиваются могилы праждан, возвышается крест, овитый белыми цветами.

«Что же мне нужно сделать, что нужно сделать?», с отчаянием думал Зорин. Он уселся на свое место, накиннул на плечи пальто и уткнулся в угол дивана. Снова взвихрились огненные мысли, вращаясь вокруг одной оси — его преступления, его любви к жертве, его раскаяния.

Поезд мчался все дальше и дальше, проскакивая маленькие станции, задерживаясь минутами на больших; вагон мягко покачивало, колеса ритмично-убаюкивающе отбивали такт, мирно по-

храпывал сосед, капитан войск НКВД; незаметно подкрадывалась темнота наступающих сумерок. В углу дивана, зябко укрывшись пальто, сидел человек, внутри которого шла большая, напряженная работа. И если бы можно было привести в систему поток его мыслей, итог получил бы примерно такое выражение:

«Мне не уйти, никуда не уйти от Ани, живет ли она в селениях горных или разлагается в земле. Мы навсегда связаны, ибо люблю ее и она живет в моей совести.

Я мог бы подавить свою совесть, как делают это многие, как делал сам раньше. Но знаю, совесть — это голос Высшего Существа. Оно живет во мне, хотя я стал преступником.

Безумная страсть, убийство и покаяние, просветленная любовь к своей жертве — *не есть ли это высшее возмездие?*

Я мог бы положиться на всеисцеляющее время. Не хочу такого исцеления, ибо в нем унижение человека! Я искупления ищу, ради его исцеляющей силы! Но искупление возможно лишь при условии прощения Того, Кто держит судьбы людей в Своих руках...

Передо мной у могилы Ани открылся радостный путь искупления. Я ощутил чудесное невидимое ободрение... Но пришел страшный соблазнитель и сказал: «Всё простится, всё получишь, если падши поклонись мне...»

И я поклонился...

...В Библии сказано: «Страшно выпасть в руки Бога Живаго». Нет, еще страшнее выпасть из Его рук, ибо...»

Кто-то теребил Зорина за коленку, он очнулся: перед ним стоял улыбающийся, уже одетый в шинель капитан.

— Не проспали бы, товарищ безбожник! К Москве подъезжаем.

«И этот меня знает!», с горечью подумал Зорин и нехотя поднялся. Поезд врезался в густой багрово-окрашенный, колеблющийся вечерний туман. Зеленоватыми зарницами вспыхивали разряды далеких электропроводов, вздымались столбы кровавых искр из фабричных труб и горнов мастерских; проплывали туманные красные и зеленые пятна семафоров и путевых фонарей. Все ближе и ближе надвигалось зарево города, оно уже охватывало половину горизонта; вдруг сразу резко потемнело: поезд вошел в коридор темных и длинных составов; стук колес, дребезжание частей вагона стали резче, оглушительней, раскатистей; казалось, гремит не поезд, а машины, подъемные краны, горны заводов и фабрик; и чудились толпы людей, обливающихся потом напряженного, непрестанного труда; людей, наклоняющихся, вы-

прямялющих стан в усилиях занести для удара молот, всадить лопату в кучу темносерого кокса, швырнуть уголь в раскаленную печь...

Послышался свист тормозов, замелькали освещенные окна другого пассажирского состава, поезд стал резко пружинить ход и остановился.

Снаружи было темно, холодно, мокро — в Москве тоже шел дождь. На соседнем пути стоял еще один пассажирский состав, с шумно отдувающимся, после долгого бега, паровозом. Пассажиры обоих поездов шли между ними. Зорин шел вместе с другими, перед ним маячили спины, шляпы, шапки, женские платки; кто-то сзади то и дело наступал ему на каблук, сосед слева упрямо, про себя, бурчал: «Строим, строим, а к вокзалу под дождем иди!»

Зорин ничего не замечал, он смотрел в небо. Мутно-грязное, вспыхивающее заревами, колеблющееся и клубящееся, как первобытный хаос элементов, оно, казалось, не имело глубины. И в центре этого неба он видел, или ему казалось, что он видит, крест, подобный весеннему дереву, расцветшему пыльными, белоснежными цветами.

«Только там — реальность! Там встреча, любовь и прощение!»

На вокзальной площади по всем направлениям растекались толпы людей; с нахлобученными шляпами и шапками, уткнув лица в поднятые воротники, они казались призраками в плавающем тумане; сама площадь со светлыми пятнами окон и фонарей, неподвижных на столбах и движущихся в трамваях и автомобилях, казалась призрачной, случайно возникшей, готовой рассеяться в потоке Времени.

Зорин поднял воротник, крепко надвинул на лоб шляпу и пошел к стоянке такси. Туман обволок его. И, одинаковый со всеми, мокрый, похожий на призрак, он исчез в спешащей, озабоченной человеческой массе.

Случай с Авксентием Алексеевичем

(Рассказ)

Все это началось более или менее по-обычному: Юрий, отправляясь на тренировку, долго не мог найти белой фуфайки и фотографического аппарата, а потом пришел разноцветный: хлорофилл травы и охра глины на фуфайке, и синяк под глазом. «А зато цветные снимки хорошо должны выйти!..» Но до проявления снимков было еще далеко, и потому отец и Авксентий Алексеевич еще слушали хай-фай. Потом самое удивительное было в том, что никто не удивлялся, а окна в комнате были широкие, венецианские с аркой, и я, отец Юрия, и Авксентий Алексеевич стояли перед этим окном и наблюдали происходящее на улице. На нас были серые жакеты в талию, узкие панталонны со штрипками и белые жабо. Но, несмотря на наши хорошие костюмы, нам совершенно не нравилось происходящее на улице: в город вступала оккупационная армия. Солдаты были в малиновых мундирах, с черными панталонами, и в высоких шапках: не то кивер, не то шапка. На длинных обозных фурах везли припасы. И нам с Авксентием Алексеевичем было совершенно ясно, что попались мы как... как курь в капустный суп. Мы были тут по делу, и не своему, а казенному, касавшемуся здешних жителей, а не тех, кто сюда вступал. Ничего хорошего для нас из всего этого выйти не могло, и потому было совершенно ясно, что нужно уезжать. До вокзала пришлось идти пешком, но ни на какой вокзал мы так и не попали: во-первых, войска стали уже расквартировываться, солдаты и офицеры сидели, расстегнув воротнички, по трактирам и пивным, уже вполпьяна, и нас изловил один такой: «А куда? А кто вы такие? А вот выпейте с нами!..» Слово «вокзал» подействовало: «Ну, если так, то уж идите...» А, во-вторых, вокзала нигде не было, и пришлось возвращаться обратно. Местные жители (на женщинах большие крахмальные белые капоры) толпились на улицах, жаллись к стенам домов, а мальчишки лезли к

солдатам. Одного мальчишку отшвырнули от маршировавшей колонны мячом в толпу. Толпа тихонько загудела, но и всё. А дома (там, где было широкое окно) ждали новости: вечером бал в честь новоприбывших, и надо будет по-французски занимать высокопоставленных дам. И тут уже произошло самое невероятное: в комнату ворвался Юрий, совершенно вне себя:

— Зачем вы тут сидите и ничего не делаете? Да понимаете ли вы, что происходит? Снимайте! Ведь миллионерами будем! В девятнадцатый век попали! Я уж тут снимков наделал, хоть и свет неважный...

— Да, ведь, катушек с собой негу!

— Неважно, возьмите у меня пару, потом отдадите. Ведь случай-то неповторимый! Да и миллионы наживем...

Никаких миллионов мы не нажили: снимки не вышли. Наверно, свет был слабый.

*

По объявлению «Продается дом, за городом» поехали смотреть. День был пасмурный, и дело было уже к сумеркам: не темно еще, но все уже какое-то свинцовое. Дом стоял на отшибе, за какими-то лесками, и крутом был только пустырь, да голые прутья кустов. Дом был старый, в два этажа с мезонином. От нежилого вида стекла в окнах поблескивали тускло, как бельма. Собственно говоря, не стоило и начинать его осматривать, ну, да уж если приехали... Внутри все было, как положено в старых нежилых домах на продажу: полы и подоконники когда-то вымыты, а теперь покрыты тонкой ровной пылью, пустые стены без картин и гулкая тишина. Мы, т. е. я и отец Юрия, вошли в прихожую, большую и темную, с лестницей наверх. Прошли направо, из комнаты в комнату. В комнатах свет серо-холодный, а позади дверь в прихожую черным пятном. Двери — одна против другой, длинной анфиладой. Пришли в последнюю комнату: все то же самое: свет свинцовый, пусто и холодно. Надо возвращаться тем же путем, в черное пятно прихожей, мимо пустых серых углов пустых серых комнат. Я и говорю отцу Юрия: «Знаете, как-то мурашки по затылку тут бегают. Напрасно мы сюда зашли: все равно никогда бы я этого гроба не купил!» А наверху вдруг тяжелые шаги: кто-то ступает ногой, обутой почто только в чулок, а ступает гулко. А дом-то закрыт был: мы ключи с собой взяли. Я боюсь и спрашиваю отца Юрия: «Да кто же это? Отчего это?» А тот отвечает: «Это он ходит. Он всегда любит так ходить». Отвечает, а самому как будто ничего, как будто так и надо. Даже ходит по комнате и на окнах

задвигжки пробует. Наверху же все громче: ступ, ступ, и приближается к лестнице, что ведет в прихожую. Тут уже я не стал ждать, и скорее к выходу. И только обернулся к дверям, как заметил в темной прихожей скелет в дверях. Скелет тоже заметил, что его увидели, и скорее спрятался за угол. Когда же прятался, таково игриво задом подвильнул: «Мол, подойдите только, только пройдите мимо: ужю, удоволим!»

А наверху все тупало.

*

Как раз подошла юбилейная Менделеевская дата, и мне пришлось писать и статью для журнала, и доклад для Физико-Химического Общества. Засиживался я над этим материалом до поздней ночи: интересно было проверить даты открытий и приоритетов. Авксентий Алексеевич помогал, правда, но мне как химику приходилось возиться с этим делом вплотную. Стол мой был завален журналами, выписками, книгами, и было в этих книгах много портретов Менделеева: и в возрасте постарше, и помоложе, и в пиджаках, и в академическом сюртуке. Была даже одна фотография в шляпе и с зонтиком. Во всяком случае, тема о Менделееве была главной семейной злобой дня, и даже Юрий, несмотря на равнодушие, и, пожалуй, явную неприязнь к химии, тоже вовлекался в разговоры, и даже повертел в руках пару книг.

В тот вечер пошел я спать часов в одиннадцать: и статья, и доклад были уже вчерне готовы, и можно было слегка вздохнуть — с окончательной отделкой я уже мог справиться к сроку. Спал я тогда в своем кабинете, а комната Юрия выходила дверью в этот кабинет. На южную сторону были окна, письменный стол стоял посредине, а еще было в комнате два дивана: один мягкий, на котором я спал, у стены, противоположной окнам, и другой, жесткий, у стены слева. Дверь в комнату Юрия была в правой стене, через стол против жесткого дивана. На этом диване можно было между работой вытянуть ноги и посидеть без опасения заснуть — такой он был жесткий и неудобный. А это-то как раз и хорошо, когда засиживаешься за бумагами допоздна. В комнате было прохладно, и когда я отдыхал на этом диване, то накидывал на себя старый плед не плед, платок не платок: тканый, в мелкую клеточку, черную с белым. Белым-то оно, положим, было когда-то, еще в бабушкины времена, а теперь Юрий называл этот цвет «темно-белым». Ложась спать, я так и оставил этот платок висеть через спинку дивана. Когда я проснулся, луна ярко осветила на-

косых через окна, и на стене и на диване были вперемежку тени и пятна света. Наверно было около трех-четырёх часов ночи. Я взглянул пристальнее на диван и увидел на нем замечательную иллюзию из теней, света и складок платка: на диване полусидел, полулежал, прислонясь спиной к ручке дивана, Менделеев. Был он очень старенький, с пушистой седой бородой, которая сквозила серебром в лунном свете. Длинные волосы космами, уже совсем редкие, спадали на воротник черного пальто. Одна нога в высоком сапоге — голенище совсем сморщенное под задравшейся штаниной — лежала на диване, другая была спущена на пол.

Я ни на секунду не сомневался, что вижу иллюзию: Менделеев сидел совершенно неподвижно, глядя поверх меня — как фотография «в три четверти». Я был очень счастлив: все-таки за время своей работы как-то сроднился с человеком, а тут он сидит, как живой. Полюбовавшись иллюзией, окликнул Юрия — пусть тоже посмотрит. После нескольких: «Что?», «Чего тебе?», «Что случилось?», Юрий заинтересовался, и даже не ворчал, что после футбола спать не дают, а вышел из своей комнаты и, щурясь от лунного света, встал у письменного стола. Он милостиво согласился: «А! Да, верно, как живой!», и, позевав, отправился опять к себе спать. Я скоро заснул тоже.

А утром, когда мы обсуждали ночное происшествие, выяснилось, что я видел Менделеева в правом углу дивана, спиной к окнам, а Юрий — в левом, к этим окнам лицом.



Сначала мы с Авксентием Алексеевичем слушали хай-фай, а потом рассуждали о личности, в частности, о том, приложимо ли к личности понятие о величине, и имеет ли личность пространственное протяжение. Выходило так, что личность складывается из различных психических элементов, а если так, то как эти элементы сцеплены и где они находятся? И значит ли то, что когда говорят «подсознание», то оно находится где-то внизу, под сознанием, а не где-нибудь сбоку? И мне представилось, что сознание — это такой дом, где живет «я», а психические элементы — нечто вроде пластинок граммофона хай-фай: когда нужно, «я» их пускает. Дело в том, что один из нас был физик, а другой химик, и первое, что нам всегда приходило в голову: а нельзя ли устроить эксперимент? Авксентий Алексеевич сказал, что надо пространственно разделить личность, сместив элементы на полуфазу, как смещаются колебания светового луча при интерференции в двух зерка-

лах под малым углом. Потом он уехал, а я сел против зеркала и стал смещаться. При свете лампы под зеленым абажуром у двойника были впалые зеленые щеки и черные ямы глаз. Губы были плотно сжаты и руки крепко сжимали ручки кресла. Зеркало было большое, толстое, из дешевого зеленоватого стекла, и потому казалось, когда глаза устали, что это — поверхность воды: почنو гладкий пруд, подернутый тонкой пловучей тиной. После очень долгого неподвижного сиденья руки и ноги заоченели, и перестала чувствоваться в них боль: они скорее ощущались как направления, а не как руки и ноги. Я думаю, что было уже очень поздно, когда двойник повернул голову, встал, посмотрел на меня и ушел в зазеркальный мир: в зеркале его больше не было. Мне, по законам зеркальной симметрии, тоже надо было куда-то уйти, но, при условии отрицательного знака перед моей скобкой, симметричное удаление топологически равносильно параллельному перенесению, и я тоже последовал в мир зазеркальный: немного топшило, как на корабле. Я припомнил, как в детстве смотрел сквозь лимонное желе: все крутом было зеленоватое и как будто колыхалось.

Дальше по коридору я попал в большие пустые комнаты; полки по стенам; на полках — точно статуэтки. Почти всех узнал и подумал: так вот как устроена память. И все пыльное и позабытое. Мне стало очень, очень грустно, а снизу то и дело рычало, точно глумим промом. Спустился вниз, в подвальный этаж, где работало центральное отопление: большой жаркий генератор, как саженный кулич, и около него проворные черные: двое, с кочергами, шуровали огонь в топке. А были с ног до головы затянуты в черное трико, с дырами для глаз. Генератор гудел басом и мелко тряся: энергия.

Грохотало из соседнего помещения, после резких звуков, как взмахи хлыста. Там я нашел двух очень наглого вида молодчиков, которые занимались спортом: в глубине комнаты укрепили икону и палили в нее из спортивного ружья — «22».

Я сразу увидел, что стрелки они неважные: не умеют подвинуть мушку. Выстрелы ложились на одиннадцать часов, внешняя треть радиуса, — на золотой фон иконы, в левый верхний угол, не задевая изображений двух седых святых в черных рясах и скуфьях. Молодчики вскидывали ружье ухарски, палили, и тотчас после выстрела гудело промом где-то под землей.

Я замахал им руками: перестаньте! А они, как нарочно, — вот, мол, я какой, — прицеливаются, и — бац! Тогда уже загудело так прозно, что я понял — вон отсюда, и как можно скорей! Про-

бегая через подвал с топкой, увидел, что пружная масса генератора накренилась и сейчас же обрушится на кочегаров. Из-за грохота нельзя было им крикнуть, показал только руками — скорей из-под печи, и — на каменную лестницу наверх. Все уже колебалось под ногами, и в сводчатое окошко на одной из площадок, разбив стекла, хлынула серая холодная вода и сбила меня с ног, и я еще успел подумать, что всё кончено, и, действительно, там все кончилось, и я попал обратно.

Сорокалетие русской поэзии в СССР

(1920—1960)

I

Хотя поэзию и принято объединять с романом и драматургией, под общим названием *литературы*, она — явление иного порядка. Хотя между ними и существует промежуточная сфера, например, театр Шекспира или Пушкина, лирическая проза Тургенева или Бунина, поэмы Пушкина или Хлебникова, — понятие *литературы* искусственно соединяет разноприродные по сути, глубоко друг от друга отличающиеся предметы.

За редкими исключениями, социальный пафос и проблематика чужды поэзии. Она — выражение глубочайшей сущности человеческого «я». Мандельштам, после появления в печати первых своих стихов, писал:

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло...

Поэзия — зов личности к миру, к неведомому, даже к самой себе. Она творит образы совершенного бытия, воплощение которых в жизненную реальность составляет цель истории. Если ей случается откликнуться на современность, то лишь в порядке ответа «я» внешнему миру в целом, субъекта объекту, претворяя общественно-историческую действительность по своему образу и подобию. Политическая история и поэзия — две независимые друг от друга серии разнородных явлений, лишь более или менее случайно совпадающих во времени.

Пути поэзии связаны с историческими судьбами народа, но на глубинах, недоступных не только поверхностной марксистской

схематизации, но и усилиям глубочайших мыслителей. Октябрьский переворот был событием *политическим*, а не *культурным*, или, если угодно, — *геологическим*, а не *биологическим*.

II

Одним из важнейших пропагандных приемов советской власти является клевета на дореволюционную Россию.

Особенно же старательно пытается скрыть власть период с 1890 по 1917, предшествующий революции.

Замалчиваются быстрые и значительные успехи, достигнутые Россией в этот короткий срок решительно во всех областях жизни. В том числе и в культурной.

Это была эпоха небывалого духовного расцвета, не только в российском, но и в мировом масштабе.

Обратимся к свидетелям и современникам той эпохи, которые могли ее ощутить со всей тонкостью в период ее существования или же — *пост фактум* — объективным подытоживанием прошлого.

В своих «Воспоминаниях о Блоке» *Андрей Белый* говорит: «Появились вдруг «видящие» среди «невидящих»; они узнавали друг друга... интерес ко всему наблюдаемому разгорался у них; все казалось им новым, охваченным зорями космической и исторической важности...»

А вот свидетельство *В. Ильина*: «Начало XX столетия для России означает своеобразный духовно-культурный ренессанс. Начался всесторонний и бурный расцвет российского Космоса и сразу же поднялся на головокружительные высоты. С этих высот раскрылись безбрежные горизонты...»

Н. Бердяев писал: «В России в начале века был настоящий культурный Ренессанс. Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние духа охватило русские души... Как участник движения могу свидетельствовать, что процесс этот сопровождался большим подъемом. Раскрывались целые миры. Умственная и духовная жажда была огромна. Прошло веяние духа. Было чувство, что начинается новая эра. Было движение к новому, не бывшему. Но был и возврат к традициям русской мысли XIX века, к религиозному содержанию русской литературы».

Ф. Степун: «Даже человеку, с закрытыми на общественную жизнь глазами, нельзя было не видеть богатого, в некоторых от-

ношениях даже бурного роста общественных сил России... Воплощенная те времена, удивляешься, с какою легкостью писатели и ученые находили и публику, и деньги, и рынки для своих разнообразных начинаний... Конечно, русская культурная жизнь была менее развешленной, чем европейская, но мне кажется, что она в некотором смысле была духовно более напряженной».

Даже сдержанный по отношению к Ренессансу Н. Арсеньев находит, что «чрезвычайно интенсивная культурная и духовная жизнь... в области литературы, изобразительных искусств, археологии, истории искусства, философии, религиозной философии и т. п., захватившая всевозможные и притом многочисленные круги интеллигенции (особенно молодежи), была может быть гораздо интенсивнее, чем в столице любого другого европейского государства».

Без всякого преувеличения эту эпоху можно сравнить с величайшими периодами расцвета мировой культуры: с золотым веком Августа в Риме, с эпохой династии Тан в Китае, с итальянским Возрождением XVI века, с царствованием королевы Елизаветы в Англии и с немецким романтизмом начала прошлого столетия.

Владимир Соловьев, Василий Розанов, Андрей Белый, Мережковские, Шестов, Бердяев, Флоренский, Булгаков, Вячеслав Иванов, Тернавцев, Мейерхольд, Врубель, Скрябин, Хлебников — все эти и многие другие имена, поднявшие русскую культуру на одно из первых мест в мире, замалчиваются или, если их приходится упомянуть в советской прессе, чернятся до сегодняшнего дня.

Нет, большевики пришли в 1917 году не на пустое место, а на обильнейшее, бывшее источниками жизни поле, впоследствии ими затоптанное, развороченное и разоренное.

В области поэзии коммунизм не только не смог заменить новым то, что уже возшло, а лишь ослабил, обеднил и сузил размах прежнего. Настроения, стиль и проблематика поэзии остались теми же, что лишней раз доказывает независимость ее от общественных движений, как бы грандиозны и потрясающи они ни были.

Согласно коммунистической идеологии, культура не имеет никакого самостоятельного значения. Ее дерпят лишь как вспомогательное средство для партийной пропаганды. И тем не менее, за истекшие четыре десятилетия русская поэзия сумела создать ряд неувядаемых ценностей. В пределах возможного, мы не будем касаться политики, сосредоточив внимание на художественной

стороне вопроса, тем более, что чисто литературный подход к творчеству советских писателей остается редким явлением.

Всякая работа над поэзией в СССР затруднена:

1) невозможностью найти за границей наиболее ценные материалы — стихи Г. Петникова, Т. Чурилина, А. Ганина, К. Вагинова и многих других прекрасных поэтов, замалчиваемых властью, а также большинство журналов и альманахов первых лет революции. Все это стало библиографической редкостью;

2) чрезмерным количественным преобладанием рифмованной пропаганды, в которой особенно редко попадаются крупицы настоящей поэзии. Над этим придется проработать еще многие годы — данная статья является лишь первой попыткой подвести временный итог. Поэтому автор будет весьма признателен читателям, которые укажут на незамеченные им интересные явления в поэзии этого периода;

3) невозможностью правильно судить о поэтах по опубликованным ими текстам, часто служащим только для прикрытия их подлинного творчества, тщательно скрываемого от недреманного ока. Отсюда — возможность легко ошибиться не только в художественном, но и в этическом облике поэта, усугубляемая полным отсутствием в СССР подлинной литературной критики.

III

К началу двадцатых годов в русской поэзии преобладали три течения: символизм, акмеизм и футуризм.

Символизм возник в 90-х годах прошлого века как реакция на сведение слова к роли орудия революционной пропаганды. Символисты освободили творчество от мертвящей тенденциозности, потребовав серьезной работы над стилем, и вернули русскому языку блеск пушкинских времен, утерянный в начале шестидесятых годов. Хотя, основываясь на определенном, традиционно-метафизическом мировоззрении, они сводили теоретически поэзию к средству теургического претворения мира, это стремление нельзя ни в какой мере приравнять к презрительно-бесцеремонному обращению шестидесятников и их последователей с российскими культурными ценностями. Широта мировоззрения, подлинная культурность и высокая одаренность лучших представителей русского символизма, которые выше всего ценили духовную свободу, свою и чужую, никогда не оказывали давления на совесть писателя. Московский журнал «Весы», один из лучших в то вре-

мя во всем мире, активно боролся за независимость автора от какой бы то ни было идеологии. А в первые годы революции символисты А. Белый, В. Иванов, Ю. Верховский и другие обучали технике стихосложения молодых «пролетарских» поэтов, несомненно им внутренне чуждых.

Символисты более других пострадали от советского режима. Это было старшее поколение, окончательно сложившееся к началу революции. Известны такие стихотворения Федора Сологуба, как «Башня и пашня» и «Вот подумай и пойми»... или его высказывания о том, что «мы находимся в плену у обезьян» и т. п. По свидетельству Иванова-Разумника, у Сологуба было несколько тетрадей неопубликованных стихов. Судьба их нам неизвестна. В них заключался самый зрелый период его творчества. По другим сведениям, у него имелся полный перевод знаменитой поэмы «Мирейо» провансальского поэта Фредерика Мистрала. Дойдут ли они до потомства, как «Ямбы» Андрея Шенье?

Глубоко несчастным был и угонченный певец хрупкого рокко *Михаил Кузмин*. Его книга «Нездешние вечера» (1921) была крупным шагом вперед. Он никогда прежде не достигал музыки «Корфу», тонкости рисунка «Фузия на блюдечке» или жуткой остроты диалога «Амур и Невинность». Его следующая книга «Параболы» (1923), написанная в разгар материальных бедствий эпохи «военного коммунизма», намного слабее. С тех пор он печатался мало, и его поздние стихи до нас не дошли. Хотя он и протянул до 1936 года, Октябрь 1917 был для него началом подлинной смерти.

Максимиллиан Волошин написал главные свои произведения в Крыму, в Коктебеле, где он и умер в 1932 году. Вначале он выделялся виртуозностью и красочностью. Революция пробудила в нем поэта, крупного и по эмоциональной силе, и по широте философско-исторических перспектив.

Боль от страданий России и плев к ее порабощителям, горькие раздумья о ее судьбе, глубокие прозрения в смысл происходящего, беспокойные сомнения о прядущем вылились в стихах ярких и сильных, хотя и не лишенных риторики и многословия. Они так же декоративны, как и дореволюционные волошинские описания готических соборов и осенних парков Западной Европы. Наиболее удачны те, где он просто, сжато и сухо выразил свою мысль (без стилизации под русскую архаику или библейское пророчество) как, например, «Красная весна» — картины кровавых ужасов первых лет революции, — или глубокомысленный «Северовосток».

Наоборот, *Андрей Белый* нашел нужные словесные формы для философско-исторической тематики, рассматриваемой им в свете антропософии, приверженцем которой он был. Белый почти не печатал стихов после своего рокового возвращения в СССР. Но и по этим редким текстам виден дальнейший рост его дарования. Его стих органически воплощает самые головокружительные абстракции, не нарушая привычного строя русской речи, соединяя предельную новизну с предельной простотой:

В свои глаза — сплюснутые синероды —
 Меня возьми;
 Минувшие, глаголющие годы
 Мои ушли...

Часто ему бывает свойственна и предельная сжатость: «Куст — почкой вспыхнувшей овечьи как дымком». Эти немногие стихи — из лучшего, что было им создано в течение всего советского периода.

IV

Акмеизм был реакцией, даже бунтом, против эзотерической абстракции символистов, которая шла уже в ущерб словесному мастерству и конкретности восприятия. М. Кузмин в программной статье «О прекрасной ясности», в журнале «Аполлон», требует возвращения к Пушкину и к классицизму. Музыкальной, но не глубокой и словесно-неряшливой поэзии символиста К. Бальмонта было противопоставлено требование высокой технической квалификации. Свою группу акмеисты так и называли: «Цех поэтов». Не обладая всесторонней культурой и широтой горизонтов символистов, они инстинктивно отстранялись от мирозерцательных проблем, хотя часто их похвальное стремление к простоте приводило к бескрылой и нарочитой ограниченности.

Их вождь *Николай Гумилев* вырос как поэт именно в последние месяцы перед расстрелом. В некоторых стихотворениях посмертного сборника «Огненный столп» заметно преодоление акмеизма: трамвай «заблудился в бездне времен», на вокзале «можно в Индию духа купить билет», а в лавке

Вместо калусты и вместо брюквы
 Мертвые головы продают.

Все это никак не уживается ни с классической поэтикой, ни с «прекрасной ясностью». Конечно, «Заблудившийся трамвай» — картина бреда, кошмара. Но автор об этом не предупреждает и сразу вводит нас в мир, нарушающий законы логики. Заканчивает он словами:

Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

Возможно, что чрезмерная тяжесть переживаний прорвала панцирь гумилевского классицизма и приблизила его к поэзии более модернистической, обнаженной и непосредственной, проявившейся в том же сборнике, в стихотворении «У цыган», где есть и «кружащийся в танце бенгальский тигр» и «ремень зубчатый, как портанный гик» и

Вот струны — быки и слева и справа,
Рота их — смерть, и мычанье — беда...

Влияние Гумилева на всё последующее развитие русской поэзии, не прекращающееся до сих пор, объясняется больше его героической тематикой и ореолом его героической смерти, чем художественной значительностью. Мужественная любовь к опасной жизни молодых российских поэтов в СССР коренится вероятно не столько в партийных требованиях, сколько в жизненном примере многими почитаемого Гумилева.

Ни для кого не секрет, что романтик первых лет революции *Николай Тихонов* был учеником монархиста Гумилева. Будучи несравненно талантливей своего учителя, Тихонов не ограничился героической тематикой — он уловил свойственную эпохе словесную музыку.

Велика разница между безупречным, но немного сумбурным благородством Гумилева и суровой, граничащей с бессердечием, выдержкой раннего Тихонова, у которого «мы» явно перевесило гумилевское «я». Жестока не только действительность тихоновских баллад, но и его отношение к своим действующим лицам. Вся природа и сама судьба враждебны к этим безжалостным к себе и к ближнему людям. Невыносимая сила знаменитой «Баллады о синем пакете» в том, что подвиг героя напрасен, известие

...опоздало на полчаса,
Не надо — я все уже знаю сам.

Тихонов нашел для нечеловеческих переживаний своих дерзких героев отвечающий им суровый, сумрачный колорит. Его тона скупы, сдержанны, неприветливы. Его изломанный синтаксис, его отрывистый, задышающийся ритм до тонкости приспособлен к воздуху эпохи.

В Тихонове зрел поэт современности — большого порою, техники, индустриального пейзажа и предчувствий близкого конца механической цивилизации. Секрет его тяготения к резкости, грубости и примитивности — в пресыщении упорченностью. Это весьма современная черта характера. Стихотворение «Крыса» — одна из вершин его творчества — дает потрясающую своей наглядностью пророческую картину гибели современного мира. Любопытно, что тут он говорит о *будущем* в *прошлом* времени. В «Зебрюнге» — редкое умение вживаться в специфику нашей эпохи:

Пустынный мол и виадук сияли,
 Дымилась моря старая доска
 И жирной нефти плавала в канале
 Оранжево-зеленая тоска...

Господствующее состояние его души — сознание всеобщей обреченности. Не смея и намекнуть на нее применительно к СССР, он свободно развернул это настроение по отношению к Западу в сборнике «Тень друга», полном картин чудовищного уродства, убогости и безысходности. Едкая горечь излучается взглядом самого поэта, вылискивающего неладное и кошмарное, не только в угоду партии. Эта книга безотрадная, хмурая, зловеще-недобрая. Если бы она не выражала внутреннего мира самого автора, она бы не выделялась так резко своей талантливостью среди всех его прочих книг тридцатых годов. В ней та же экзальтация немногословной жервенности и волевого самоутверждения, мужества и сухости, что и в его ранних книжках «Орда» и «Брага», посвященных войне 1914 года и революции. Заканчивается сборник жутким видением «Противогаза», у которого «Голова не рыба и не птичья».

Но несмотря ни на какие ухищрения, дальнейшее развитие катастрофического мироощущения в советских условиях было невозможно. Может быть, потому Тихонов и махнул рукой на настоящее творчество и довел свой талант, безоглядным подхалимством, до полного вырождения. Уже его стихи о Кирове и о сталинской агрессии против Финляндии вызывают тошноту. А начная со «Стихов о Югославии» (до разрыва с Тило, разумеется),

он ни разу не сумел подняться над халтурой. Ему заказана даже рифмованная журналистика Симонова. Натянутая и скучная его декламация непригодна, вследствие своей неубедительности, даже для пропаганды. Ясно, что Тихонов не только сам не верит в свои утверждения, но и досаждает на тех, кто навязал их ему. Стихи этого периода вызывают стыд и неловкость за поэта, вынужденного так себя коверкать.

Впрочем, неумение подрафлять делает Тихонову честь, указывая на наличие таланта, не дозволяющего собою безнаказанно злоупотреблять. Сомневаемся, что ордена, которых он удостоился, смогли заменить ему экстаз подлинного творчества, несомненно знакомый ему в прошлом. Прецедент Маяковского весьма красноречиво предупреждает тех, кто самовольно наступают на горло собственной песне.

Анна Ахматова поражает чистотой своей поэзии. До революции она прославилась на всю Россию острыми, короткими любовными стихотворениями, каждое из которых было лаконическим романом. Но не в них сказалась ее подлинная сила. Раньше многих она почувяла грозу надвигающихся событий и заговорила о них с такой простотой и обнаженностью, с такой непреодолимой убедительностью, что — слабая женщина — она стала великим голосом России в грозную годину исторических свершений:

Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затмения небесных светил...

Эти немногие стихотворения — «Когда в тоске самоубийства», «Чем хуже этот век предшествующих...», «Все расхищено, предано, продано...», «Земной отрадой сердца не томи...» и некоторые другие, вдохновлённые лихолетьем, — синтетические формулы судьбы народа, его бедствий и испытаний, его чаяний и надежд, его непреклонности и чести. С предельной серьезностью, с сознанием ответственности своего высокого призвания, в немногих простых, но веских словах, которые воистину «Томов премногих тяжелей», она изрекла самое главное, незабываемое, бессмертное — квинт-эссенцию страдания и совести России. Такие слова даром не пропадают.

Ураган, пронесшийся над страной, освежил тематику Ахматовой, очистил ее от самолюбования и сообщил ее голосу значительность, которую не сумели вытравить даже сталино-жданов-

ские гонения. Ее творчество созрело, выросло и углубилось, ее стих, как старое вино, стал невесомее и крепче. Ее слова насыщались горечью и гневом, не только против власти, но и против всех нас — не оправдавшего себя поколения, без сопротивления одувавшего себя в жертву сталинской мегаломании.

Среди стихов последних лет выделяется поэма о Петербурге. В строках кристальной чистоты оплакивает Ахмадова прошлое любимого города:

Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отражение мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил...

Как далек этот глубоко-интимный старый, вечный Петербург от крикливого, официального Ленинграда!

Рано погибший от голода *Константин Вагин* близок к Тихонову ощущением смятенного и жестокого воздуха эпохи, но не в люманно-лихорадочных, шершавых ритмах героических баллад, а в безукоризненно-классических строфах:

Огонь дрожал над девой в сарафане
И вечер рвал кусок луны в окне,
А он все ждал, что шар плясать устанет,
Что все покроет мертвый белый снег.

Разорванность и гиперболичность его душевной стихии напоминает футуристов, хотя четкость его формы достойна лучших акмеистических традиций.

Судьба его поэтического наследия нам неизвестна.

Акмеистом был также *Осип Манделштам*. Независимо ни от каких теоретических соображений, он занял одно из первых мест в поэзии нашего века. Его творчество ему не подвластно. Но он — не медитум, подобно Блоку, проклинавшему «творческий разум», убивающий певчую птицу дарованного свыше вдохновения. Стихи Манделштама — плод предельного волевого усилия, захватывающего его целиком, крайнего напряжения всех его жизненных сил и человеческих ресурсов, порождение сокровеннейших глубин его существа, независимых от его сознания. Их немало, всего 187, по изданию Г. Струве и Б. Филиппова, но они насыщены необычайной, неизреченной, непреодолимой словесной

магией, которая и есть поэзия в высочайшем смысле этого слова. Поэтому они независимы от своего логического, смыслового и сюжетного сцепления, тем не менее, всегда существующего.

Эта высокая словесная музыка передает в своеобразном зрительном и логическом преломлении судьбу России в торжественных псевдоклассических канонах. Принимая события во всей их прозаичной грандиозности, поэт сумел подняться на высоты сверхличного суда над происходящим, оставляя далеко внизу мелочную злобу дня и близорукие предрасположения современников. Лучший образец этой лирики — «Век», приводимый нами целиком в подборке*).

В этом стихотворении, с непревзойденным блеском и яркостью, но в то же время скрыто от глаз советской цензуры, высказана трагедия Октябрьской революции, глядящей вспять — к XIX веку, к материализму и к наивной вере шестидесятников, что лишь наука решит последние вопросы. Жестокость революции свидетельствует об ее слабости и даже об увечьи («разбит твой позвоночник»). Над всем царит скорбь о несбывшихся ожиданиях и погубленных возможностях. Только жертвенность может спасти будущее и «своею кровью склеить двух столетий позвонки», разбитые революцией.

Другой пример мужества Мандельштама и глубины его мысли — стихотворение «Ламарк», где под прикрытием естественнонаучной терминологии он объявляет свое неприятие материализма и веру в бессмертие:

Если все живое лишь пометка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

Первые две строки выражают точку зрения материализма, отрицающего бессмертие. Если она правильна, то тогда поэт отказывается от всего, что составляет превосходство человека над животным и даже животного позвоночного над примитивнейшими формами жизни:

К кольцецам спущусь и к усюногим,
Прошуршав средь ящерниц и змей...

вплоть до «завитка», всплывающегося присосками в пену океана. Это значит, что если жизнь действительно только ничтожная ма-

*) См. «Грани» № 50. — Ред.

терьяльная «помарка», то нет разницы между любящим Моцарта и умеющим смеяться человеком и завитком с прикосками, лишенным зрения и слуха.

Эти стихи вышли в 1932 году, в разгар сталинского безумия, за пять лет до Ежова...

Самые его, на первый взгляд незначительные, как бы невзначай брошенные слова полны длительного, захватывающего очарования:

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот...

Часто попадаются сжатые, яркие формулировки культурных стилей:

...А ты ликуешь как Исая,
О рассудительнейший Бах...

Попадают и глубокие эмоциональные переживания:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы...

Далекие от повседневности, эти стихи составляют некое возвышенное пиршество словесных сущностей — неожиданное, неувыдаемое райское цветение в беспросветном «черном бархате советской ночи», по словам самого поэта.

Повелитель стихий в области духа, в обыденной жизни, до самого своего ареста, Мандельштам оставался наивным и безоружным. Он и погиб бесследно в ежовских лагерях. До недавних пор имя его находилось под запретом более суровым, чем имена большинства мучеников литературы в СССР.

К акмеистам принадлежал также весьма своеобразный Владимир Нарбут. После переворота он переиздал конфискованный за кощунство дореволюционными властями лучший его сборник «Аллилуйя». Но в печати он стал появляться все реже, а к середине 30-х годов совсем замолчал, и его дальнейшая судьба нам не известна.

В его поэзии чувствуются одиночество и холод. Она не музыкальна и нарочито тяжеловесна. От любви у него осталась только жадная, праничающая с отвращением, похоть:

Лапой груди выжимает,
 Словно яблоки на квас,
 И от губ не отнимает
 Губ прилипчивых карась.

Нарбут напоминает Пикассо парадоксальным сочетанием буйной красочности с судорожной карикатурностью отвратительных образов, пропитанных едкой иронией, но достигающих уродливой монументальности. Например: землемер, «обрызгший как гусак под типом геморроя...», «...вихры встопорщил как прусак, на шелудивый лук забредший из щели». Архидерей: «соборный, брюхатый (уржели беремен?)». Наконец, чудовищный «Портрет» неизвестного, избилующий жестокими, обидными, насыщенными красками гиперболами.

Нарбут уплотняет до пределов возможности все легкое, летучее, пращозное. Роса у него — «крупичатый железный порошок», а «колотый воздух... слюдой осыпается». Лучшие его стихотворения — яркие, волнующие картины безобразия, кощунства, уродства, преха. Особенно характерна «Баня», где он с наслаждением останавливается на отгалкивающих подробностях нагого человеческого тела:

На мокрых плотных полках скомканные груди
 Из пращцев, размякших как гужи:
 Лоснящиеся бритые верблюды,
 Косматые медведи да моржи.

Эпигон акмеизма *Павел Антокольский*, мастер формы, поэт культуры, искусства, истории и других производных, нестихийных тем. Внутренне он очень связан с Западом, которому посвящены лучшие его стихи, как «Пауль Вильмерсдорф», поэма о преддипломатической Германии. Несмотря на явное усилие автора выставить своего героя в невыгодном свете, интерес поэмы — именно в его плохо скрытой симпатии к высокой, хотя и утаченной культуре. Кроме того, чувствуется, что автор и его герой — сиамские близнецы.

Пауль Вильмерсдорф, мой давний недруг,
 Санскриптолог, врун, киноактер,
 Съел собаку в тегеанских недрах,
 Был красив, талантлив и хитер...

Знаменательно также прекрасное, более раннее стихотворение «Экспрессионисты».

Внешне блестящее мастерство Антокольского — холодно. Наиболее известная его поэма «Сын» — о сыне автора, убитом на войне, наводнена недостойным поэта, но, вероятно, неизбежным, многословным, мелочно-сварливым препирательством с опцом «фашиста», от пули которого пал его сын: «Мой сын был комсомольцем. Твой — фашистом...» и т. д., в том же роде. Хороша только 4-ая глава, где отец пытается разгадать невыполненные замыслы своего сына по оставшимся от него предметам:

...Моток

Латунной проволоки. Альбом для марок.
Сухой разбитый краб. Карандаши.
Вот он, назад вернувшийся подарок,
Кусок его мальчишеской души...

После войны Антокольский, человек вообще нетвердой воли, окончательно сдался на милость партии, пожертвовав художественностью своих стихов, несмотря на виртуозное владение формой, в котором он превосходит безнадежно выродившегося Тихонова. Зато в сборнике статей «Поэты и время», вышедшем после смерти Сталина, он проявил несомненный талант критика, вкус, культуру и умение отделять главное от второстепенного. Только увы, час подлинной литературной критики в России еще не пробил — автор вынужден, в ущерб себе и разбираемым книгам, постоянно оплядываться на партию.

По понятным причинам у акмеистов почти не осталось в СССР открытых последователей. Но личный пример Гумилева остается неотразимым. Он сильнее каких бы то ни было литературных теорий.

После смерти Сталина и ослабления оков, наложенных на русскую поэзию, стало заметно влияние на молодежь Мандельштама, Белого и Хлебникова.

V

Зато футуризм остался, пожалуй, наиболее живучей школой в СССР. Несмотря на строжайший запрет (под именем «формализма», на самом деле связанного с футуризмом лишь генетически), он то и дело выныривает, главным образом, у молодежи, к явному неудовольствию литературного начальства.

От эзотерических исканий символистов и тяготения к классицизму акмеистов, футуризм возвращается к истокам русского фольклора и разговорного языка, радикально меняя привычные приемы словообразования и синтаксиса, в течение двухсот лет развивавшиеся под сильным западноевропейским влиянием. Этим объясняется раздражение широкой публики и бульварной печати по отношению к первым выступлениям футуристов, тем более, что их концепция фольклора, отвечающая самым новым веяниям современной мысли, коренным образом отличалась от общепринятых штампов «кручинушки» и «сиропинушки», унаследованных от шестидесятников. Футуристы стремились к синтезу фольклора и культурного творчества, открывая, таким образом, для поэзии новые, допеле неизвестные области. Величайший из футуристов Хлебников говорил: «Поэзия — это как путешествие, все дело в том, чтобы побывать там, куда еще не ступала нога человека...»

Благодаря Маяковскому, в первые годы революции футуризм существовал открыто. Его основателем был Виктор Хлебников. Наделенный от природы редкой интуицией глубин русского слова, значительный теоретик и смелый новатор, он был, прежде всего, большим и оригинальным, Божьей милостью, поэтом. Он подарил русской литературе до сих пор непревзойденные образцы свободного, не связанного строфикой и рифмой стихосложения, которыми пользовались Пиндир и Гёльдерлин. Он же выработал своеобразную систему использования словарного богатства и морфологической гибкости русской речи, основанную на аналогии и названную им и его учениками «заумным (т. е. не предназначенным для практических целей) языком» или просто «заумью». Эта разработка выразительности языка была направлена исключительно на расширение возможностей поэтического творчества.

В этих исканиях было немало сухого теоретизирования и даже озорства, но часто, особенно сам Хлебников, находил прекрасные новые словообразования, например, «грустняк» — для тростника или валежника, или «смертнобровый» тетерев. Из корня «лёт» Хлебников производит «летун» (по аналогии с «бегун»), «летчий» (по аналогии с «гончий»), «леткий» — «в смысле удобно для полета прибора», и многое другое. Его статьи и заметки по этому вопросу, собранные в 5-ом томе тыняновского издания, — неисчерпаемая залежь словесных находок и углубленного отношения к слову. Всякий, кто интересуется поэзией или просто любит русский язык, должен был бы с ними познакомиться.

Многие из находок Хлебникова, наверно, давно бы уже вошли в литературный обиход, если бы не крушение русской куль-

туры, вызванное Октябрьской революцией, насильственно остановившей естественное развитие литературного языка. В основном Хлебников писал языком русского интеллигента, филологически образованного, видящего мир через призму слова:

...Так государство и ты
Очень хорошее слово со сна —
В нем есть одиннадцать звуков:
Много удобства и свежести.
Ты росло в лесу слов:
Пешельница, спичка, окурок,
Равный меж равными;
Но зачем оно кормится людьми?..

Все им написанное кажется впервые сказанным на никогда не служившем для обихода языке. Девственное своеобразие, свежесть, умение владеть разнообразнейшими регистрами стихосложения и стиля, непосредственность и чистота делают его одним из великих творцов и обновителей слова русского Ренессанса и ставят в один ряд с Андреем Бельм, Ремизовым и Цветаевой. Когда их творческие завоевания вольются в общее русло русской культуры, наш язык выйдет из тупика, искусственно созданного и насильственно поддерживаемого соцреализмом, который в области словесной правильнее было бы обозначить просто как тарапетность, бездарность и некультурность.

Поэма в прозе Хлебникова «Песнь мирязя», построенная на зауми, полна глубокого лиризма и своеобразной фантастики. Поэт углубляется в русскую дохристианскую, языческую мифологию, через посредство заклинаний, суеверий, заговоров, обрядовых и игровых стихотворных формул. Его стихийно-могучее чувство природы выливается в образы, красочная небывалость которых напоминает порой позднего Гёльдерлина.

Подлинная, глубокая человечность не только не мешала Хлебникову быть поэтом, но, наоборот, чрезвычайно его обогащала. Вспомним хотя бы его стихотворение «Отказ». Поэма «Ночной обыск» описывает кутеж матросов на квартире убитого ими офицера, мать и сестру которого они заставляют себе прислуживать. Случайно взгляд одного из них падает на икону, изображающую Иисуса, и рассказание овладевает им. Эти страницы Хлебникова хватают за душу наивной теплотой и непосредственностью религиозного чувства. Им нет равных, даже в русской литературе.

...Глаза передраасветной синевы
 И вещи, и тихи,
 И строги, и прекрасны,
 И нежные несказанною речью,
 И тихо смотрят вниз
 Укорной тайной,
 На нас...

Путешествие в Персию и на Кавказ дало ряд ярких, как персидские миниатюры, зарисовок, составляющих поэму «Труба Гуль-мудлы», сплетенную из восточных красок и образов. Поразительна новизна зрения поэта, совершенно свободного от экзотических штампов. Здесь Хлебников достиг классической простоты и ясности и небывалого, даже у него, богатства смелых и живых метафор. Виноградная проздь становится «гнездом голубых змеиных яиц», или «кистью глаз моря», река по камням «катила голубое кружево». Попадаютоя и целые фантастические картины:

Служебным долгом внизу река шумела,
 И оттеняли высоту деревья одиночки.
 А каменные ведомости последней тьмы чем лет
 Красны, не скомканы спояли...

Созерцание природы нередко доходит у него до экстаза:

Мне б только корку хлеба
 И каплю молока,
 А солью будет небо
 И эти облака...

Не одни только футуристы учились у Хлебникова — все последующие поколения не перестают зажигаться любовью к слову у неистощимого, чистого пламени этого бескорыстного человека, который всем для поэзии пожертвовал, предпочтя преждевременную гибель от жестокой нужды в кошмарных условиях первых лет коммунизма какому бы то ни было компромиссу.

Несмотря на беспорядочность и небрежное отношение к своим рукописям, многие из которых утеряны или сохранились только в черновиках, Хлебников наверное останется классиком, одним из величайших поэтов русской природы, наряду с Тютчевым, Тургеневым, Фетом, Буниньим, Пришвиньим и Паустовским. Но немало прекрасного есть и в его «заклинаниях», и в поэмах, от-

ражающих нашу бурную историческую эпоху. Особенно много крупиц чистого золота можно найти среди незаконченных отрывков, только часть которых была опубликована. К ним относится и прекрасный замысел «Влом вселенной», к сожалению невыполненный. Но и в таком виде отрывки эти полны редкой, острой, незабываемой красоты.

Среди мастеров заумного языка выделяется *Григорий Петников*. Создаваемые им словообразования служат не столько для обозначения определенных понятий, сколько для выражения некоего поэтического комплекса, насыщенного лиризмом, весьма убедительного, но не поддающегося логическому анализу:

Расплескались баюны земли
У колен голубиной реки...

Выражения наподобие «Ночь уже синебая молодеет» или «небосиний ветер» — предельно сгущенная поэтическая субстанция, которой другому поэту хватило бы на целое стихотворение. У него не менее острое чувство природы, чем у Хлебникова, доходящее до какой-то дикой свежести:

Земле клонящегося света
Ленивую лазурь испить,
А там степями находить
Во сне какой не помню ветер...

Но, в отличие от его учителя, у Петникова сильна музыкальная стихия:

И проясневший изумруд
Уже клюют литые голуби,

где образы поддержаны уточненной звукозаписью перехода «с» и «р» в «л» второй строки.

Мы знаем, что Петников пользуется у знатоков в СССР славой одного из лучших русских поэтов, но нам не удалось разыскать даже его книжку, вышедшую в Киеве в 1935 году. В двухтомную антологию 1957 он не попал, что говорит только в его пользу.

Парадоксальна трагическая судьба *Владимира Маяковского*. И поучительна. Его одаренность не подлежит сомнению и пробивается порою даже в написанных по заказу партии агитках. Может быть, он даже лучший из учеников Хлебникова. Но револю-

ция, принесшая ему славу, власть и небывалое в те времена в России благосостояние, революция, не перестававшая устами самого Сталина трубить его славу по всему земному шару, наказывавшая как тягчайшее злодеяние всякое сомнение в его превосходстве, не перестающая переиздавать его в полном объеме, которому мог бы позавидовать даже сам Горький, — эта революция его и погубила. Не только тем, что довела его до самоубийства, но и неподправимым искажением его творческого пути. Не будь Ленина, Маяковский стал бы несомненно более крупным поэтом.

Несмотря на блестящую удачу третьей главы поэмы «Про это» (1923), лучший Маяковский — в дореволюционных стихах. Горечь, тоска и чувство одиночества (сильно выросшие, хотя и тщательно скрываемые, в советское время), неиспощимая изобретательность, своеобразное использование разговорного языка для поэзии, резкость и парадоксальность образов, стремящихся захватить самостоятельную жизнь, в отрыве от контекста, горечь хлесткой насмешки особенно поражают там, где они не нарушены никаким извне идущим вмешательством:

Каждое слово, даже шутка,
 Которое изрыгает обгорающим ртом он,
 Выбрасывается, как голая проститутка,
 Из горящего публичного дома...

Для потомства он так и останется поэтом любви — мучительной, тянувшейся через всё его существование любви к Л. Ю. Брик, жене влиятельного чекиста. Это подлинное и сильное чувство выражено им беспорядочно, но искренно и непосредственно, без всяких сентиментальных условностей.

Поэтому вершиной его творчества являются даже не любовные поэмы «Облако в штанах» и «Про это», пользующиеся заслуженной известностью, а письма к Л. Брик, опубликованные в 65-ом томе «Литературного наследства» и явно не предназначенные для печати. Но только в них виден неприкрашенно-подлинный Маяковский. В них же особенно проявляется его способность к словотворчеству. Он говорит: «Я развыступался», «было довольно масса народу», «вавилонье столпотворенское» и т. п. Или в другом письме: «Если не напишешь опять, будет ясно, что я для тебя сдохнул, и я начну обзаводиться мотилкой и червячками».

В стихах Маяковский серьезнее и тяжеловеснее, даже когда шутит. Ему не свойственны свежесть и чистота хлебниковского пантеизма. Он постоянно занят собой, своей плетущей чувствен-

ностью, страстной озлобленностью против мифологического «буржуя» и против враждебного ему мира Божьего. Его промоздкий, едкий юмор, его нарочитая грубость — только маска, скрывающая болезненную чувствительность, ребячество, житейскую безоружность, психологическую уязвимость. Как дети, он пытается пугать других, чтобы скрыть свой собственный страх. На самом же деле это была мягкая, жаждущая женской любви, мечтательная натура.

Ему не свойственно официально предписанное коммунизмом равнодушие к Богу. Трудно себе представить человека менее рационального, менее способного на какую бы то ни было политическую деятельность, чем Маяковский. В дореволюционной (следовательно, написанной без всякого давления извне) поэме «Флейта Позвоночник», он говорит:

Бог доволен. Под небом в круче
Измученный человек одичал и вымер.
Бог потирает ладони ручек.
Думает Бог: «Погоди, Владимир!..»

Это — реплика из страстного диалога с Богом, хотя и богохульная, но не лишенная живого ощущения божества, пусть даже как враждебной силы. Не враждуют лично с «предрассудком», со «злостным вымыслом» эксплуататоров. Будь это так, гнев Маяковского был бы направлен на тех, кто пользуется выдумкой, а не на сам предмет выдумки. Но у него можно найти даже самую настоящую, искреннюю молитву:

И, надрываясь в метелях полуденной пыли,
Врывается к Богу, боится, что опоздал,
Плачет, целует ему жилистую руку,
Просит — чтоб обязательно была звезда!

Конечно, — это грубая, бесцеремонная, жалкая молитва варвара, но, тем не менее, — неловкая и горячая. Разумеется, с приходом советской власти все эти заигрывания с запрещенным должны были прекратиться. Только ли потому, что, уверовав в Ленина и Сталина, Маяковский «понял свои ошибки»? Но ему так и не удалось сдержать жажду бессмертия, проявившуюся в «Про это» и в пьесе «Баня».

Первые дореволюционные выступления *Василия Каменского* тоже чрезвычайно интересны. Они обещали не меньше, чем сов-

ременные им стихи Маяковского. Хотя ему и не хватает Хлебниковского стихийного размаха, его чувство природы и неподдельно-радостное изумление перед жизнью — свежи и самостоятельны. Его буйная жизнерадостность сродни религиозному экстазу. В описании природы он разделяет с остальными футуристами конкретность и новизну ощущения, но с явной склонностью к очеловечиванию:

На добрые, протянутые
Чернолапы садись и обними
Шершавый ствол, как мать...

Постепенно экспериментаторство преодолевалось, и в начале революции Каменский достиг далекой от шаблонности простоты:

С гор сосновых даль лучистую
Я душой ловлю,
Нагибаю ветку чистую,
Девушку люблю.

Но его муза не выдержала партийного принуждения и зачахла. Уже поэма «Стенька Разин» (1919), отчасти еще искренняя, свидетельствует о резком снижении творческого уровня. Каменскому не дано было написать свое «Про это». Все им написанное позже поражает какой-то особенной, «неподражаемой» крошечной скукой. Это — пустыня почти без оазисов. С наступлением же соцреализма, самый спил его выродился, и он стал писать не то под Прокофьева, не то даже под Жарова. Жаль этого подлинного и несомненно весьма даровитого поэта. Во всяком случае его дореволюционные стихи не забудутся.

Менее одаренный от природы Николай Асеев, с меньшим ущербом для себя вынес партийное принуждение. Хотя и редко, но вплоть до наших дней ему случается писать настоящие стихи, порою даже на официальные темы. Примером могут послужить хотя бы его «Синие гусары» (декабристы) или «Чернышевский». Несмотря на явный конформизм, это неплохого качества поэзия, питающаяся историческим прошлым России:

Сто довоенных внушительных лет
Стоял императорский университет.
Стоял, заложив угла во главу
Умов просвещение и точность наук...

Конечно, в начале революции его возможности были куда шире — у него зрел синтез степной русской стихии и городской тематики, в остро модернистическом оформлении:

Ослизлая ругань с разъявленных губ,
На ней оскользаются даже копыта,
Глаза динозавры — на каждом шагу,
И затхлого запаха спертый напиток...

По виртуозности он, пожалуй, превосходит всех футуристов:

Скрути струн
Винтики.
Сквозь ночь лун
Синь теки,
Сквозь день дунь
Даль дым
По льду
Скальды.

Но бесплодные уступки власти стали быстро учащаться, а всё более редкие оазисы заноситься песками соцреалистической пустыни.

Относительное благополучие его поэтической судьбы, думается, можно приписать формальному мастерству. Даже расхваливая Сталина, Асеев не перестает стропо и серьезно работать над словом. Он больше других футуристов приблизился к потовившейся новой стадии классицизма, которая должна была синтезировать плоды модернистических исканий, возникновению которых помешала коммунистическая революция.

Под влиянием Асеева развился *Владимир Луговской*:

Широки просторы. Луна. Синь.
Тугими затворами патроны вдвинь!
Месяц комиссарит, обходя посты,
Железная дорога за полверсты...

В его самостоятельном творчестве царят какая-то легучая, романтическая, лунная настроенность, склонность к фантастике и подмывающая музыкальная стихия:

Гусиные стаи, утиные стаи
 Пльвуют, нарастая, гудят, нарастая,
 В небесных озерах и в звездном посеве
 На север, на север, на тающий север...

Они сочетаются у него с точной зрительностью, когда «Полночь, бурая как йод», «черным мамонтом» шагает по сибирским снегам. Или на корабле:

Полночь лодманом явилась у руля,
 Надвинув черный козырек на брови...

У Луговского день «развернулся, как синий плакат», а елка — «маленький зеленый медвежонок». Этот урожденный москвич сумел вжиться в природу Кавказа, Крыма и, особенно, Средней Азии, которой он посвятил книжку «Пустыня и весна», к сожалению, настолько искалеченную вмешательством партзаказа, что, несмотря на обилие прекрасных отдельных мест и неизведанных впечатлений, из нее невозможно выделить ни одного целиком хорошего стихотворения.

Другой ученик Асеева, *Николай Ушаков*, держится в стороне от литературной и всякой иной шумихи. Иногда за ним чувствуется Осип Мандельштам:

В рабочем фартуке Овидий
 О веке мыслит золотом.

Незаметность и сдержанность его лирики не мешают ни строгому, точному мастерству миниатюриста, ни легкости стиха, ни упорченной чужлости. За внешней скромностью у Ушакова кроются сосредоточенность, чистота, содержательность, своеобразие:

Мы поднимем палкой воли
 (Потому что не слабы)
 Теплую мякину моли,
 Гнезда бабочек слепых...

Ушаков сумел классически оформить романтический реквизит:

И снова пили все донельзя,
 И над стаканами один
 О лебеди и милой Эльзе
 Грустил непьющий Люэнприн...

Его зоркость сочетается с насыщенной аллитерациями музыкой: «снег белее яблок и лилий», или «Прузские гуси летят на Мурман...»

Через «Центрифугу» и Борис Пастернак связан с футуристами. Без них были бы немислимы его изумительные ранние книги «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации».

После теоретиков и экспериментаторов, Пастернак явился неподражаемым практиком поэзии. Он первый привел завоевания трех десятилетий модернизма к классическому знаменателю. Возможно, что по этой причине его влияние, весьма широкое в среде молодежи, сказывается сильнее на поэтах традиционного типа, чем на новаторах.

Пастернак наполнил до отказа крайне тугую, утонченную и сложную стихотворную форму захватывающим, сочным, переливающим всеми цветами радуги содержанием. Все оттенки воздуха, солнечного света, растений, вод и неодушевленных предметов сверкают, толшатся, трепещут, звучат наперебой в его щелкающих, как соловьи, аллитерациях, переполненных стихийной жаждой жизни строфах... «Пастернак — это сплошное настежь», писала о нем Марина Цветаева.

...Как полное слез
Горло — глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах...

Его богатейший словарь отличается крайней отчетливостью, конкретностью и новизной, рядом с которыми все остальное кажется приблизительным и расплывчатым. Для метафор он берет слова обыденные, прозаические, не брезгуя даже терминологией ремесел. Их меткость тем ярче, чем отдаленнее друг от друга сравниваемые предметы: «У капель — тяжесть запонок...», или «воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы».

Слово никогда не прельщает Пастернака редкостью или эффектностью, оно всегда самое точное и убедительное. Поэтому, при всем своем разнообразии, словарь его органичен и естествен, как в живой разговорной речи:

Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стearин.

Сгущение впечатлений достигается сжатостью выражения, требующего порой синтаксического анализа, но всегда обнаружи-

вающего логический смысл. Как и Гораций, Пастернак — поэт не для легкого чтения, но щедро вознаграждающий сделанное усилие.

Пастернак лишен метафизической подоплеки Фета, но он его превосходит силой образности. Вместо просветленного фетовского созерцания, у Пастернака царит буйная, удушливая, прозовая атмосфера. Образы натромождаются, переплетаются, сверкают, как написанная маслом картина, действующая накоплением густых мазков:

У капель тяжесть заплюнок,
И сад слепит как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Дионисийство и звериная ярость пастернаковского жизнеощущения, при всей своей стихийности, зиждется на высокой культуре. Поэт вырос в среде ведущей московской интеллигенции эпохи Ренессанса, т. е. в наиболее культурном обществе всего мира того времени. Его полная, настоящая автобиография, увы, никогда уже не будет написана. Но по прекрасному отрывку «Охранная грамота» видна близость юного поэта к истокам передового (не в советском смысле, а на самом деле передового) творчества. Чего стоит хотя бы его знакомство с такими титанами как Рильке или Скрыбин, которого Пастернак имел смелость объявить вместо Сталина своим божеством. Но и книжные и культурные реминисценции у него всегда облечены подлинной словесной плотью, как, например: «Жемчужная шутка Вагто» или даже «Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана».

Темы его поэзии — природа, любовь, вечность, одиночество — ничего общего с марксизмом не имеют. Поэтому он был вынужден написать две поэмы на угодные начальству сюжеты: «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», неудачные в целом, хотя в них и попадаются прекрасные отдельные строчки: «На погостной траве начинают хозяйничать звезды...»

С наступлением соцреализма от Пастернака стали требовать понятности для необразованного читателя. Это исковеркало и сорвало его естественный путь к простоте великих мастеров, обесцветило его палитру, укротило его образность, а простота все-таки не наступила, вернее, наступила, но не так полно, как если бы он был свободен от бессмысленных и недоброжелательных придиорок власти. Даже его стихи, проникшие за границу после присуждения ему Нобелевской премии, слабее прежних, хотя и среди них

есть несколько превосходных. Одно из лучших — «Ева» — историчено последней строкой с недопустимым по-русски «*мужеского*», вместо «*мужского*». Попадают отдельные свежие строфы:

Степной нечесаный растреп,
 Пропахший липой и травой,
 Ботвой и запахом укропа,
 Июльский воздух луговой.

Николай Заболоцкий имеет неоспоримое право именоваться советским поэтом. Он выступил в печати почти через десять лет после Октября. Его школьная и литературная подготовка, в значительной мере, сложилась после революции. Он несомненно крупнейший из поэтов, появившихся в советское время, хотя нет поэта более далекого от всего советского, внутренне ему более чуждого, чем Заболоцкий. Историческая тематика, свойственная Мандельштаму, Ахматовой, Клюеву или Хлебникову, а, может быть, и Тихонову, в корне чужда Заболоцкому, как, впрочем, и Маяковскому, у которого она не пошла дальше, чем:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
 День твой последний приходит, буржуй.

«Торжество земледелия» — поэма космологическая и мифологическая в значительно большей мере, чем социально-злободневная.

Режим, несмотря на замалчивание и жестокие преследования (Заболоцкий преждевременно погиб от последствий пребывания в концентрационных лагерях), не смог ему навязать ни своих тем, ни своего мирозерцания. О подлинном мирозерцании поэта, увы, мы можем лишь догадываться по отдельным намекам в его произведениях.

С первой же своей книжки «Столбцы» Заболоцкий проявил тонкое чутье удельного веса слов и алхимии словесных соединений. Напромождая необычайные своей обыденностью подробности ординарнейшей, подчеркнута будничной реальности, доведенной до абсурда, он создает неопределимой действительности протеск:

На службу вышли Ивановы
 В своих штанах и башмаках...

«Младенец» у него, «шагая через стол, садится прямо в комсомол».

По мере развития модернизма, росло расстояние между понятиями — новым и старым — метафоры. Исходной точкой был трафаретный, ничего предмету не придающий, эпитет 80-х годов прошлого века, например: «небесная лазурь», «печальный вздох», «холодная зима» и т. п. Поиски живых, все более редких метафор привели, например, у сюрреалистов, к соединению предметов, ничего общего между собой не имеющих, например: «кожевенная трава», «седловласый револьвер» (А. Бретон) или «льняные апельсины» и т. д. Сила этих метафор именно в *отсутствии* всякого сходства между сопоставленными предметами.

Но Заболоцкий пошел еще дальше. Единственный из поэтов, вся сознательная жизнь которых прошла под «благодетельной» сенью серпа и молота, он сумел создать абсолютно новую поэтическую проблематику, далекую от соцреалистической провинциальщины и имеющую мировое значение. В его метафорах сближаются понятия не только чуждые, но враждебные друг другу, вопреки которым вызывает не удивление, а смех, например: «жирные автомобили», «бряцание цилиндров», «коробка с расстегнутой дверью» или «чиновные деревья».

Доводя абсурд до смешного, Заболоцкий высвобождает грандиозную духовную энергию, беспредельно расширяя наше восприятие, например: «научных замечаю лошадей» или

Она летит, моя телега,
 Время квадратами колес...

Иногда он использует для этой цели литературные реминисценции:

Толпу томит штанов круженье,
 И вот — она, забывши честь,
 Стоит, не в силах глаз отвести,
 Вся — прелесть и изнеможенье...

Только теперь, через двадцать лет после этих находок, наиболее передовые поэты Запада, как Ремон Кено во Франции или Джон Битмен в Англии, начинают ощутяю продвигаться в том же направлении, даже в малой мере не достигая великолепных результатов Заболоцкого. В гиперболизации юмора, как и в беспредметной живописи, русские надолго опередили остальные народы.

К сожалению, Заболоцкому не удалось развить им самим раскрытые замечательные возможности. После выхода поэмы «Торжество земледелия», он был заключен в концентрационный лагерь и выпущен на свободу лишь при условии отказа от оригинальности и подчинения соцреализму.

Несмотря на жестокую расправу, власти так и не удалось убить в Заболоцком поэта. Сколько они ему ни причиняли зла, он так и не предался рифмованному пустословию, вроде Тихонова. По выходе из лагеря начался второй этап его творчества — спокойного, пристального созерцания. Углубляясь в лабиринт мироздания, поэт отмечает и своеобразно формулирует любопытные подробности:

И то был бой травы, растений молчаливый бой.
 Одни, вытягиваясь жирною трубой
 И распустив листья, дружих собою мяли,
 И напряженные их сочлененья выделяли
 Густую слизь. Другие лезли в щель
 Между чужих листов. А третьи, как в постель,
 Ложились на соседа и тянули
 Его назад, чтоб выбился из сил...

За оболочкой видимости поэт показывает нам мир неведомый, воображаемый. Видимость — лишь исходная точка его фантастических блужданий. Как таковая она для него совершенно безразлична. Для этой цели ему пригодились даже заведомо поэтически немыслимые облики Ленина и Сталина, после смерти которого перестали печатать изумительную «Горькую симфонию», звучащую в каком-то небывалом, сказочном мире и легко относимую к любому другому «герою»: Александру Македонскому, Чингис-Хану, Наполеону (например, если переименовать ее в симфонию «корсиканскую») или хоть барону Мюнхгаузену.

Есть в Грузии необычайный город.
 Там буйволы, засунув шею в ворот,
 Стоят, как боги древности седой,
 Склонив рога над шумною водой;
 Там основанья каменные хижин
 Из первобытных сложены булыжин...

В стихотворении «Город в степи» Ленин выглядит каким-то шаманистским идолом, под которым проходит верблюд — «косматый лебедь каменного века».

Даже ущемленное и приниженное творчество Заболоцкого несоизмеримо с казенной советской халтурой. Несмотря на свой позорный (для власти, конечно, а не для поэта) сюжет, его стихотворения остаются блестящим примером победы духа над тягчайшими преследованиями и издевательствами. К тому же эти стихи — недоожинная поэтическая удача. Позабудутся не только Ленин и Сталин, со всеми прилежащими к ним сурковскими и дьявольскими бедными, но и весь «великий Октябрь». Ткань исторической плоти затянется над трагически безобразной коммунистической дырой, а стихи Заболоцкого останутся в бессмертной сокровищнице русской литературы, одержавшей, в его лице, над коммунизмом одну из своих самых ярких и бесспорных побед.

В последний период поэзия Заболоцкого влилась в общее русло великой русской классической традиции. И этим он только исполнил завет своего учителя Хлебникова, тоже шедшего к классицизму, особенно в конце своей жизни. Тут Заболоцкий достиг предельной прозрачности воспетого им «Лесного озера»:

Опять мне блеснула, окована оном,
Хрустальная чаша во мраке лесном.

При этом он сохранил и остроту своих антитез и освежающую силу своих прозаизмов:

В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
Лежал целомудренной влаги кусок,
Убежище рыб и пристанище уток.

Перенесенные страдания открыли духовное око поэта, и его мирозерцание вышло далеко за пределы казенного марксизма. Поэт полон изумления перед тайной и красотой мироздания. Порою он силится выявить обуревающую его мысль о бессмертии; несмотря на строжайший партийный запрет. Она то прорывается, то скрывается в иносказании.

Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я...

Заболоцкий близок к Тютчеву и своим пантеизмом: «Все, все услышал я — и трав вечерних пленье, и речь воды, и камня мертвый крик...», и умением видеть красоту русской природы в ее смиренности:

В очарованьи русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого, и даже
Не каждому художнику видна.

Заболоцкий же не только видит ее, но и выражает с неподражаемым своеобразием:

...Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок...

Другой ученик и личный друг Хлебникова, опубликовавший о нем интересные воспоминания в журнале «Лес», *Дмитрий Петровский*, хотя и уступает Заболоцкому и в одаренности, и в цельности, и в непримиримой прямолинейности, но тоже ценен как поэт. И его творчество замалчивается партийной критикой. Его многочисленные произведения в стихах и в прозе весьма неровны, он не всегда умеет освободиться от навязываемых партией штампов, но в лучших его вещах чувствуется блестящая футуристическая школа словесного мастерства. Она дала ему пластичную меткость, смелость и лаконичность выражения: «Брандвахту снегом унижала чайка...» Ему свойственны удачливые неожиданности, вроде: «очи черные как чёрт», «Смерть — ночь выклеывает очи», или «Как снасть пришитая к скале стоит сосна...»

Как у Тихонова, в нем живет терпкая поэзия отважной жизни, но Петровский более чуток и сосредоточен:

Темный нахохленный флот
Найден и светом пронзен,
Будто подрезан у ног,
Смыл за сыррой горизонт...

У футуристов он научился использовать разговорный язык и фольклор:

Подо Львовом лебеди
Бьют крылом —
Нас и не заметили
Под селом...

От футуристов же — его параллелизм и аллитерации:

Как тени скачут, точно кони,
 Так кони скачут, точно тени,
 Под первым конным звон попоны,
 А на втором комками пена.

Когда соцреализм сделал современную тематику невозможной, сузив ее и формально и сюжетно до абсурда, Петровский, используя матерьялы Киевской Руси и «Слова о полку Игореве», написал поэму «Святослав», неровную, но местами блестящую в сочетании архаики с фольклором. Глава «Днепровая Лада», описывающая любовь и женитьбу князя, полна стихийно-могучего эротизма, явления редкого в целомудренной русской поэзии:

Расплескалась она, рассмеялась,
 Со волной обнялась, целовалась,
 Расплескалась она, расшумелась, —
 Не в воде ль вся их — девичья — смелость?
 Ах, своей чистотой любовалась,
 Что своей простоте улыбалась;
 Князю в очи дивуюсь, гляделась, —
 Где и робость русалочья делась...

Он сохранил до конца находчивость и смелость словообразований: «сеченная (в бою) голова», «вещаньем государствую», «раздышалась грудь земли» и т. п.

Следует особо оговорить интересную группу писателей, весьма разнообразных, но связанных своим месторождением — Одессой. Многие из них, как Юрий Олеша, Исаак Бабель или Валентин Катаев, прославились на всю Россию. К ним же принадлежит недооцененный как русский писатель — создатель израильской армии Владимир Жаботинский, автор гениального романа-хроники «Пятеро».

Появление одесской группы — один из многих примеров оборванных революцией, неисчерпаемых возможностей российской жизни.

Сосредоточенное в столицах культурное творчество стало распространяться на провинцию, не теряя высокой требовательности к себе и приобщая всё более широкие круги к современной проблематике и к вершинным достижениям культуры во всех областях.

В тогдашней России не было «свойственных» западной провинции скуки и всеобщего равнодушия к культурной жизни. Было недовольство тем, что «у нас» еще нет того, что есть в больших городах, и активное желание этот недостаток восполнить. Как минимум, всюду была хоть горсточка людей, страстно живших культурными вопросами, к которой присоединялась значительная часть населения.

Стихийный рост культуры периферийных народов империи несомненно был только одним из проявлений распространения русского Ренессанса на провинцию. Руководители украинской, грузинской, еврейской, литовской и других окраинных культур были обязаны именно ему и размахом всемирно-исторических перспектив, и синтезом вершин западной культуры с местными началами и особенностями, и высокой требовательностью к творчеству. Как бы ни было значительно культурно-историческое прошлое некоторых из этих народов, они не могли бы почерпнуть все эти возможности нигде, кроме русского Возрождения, ибо ни они сами в прошлом, ни западные народы не обладали ими в столь высокой степени.

Без «Мира Искусства», «Нового Пути» и «Весов», без Розанова и Андрея Белого, без Дягилева и Мейерхольда, без религиозно-философских собраний в Петербурге, Москве и Киеве, без «башни» Вячеслава Иванова и «Дома песни» Д'Альгеймов и т. п. не было бы ни украинского «расстрелянного» возрождения Зерова и Хвильового, ни знаменитых московских еврейских театров, из которых один вовремя уехал за границу, а состав другого был расстрелян, ни грузинских «толуборожцев», тоже старательно расстрелянных чекистами.

С самого своего возникновения одесская группа писателей была независима от столичных течений. При бесспорном личном своеобразии, отдельных ее членов объединяла бойкость темперамента, солнечная южная красочность и любовь к живописным нравам своего города. Не наступил революция, Одесса стала бы в краткий срок первоклассным культурным центром всероссийского значения.

Общепризнанным учителем поэтов-одесситов был *Эдуард Багрицкий*, не только талантливый поэт, но и горячий энтузиаст поэзии, воодушевлявший своим появлением на эстраде аудиторию даже самых заброшенных уездных городков. Он читал стихи, свои и чужие, и рассказывал о поэзии всех народов мира, которой сам жадно зачитывался и которую любил больше всего в жизни. Несмотря на необычность и непопулярность сюжетов его выступ-

лений, они захватывали слушателей, забывавших все остальное на свете и запоминавших на всю жизнь посещение чудака-энтузиаста.

В советских условиях жизнь, целиком посвященная поэзии, стала совершенно невозможной. Если Фрейд прав, и художественное творчество произрастает из неудовлетворенности, то по ярким описаниям съестного, нередко встречающимся у Багрицкого, можно заключить, что ему пришлось немало поголодать. То же самое заметно и у Заболоцкого («Рыбная лавка» и «Свадьба»), и у Хлебникова, потрясающий «Голод» которого навеки запечатлел ужасы, до которых была доведена страна после революции.

Несмотря на поддержку некоторых просвещенных друзей, Багрицкий скончался от туберкулеза в 1938 году, 38 лет от роду.

До сих пор вышел только первый том полного собрания его стихов. Хотя Багрицкий и воспел «самого» Дзержинского в поэме «ТВС», он все-таки не потрафил капризной барыньке-партийному начальству, и его наследие остается под спудом уже более двадцати лет. А, по сути, никому из поэтов-прихлебателей и не снились такие стихи о коммунистах, как, например, «Смерть пионерки» или «Разговор с Н. Дементьевым». Это — захватывающая искренностью и высокой художественностью революционная романстика, жестоко отпняющая убожество соцреализма.

Багрицкого, как и некоторых других тяжело больных, — Китса, Т. Корбьера, Ницше, — привлекало то, в чем ему было отказано: жизнь, полная опасностей и приключений, требующая физической силы и нравственной выдержки, контрабандисты Черного моря, Летучий Голландец, декабристы, участники гражданской войны и бродяги:

Вот так бы и мне в налетающей тьме
Усы раздувать, развалиясь на корме,
Да видеть звезду, над бугшприфом склоненным,
Да голос ломать черноморским жаргоном,
Да слушать сквозь ветер, холодный и горький,
Мотора дозорного скороговорки...
...И петь, задыхаясь, на страшном просторе:
Ай, Черное море, хорошее море!..

Багрицкий был до самозабвения поглощен красочностью и многообразием видимого мира. По соединению внутреннего накала с жадностью к жизненным ощущениям он напоминает раннего Сутина:

Расчищен лопатами брачный круг,
 Венчальную песню поет скворец,
 Знаки Зодиака сошли на луг:
 Рыбы в пруду и в траве телец.

Жизненный темп его поэзии болезненно повышен, судорожно неровен. Багрицкий заражает читателя экзальтированной восторженностью, яркостью и интенсивностью своего поэтического зрения, захватывающим ритмом:

Была такая голубизна,
 Такая прозрачность шла,
 Что повториться в мире опять
 Не может такая ночь...
 ...Она постаралась вложить себя
 В травинку, в песок, во все
 От самой отдаленной звезды
 До бутылки на берегу...

Он был одним из редких подлинных романтиков нашего века, хотя и усвоил художественные приемы модернизма. В XIX веке были бы невозможны выражения типа «рельсы бросаются под колеса» или «набитое звездами решето». От романтиков начала прошлого века он отличается также разнообразием своей палитры и прозаизмами. Но нигде, со времен Эйхендорфа или гетевских баллад, не найти такой непосредственности юношеского порыва:

...Над больничным садом,
 Над водой озер,
 Двигаются отряды
 На вечерний юбор...

Из Одессы же пришел культурный и одаренный *Георгий Шенгели*, вскоре после революции замолчавший. Ввиду постигшего его полного и неза заслуженного забвения, в отделе иллюстраций мы приводим полностью одно из его стихотворений, отличающееся тонкостью мастерства и своеобразием поэтического почерка. В нем Шенгели лишним раз свидетельствует о жестоком голоде, которым коммунисты облагодетельствовали страну через короткое время после своего воцарения. Но автор сумел возвыситься над сюжетом и алхимически извлечь из него подлинную поэзию.

Семен Кирсанов с первых же шагов обнаружил неистощимую изобретательность к словообразованиям. Невозможно и представить себе, каких волшебных хитросплетений слова, какого богатства метаморфоз мог бы достичь, без вмешательства пародии, этот Божьей милостью даровитейший из поэтов, ныне здравствующих в СССР! В душе Кирсанова таится один из самых чарующих поэтических миров, какие только существуют. Гибкость и удачливость его в обращении со словом поразжают непринужденностью. Кирсанов — чародей, жезлу которого слова следуют беспрепятственно, сплетаясь в капризнейшие, прихотливые, небывалые поэтические арабески.

Его творчество вырастает из музыкальной стихии, повинаясь не логическим, а каким-то причудливо-растительным законам, и порождая красоту как бы невольно, милым ребяческим озорством, овеянным тонким юмором. От этого богатства социализм оставил нам лишь жалкие крохи, хотя и восхитительные: «мояблоня, моягода», «чудесамые глаза», «ничевод ключевых» или «Страдивариум — скрипкою выгнулся кот...»

Все, к чему Кирсанов прикасается, становится поэзией. Его мечтательно-шаловливая, чуткая, как мимоза, душа, наделенная мудрой детскостью, рождает прациозные фантастические видения, не нарушая органичности русской речи. Его подлинное царство — область мечтаний, игры, любви — среди детей, ипрушек и животных, на берегах вод и на залитых весенним солнцем зеленых лужайках. Но увы, судьба поселила этого одного из самых хрупких и нежных среди русских поэтов в жестокую, прубую и придиричивую среду, где он вынужден из-под палки восхвалять именно то, что страшно и враждебно его душе: технику, солдатчину, начальство, статистику и крикливый официальный оптимизм. Социализм не только резко и прубо оборвал рост его изумительных словесных арабесок, попадающих под запрет по статье «уголовного кодекса», именуемой «формализмом»; он подозрительно косится на самое у Кирсанова ценное — на невесомую легкость его слова!

Тяжело такой душе выносить истошный барабанный бой казенных лозунгов и понуканий! Но без тупых, отнюдь некирсановских, хамски-мажорных виршей во славу Сталина или «социалистического строительства», невозможно было бы поэту просуществовать в СССР. Все это губительно отзывается на его подлинном творчестве, изредка пробивающемся на поверхность. Тогда оно становится неподражаемым по музыке и зрительной выпукло-

сти: «Он пронизал свистящий воздух пунктиром выправшихся пуль». Изобретательность его подкупает располагающей простотой:

Сны у Зойки с досмотром,
С «продолжением следует».

Умная, культурная, сильная волей, хотя и немного сухая, Вера Инбер одарена виртуозным мастерством, вкусом, изобретательностью и лукавой усмешкой, умеющей остановиться на пороге топа, над чем в СССР смеяться воспрещается. Зато легкость непосредственности, глубина мысли и сила переживания ей закрыты. Правда, в советских условиях, последнее ей скорее пошло на пользу. Несмотря на свою внутреннюю непреодолимую аполитичность, она благополучно преодолела все извилины коммунистического лабиринта, успешно проскользнув между ежовской Спидлой и ждановской Харибдой, оставаясь, в то же время, более приемлемой для нормального восприятия, чем большинство советских поэтов.

Как у многих бесстрастных темпераментов, ее основная стихия — созерцание. Она строит свои стихи объективно и хладнокровно, как каменщик, кладущий кирпичи — безо всякой эмоции. Зато у нее нет недостатка в продуманных, четких своеобразных метафорах. Тень дерева «густа как бархат», церковная дверь «крепка как сундук», у бамбука — «рыцарские перья» и т. д. Для того, чтобы вызвать предмет в нашем представлении, ей бывает достаточно его назвать. Сила ее — не в воображении, рождающем сопоставления, а в сгущении предметных элементов картины:

Я слышу: звенит колокольцем верблюд
Через ровные доли секунд...

Тут сила в точности, без всякого иносказания. Лучше всего — ее длинные поэмы — «Путевой дневник», полный прекрасных описаний Кавказа, и «Пулковский меридиан», об осаде Ленинграда во время последней войны. Здесь — вершина ее творчества. Классическая строгость и обилие конкретных подробностей придают ее словам необычайную силу и весомость. Там где другие поэты бесполезно надрылись, стараясь декламацией или нагромождением ужасов вызвать читательское сочувствие, она его блестяще достигает удачной формулировкой характерных деталей, изумительно отчетливой словесной живописью:

...Без теплых испарений
 Нетающий на ветках снег — сиренев,
 Как дымчатый уральский аметист.
 Закат сухумской розой розовеет...
 Но лютой нежностью все это веет...

Но не обманчива ли внешняя бесстрастность В. Инбер? Все-таки «...в сердце тоска вдруг впиалась мне крючком рыболовным...» — обычная дорогая цена душевного холода.

Еще безучастнее *Илья Сельвинский*, уроженец Крыма, глава эфемерной группировки «конструктивистов», включавшей также Веру Инбер и критика Корнелия Зелинского. Они пытались внести в поэзию техническую тематику, надеясь на рождение, через революцию, новой культуры, на началах точной науки. В этом, конечно, было немало юношеской наивности.

Как новатор словесной ткани Сельвинский занял видное место в русской литературе. Его прозаизмы гораздо жестче пастернаковских; центр тяжести для него в языковых изысканиях, при полном равнодушии к содержанию. Экспериментаторство и голововокружительная словесная акробатика достигают апогея в задорно транскрибированных «Цыганских романах», где он передает напевность исполнителей и пародирует их манеру коверкать язык рядом остроумных словесных ухищрений, вроде знаков препинания, помещаемых в середине слова, и употребления букв латинского алфавита:

Аха, нночь-чи? Сонаны. Прок?ладьда
 Здесь в аллеях заглохше?го сад'ы...
 И доносится толико стон? (Эс), гит-тарары
 Тарантин? на тарантина тап.

Он не лишен юмора, ума и наблюдательности. Но чувства его не внушают доверия даже в тех редких случаях, когда он о них говорит. Он цинично насмехается даже над такими серьезными вещами, как любовь или революция. К его поэме «Улялаевщина», словесная новизна которой составила эпоху, весьма бы подходил подзаголовок «веселая революция», хотя эти слова как-то вместе не вяжутся. Он посмеивается и над преследуемой буржуазией, и над революционерами, и над восстающими против них крестьянами. Конечно, он зорко следит за тем, чтобы не перегнуть палку — его шутки по адресу коммунистов весьма осторожны и не лишены

тончайшей лести, но их он не принимает всерьез. Зато его словесное мастерство — несравненно:

Судорожно свел никелированную пасть
Крокодил чемадановой кожи...

Даже марксистскую терминологию он претворяет в словесное лакомство: «Лумпен-кустарият — мельчайшая буржуазия».

«Пушторг» — карикатура на еврея Льва Круля, директора советского учреждения. Возможно, что тут мы имеем дело с ловко замаскированным антисемитизмом. Но больше нигде в русской литературе не найти такой гибкости и изощренности словесного рисунка, такой выразительности каждого штриха:

Но тот, от кого зависели отпуск
И пр. И которому докладывали об...
Тот это «Он», это «тсс», это Подпись,
Величественная как Обь.
Каков он? Седой, лысый, рыжий?
Он — председатель правленья. Судьба.
Он изъяснялся кнопкой, как призрак,
Веял холодом морга...

Когда соцреализм положил конец живому развитию русского литературного языка, насильно заморозив его где-то на середине семидесятых годов прошлого века, Сельвинскому как поэту наступил конец. Автора пьесы «Командарм 2» никак нельзя обвинить в удодливости. Тем не менее, всё им написанное с конца тридцатых годов лишено всякого литературного интереса, если не считать нескольких жестоких зарисовок ужасов военного времени (кто только в «советской» литературе не пытался на них отыгаться!), сила которых в документальной жуткости сюжета, а не в его претворении в искусство.

Все-таки, его талант не иссяк окончательно. Изредка, после смерти Сталина, чарующе прорывается прежний, настоящий Сельвинский.

Среди более молодых одесситов особенно выделяется *Вадим Стрельченко*, погибший на войне, не достигнув тридцатилетнего возраста. Он наделен «лицом необщим выраженьем» и потому недооценен критикой. Будучи скромным, он умеет быть оригинальным: «Пусть не я красив, а зелень полевая...»

Будь он свободен, ясно, что и он был бы новатором:

...В освеженной дали
 Неплодовые цвели кусты,
 На ладонях (листьях) поднимали
 Оправдание свое: цветы.

Но даже в условиях соцреализма, сломившего немало крупных дарований, он изумляет своим своеобразием.

Свойственная пост-модернизму, а потому распространенная на Западе склонность к разговорному языку и к прозаизму, проявилась у него, впервые в СССР после «Столбцов» Заболоцкого:

Мы еще в середине морей
 На дереве кораблей...

Интересно, что в СССР, хотя власти старательно скрывают литературную жизнь Запада, как-то, сами по себе, возникают стремления, точно совпадающие с тем, что происходит в свободном мире. Это указывает на наличие каких-то, нам еще не ясных, общих течений мирового духа, проявляющихся помимо ведома и сознания отдельных людей. При символизме, укорененная в музыке поэзия, *пела*. Теперь поэт *пишет*, творя осязаемое и предметное слово. Из стихии, уносящей за собою отдельные, лишённые индивидуальности слова, звук стал одной из составных частей, увеличивающих выразительность и подчеркивающих смысловые оттенки слова. Свойственный Стрельченко прием пользования скобками явно истекает из пластического отношения к словесной ткани. Поэт отличается лепкостью стиля, живостью светлых красок, как бы омгтых дождевой влагой, новизной оборотов речи и точностью терминологических подробностей. Обращаясь к своим соотечественникам, он говорит:

...Куда я без вас пойду?
 Наша кровь слилась! На кого променяю —
 На сосну бессловесную? На звезду?

Даже для казенных сюжетов ему удается найти живое, свежее, неожиданное:

...Мы прозим своим врагам:
 Карлики! им на деревья надо
 влезть, чтоб видеть то, что видно нам...

Скорее чем хвала, в этих словах чувствуется ирония, хотя и беззлобная — сильного и доброго человека, любящего жизнь. На радость восхищенного читателя, казенщина у него незаметно переключается в игру, фантастику. Например, обращение к верблуду:

К тебе бы лентяев людей привести
И каждому дать тетрадь.
Лентяям бы этим за парты сесть,
Тебе бы, верблуд, — поучать...

Власть лицемерно замалчивает Стрельченко — подлинного, большого поэта, боясь, как бы не пострадали от сравнения с ним, всякие *луконины* и *ошанины*.

Если все до сих пор рассмотренные одесситы — выраженные модернисты, то *Маргарита Алигер* сумела чему-то научиться у самого Пушкина. «Осень в Болдине» — одна из удачнейших в русской литературе вариаций на пушкинскую тему. Но по многим другим ее стихам видно, что четырехстопный ямб органически сроден ее душе:

И вдруг почувствовать: пора,
Чтоб тень гусиного пера
Плыла, как парус, по бумаге...

Пушкинский строй не разрушается умеренной дозой элементов XX века:

Собаки мокрые худей,
Чернее и щеголеватей...

У Пушкина не найти четырех прилагательных на шесть слов подряд, но его дыхание отчетливо слышно в этих стихах нашей современницы. Лучшее у нее навеяно детскими воспоминаниями о родном городе:

Мне жалко радостей ребячьих,
Которых больше в мире нет,
Одесских бубликов горячих, —
Дешевых маковых конфет.

Материнство интересно сочетается у нее с чувством русского пейзажа:

Дочка, ты похожа на денек,
Что прошел в березах у пруда,
Отляделся, срезал корешок
И ушел неведомо куда...

С некоторых пор у нее проявляется модернистическая острота и точность в подробностях:

Посреди малиновой кашки и золотой сурепки
 Расцвел голубой цикорий на зеленом лугу.
 Какой у него корень узловатый и крепкий.
 Я содрала ладонь, а сорвать его не могу.

Не только Одесса пробудилась к литературному бытию, но и Сибирь. Леонид Мартынов выпустил первый свой сборник в Омске в 1939 г. В нормальных условиях за ним бы бесспорно признавалось, особенно теперь, после кончины Заболоцкого, первое место среди русских поэтов. Его сборник «Лукоморье» (1945) — одно из крупнейших событий русской литературы в СССР. Это — поэзия в абсолютном, беспримесном, подлинном смысле слова — ряд поражающих своей утонченной музыкальностью и скупой точной образностью картин душевного бытия.

У него чувствуется непреодолимое инстинктивное отталкивание от трафаретности, давно всем набившего оскомину коммунистического «строительства». Среди всех современников, он — поэт в наиболее традиционном смысле слова: типичный мечтатель, влюбленный в древнюю Русь, принимающую у него причудливые очертания мифологического сновидения... «в лукоморье далеком чертог есть чудесен...»

Мартынов создает настроение простыми, но точными, легко и естественно, как бы случайно, собравшимися словами. Как бы сама собой складывается из них старинная правюра:

...С моря туман встает, на заборе петух поет.
 Заплесневелый гранит старых ворот.
 Как серебро звенит, Сильва поет.
 Ратуши стрельчатый свод —
 Стремление в небеса,
 Где ангельские полуса,
 А в гавани дремлет флот —
 Там трубы и паруса,
 Переплетанье рей и на горбах якорей
 Отблеск мокрых морских фонарей..

Его палитра, романтически тусклая и туманная, бледнее, чем у Хлебникова и у Заболоцкого:

...Чудесный город, где орнамент ставень
 Напоминает по рисунку Плавень,
 А иногда осенний серый ливень,
 А иногда и мамонтовый бивень,
 И черепа таинственных животных,
 Еще ужасных, но уже бесплотных...

«Река Тишина» — одно из лучших русских стихотворений. Тут Мартынов действительно нашу душу «волнует, мучит, как своенравный чародей». Это один из редких случаев, когда в «советской» поэзии прорвалась подлинная эмоция (она же и чистейшая мелодия), глубокая задушевность, совершенно свободная от соцреалистического шлама уныло-бодрой казенщины. Он умеет извлекать музыку даже из прозаичнейшей обыденщины, хотя и пронизанной ощущением неведомого:

Смолкнут толки соседей, забулькает ванна,
 Распрямятся со звоном пружины дивана...

После выхода «Лукоморья», признанного «идейно» неудовлетворительным, Мартынов молчал до самой смерти Сталина, занимаясь переводами. Под его пером этот, по тяжкой необходимости столь усердно культивируемый в СССР жанр, достиг небывалого совершенства. Только в 1957 году вышла новая тоненькая книжечка «Стихи», увы, явно уступающая «Лукоморью» и по яркости, и по размаху.

Тем не менее, рано хоронить поэта Мартынова, как бы ни мечталось наиболее рьяным партийным критикам. Его заставили замкнуться, потускнеть, приглушили звучание его стиха, но поэт в нем не только не замер, но наоборот — созрел: углубились и выросли его мысль и духовная интуиция, словесная скупость и почти иероглифическая сосредоточенность. Образы становятся символом вневременного. Намечается эволюция от пения к письму. Поэтому меняются и приемы. Он превосходно орудует повторением:

На деревьях рождаются листья,
 Из щетины рождаются кисти...

Аллитерации устремились от чистого звучания к выразительности: «О, рванись, дребезжа, запотелое тело трамвая...» Развилась акварельная легкость, лишь намекающая на изображаемое, но никакая живопись не способна дать более острого ощущение:

няя жизни. Так, например, весну он передает запахами: «...и пахло льдом, водой и масляною краской...» Также и лето:

Пахло парусом и шкотом,
Простыней и полотном
И на пляж входным билетом...
И младенцем желторотым
На песке, насквозь пропретом...

Мартынов понял, что стихи... «диктует только прозрение», и на самом деле увидел то, что «иной вооруженный глаз... увидит ненавидит» — «очертанья ветра» и даже что «Лекарства превратились в травы, бумага превратилась в лес...» И он знает: «но человек уже хочет иного, — лучше того, что есть».

А с этим никакие Лубянки в мире не справятся!

Среди молодых поэтов близок к футуризму Борис Слуцкий, пошедший еще дальше, чем Спрельченко, в использовании прозаизма и в размалничивании музыкального строя стиха. Он утратил также нежную светлость спрельченковских красок. Слуцкий не только не поет, но и пишет не как писатель, а как восхваляемые им писаря:

Они обо всем написали слогом простым и живым.
Они нас всех прославили, а мы писарей не славим.
Признаем же этот промах! Ошибку эту исправим!
И низким земным поклоном писаря поблагодарим.

С не меньшей находчивостью он делает достоянием поэзии даже такие сверхпрозаические учреждения, как... архивы, имеющие к тому же репутацию скуки:

...Пласты и пласты документов, подобные угля пластам!
Как в угле скоплено солнце — в них наше сияние стынет,
Собрано, пронумеровано и в папки сложено там...

Свой царящий напыщенностью, нарочито приподнятый декламаторский тон Слуцкий освежает естественным разговором и подлинной простотой, поражающей своей современностью, тогда как большинство поэтов в СССР остаются противостоительно бесстильными. Язык Слуцкого обновляет неожиданностью загасканные казенные сюжеты, развенчивая официальную мишуру, вымученное подделывание под «народный» говор и высокопарное

пустословие партийных стихотворцев. Он щеголяет прозаизмом своих слов, оборотов речи и тематики, старательно выискивая наиболее обыденное и будничное.

Но крайности сходятся: его предельная, нарочитая прозаичность дает наиболее острое ощущение поэтической новизны и убедительности, обходя, в то же время, официальные запреты с весьма неожиданной стороны: партийная цензура не предвидела возможности рождения поэзии из наиболее сухой, пошлой и безотрадной стороны действительности. Слуцкий может успешно отвести всякое обвинение тем, что его стихи *реалистичнее* уютливого убожества всяких там софоновых и долматовских. Больше того, Слуцкий сумел включить навязываемую партией тематику в область грубопрозаической банальщины и извлекать из нее, таким образом, истинную поэзию. Партийные законодатели соцреалистических мод достаточно толстокожи, чтобы не уловить связанную с этим тончайшую, как бы нечаянную иронию.

Всё это делает Слуцкого одной из крупнейших надежд русской литературы. К тому же он — тончайший мастер слова. Какие у него, как бы нечаянные, аллитерации! — «Вы правите, права дворян поправ!..», какие у него находки:

Рассвет — это значит: раз — свет!
 Два — свет! Три — свет!

А как хороша его заранее обдуманная небрежность:

Я вижу пиджаки стандартные —
 Фасон двуборт и одnobорт,
 Косоворотки аккуратные,
 Косынки самый первый сорт...

Юмор поэта проявляется, например, в использовании канцелярского слога по неподходящему поводу:

Лично, непосредственно бравшие
 Столицу Германии — город Берлин...

Как известно, взятие Берлина — один из самых распространенных, а потому и изношенных сюжетов советской поэзии. Слуцкий его оживил... снижением, отказом от напыщенной ходульности.

За покровом прозаизма он таит неисчислимы для внимательного глаза сокровища. Умение увидеть прозу *неожиданно* придает ей фантастический, почти сюрреалистический характер. «Хлеба

сероватые куски» — об этом до Слуцкого никто не подумал. А вот более обстоятельная картина:

Гора печеного хлеба
 Вздымала рыжие ребра,
 Тянула вершину к небу,
 Глядела разумно, добро,
 Глядела достойно, мудро,
 Как будто за все отвечала...

Сила этой обывденщины — в зоркости и в точности, вне всяких привычных условностей. Отсюда же и новизна его метафор: болгарский «двоюродный» язык, «солидно» шелестящие тополя. Он говорит: «классовой битвы крутые законы», вместо затасканных «борьбы» и «непреложные» или «железные». Только было бы ошибкой думать, что Слуцкий продал партии свою душу. Он заявляет с редкой для него торжественностью:

Я говорил от имени России,
 Ее уполномочен правотой...

Так же слабо обстоит у него и с марксизмом. Обращаясь к гитлеровцам, искушавшим голодных русских военнопленных, он говорит: «каша с вами, а душа с нами». Как же после этого — «бытие определяет сознание»? Он решается даже намекать на бессмертие:

Да я уже с пылью дорожной смешался!
 Да я уж травой придорожной пророс!
 — Вставай, поднимайся! Я встал и поднялся.
 И скульптор размеры на камень нанес...

Но, в основном, ближе всего Слуцкому чистая поэзия, вне всякой злободневной предвзятости:

Тяжелые камни сидят на траве,
 Как птицы на проволоке сидят...

Семен Гудзенко, хотя и по-иному, тоже далек от соцреалистического трафарета. Он скуп на слова. Зато они таят стуженную поэтическую зарядку. О трофейном роме он говорит:

В нем горечь, хмель и аромат
 Заморской стороны...

Слуцкий, наверное, аромат заменил бы запахом, а заморскую сторону — иностранным государством. Но у них темпераменты разные. Гудзенко силен сдержанным страданием, сосредоточенностью, острой свежестью душевной стихии. Горечь переживаний пропитала драматизмом его мужественную лирику:

Но не в этом дело. Дело в том,
Волны взяли тело под мостом.
Под водой зеленой черный ад.
Я один вернулся в сад...

У Гудзенко мы находим последний отблеск романтики Гражданской войны, в форме ребяческой любви к приключениям, напоминающей Грина и Паустовского:

Случайно в палисаднике на Бронной
Увидел пятнышко травы и мне
Его руками захотелось пронуть,
Как мальчику винтовку на стене...

Образы Гудзенко отличаются чисто модернистической смелостью. В горах — «неба синий ситец всего в пяти шагах», или «снег прилет на подоконник как белый глуховатый кот», или «в травах зеленых мордой ведет на крепкой станине стальной пулемет». Его эмоциональность тоже идет порою в разрез с ожиданиями партийной власти:

...Утром по некрашенным мостам,
Где стоят распятия в пыли,
Над дорогой руки распластав...

На фотографии, сопровождающей издание 1957 года, — его выразительное, умное, тонкое, печальное лицо. А в лучшей из его длинных поэм «Побратимы», несмотря на старание изобразить «кулака» несимпатичным, ощущается естественная привязанность поэта к здоровой деревенской жизни крестьянина, собственника своей земли.

Виктор Урин в первых своих стихотворениях тоже проявил стремление к многообразному, насыщенному аллитерациями стилю:

...Гвардейский подавай напиток,
 Живительной прохлады слиток,
 Чтобы хватало, чтоб избыток
 Бутылкам бултыхался вбок,
 Сливаясь в бархатный клубок...

Новизна появилась и в его образах: «Толковый мед», «пчелиный картавый рай» или:

Обугленный анис
 Крутыми кулаками
 Грозит: «Остановись!»

В результате, у него получалось необычное, многообещающее сочетание звукозаписи и зрительного своеобразия, открывающее путь к обостренной передаче ощущений. Но жестокий окрик официальной критики превратил его (временно, будем надеяться) в бесцветного и пресного одописца на казенно-нравоучительные темы.

(Окончание следует)

Хождение по мукам

(Опыт медленного чтения)

После изгнания Лужина ушли, не желая раздражать больно-го, и Зосимов с Разумихиным. В комнате с Раскольниковым оставалась одна Настасья, но он и ее попросил уйти. Тотчас вслед затем он встал и начал одеваться в платье, купленное для него Разумихиным на толкучем рынке. «Странное дело: — замечает Достоевский, — казалось, он вдруг стал совершенно спокоен; не было ни полумного бреда, как давеча, ни панического страха, как во всё последнее время. Это была первая минута какого-то странного, внезапного спокойствия. Движения его были точны и ясны, в них протрагивалось твердое намерение. «Сегодня же, сегодня же!.. — бормотал он про себя».

Достоевский не поворит, откуда взялось «странное спокойствие», но из дальнейших событий выясняется, что в эту первую минуту Раскольников внутри себя безотчетно порешил «сегодня же» пойти в полицейский участок и сознаться во всем. И вот достаточно одного несознанного внутреннего намерения раскрыть перед людьми свое преступление, как уже Бог идет навстречу согрешившему, и взорванный грехом Адам начинает собирать воедино свои расперянные частицы. Однако вслед за первой минутой не скоро в таких случаях приходит вторая. Все тайное, поистине бытийственное, назревает в человеке вне его рассудка, с мучительной постепенностью, с перерывами и остановками, как травяной росток под действием возвратного холода.

Одевшись, Раскольников взглянул на деньги, лежавшие на столе, и положил их в карман. Денег было двадцать пять рублей, с медными пятакими в придачу, оставшимися от десяти рублей, истраченных на покупку платья. Потом он открыл дверь, спустился по лестнице и очутился на улице. Не то, чтобы сознательно хотел Раскольников пойти в полицейский участок и все рассказать. Нет, «он знал одно: «что все это надо кончить сегодня же,

за один раз, сейчас же; что домой он иначе не вернется, потому что *не хочет так жить*» (подчеркнуто Достоевским. — Г. М.). «Как кончить? чем кончить? об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль: мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы всё переменялось, так или этак, «хоть как бы то ни было», повторял он с отчаянною, неподвижною самоуверенностью и решимостью».

Вот именно эта внераассудочная отчаянная решимость ускорила теперь осуществление встреч и событий, давно назревших в душевных глубинах Раскольниковова. Все, что свершилось внутри, поступало теперь наружу, воплощалось в мире явлений. Его снова как будто потянуло к людям. Но не все из тех, с кем заговаривал он на улице, принимали его. Очевидно, было в нем что-то самозамкнутое, герметически закрытое, недоступное общению. «Не доходя Сенной, на мостовой, перед мелочною лавкой, стоял молодой, черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке, лет пятнадцати...

— Любите вы уличное пение? — обратился вдруг Раскольников к одному, уже немолодому, прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и удивился. — Я люблю, — продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил, — я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают.

— Не знаю... Извините... — пробормотал господин, испуганный и вопросом и странным видом Раскольниковова, и перешел на другую сторону улицы».

Разгадка этого краткого, действительно, в высшей степени странного разговора, таится в замечании, брошенном Достоевским мимоходом: «с таким видом, будто вовсе не об уличном пении говорил». О, да, совсем не об этом давал знать Раскольников стоявшему рядом с ним незнакомцу. Он пытался, всего лишь на одну минуту, приоткрыть дверцу, ведущую в бездну души, показать своему ближнему (не все ли равно какому — знакомому или незнакомому) на то, как все там застыло, оцепенело, стало мертвенно-зеленым, как затонувший труп. Нутро убийцы — могила убитых. Надо покаяться открыть ближним свой смертный грех, чтобы снова душа зазеленела по-весеннему. Но Раскольникову далеко

до этого. Он убил и тем взял на себя неискупленные грехи своих жертв. Души убитых ушли в неведомую обитель, а их грехи остались на убийце и теперь разъедали, умерщвляли его.

Но что ответил бы незнакомый господин на вопрос, почему он испугался и даже перешел от Раскольникова на другую сторону улицы? Он, конечно, ничем не мог бы объяснить своего поступка. Он действовал бессознательно, повинуюсь благословенному инстинкту самосохранения. Так же бессознательно поступал и Раскольников, когда в игре шарманки, в уличном пении, в бледно-зеленых больных лицах мучительно подыскивал нужный символ для того, чтобы выразить иносказательно первому попавшемуся прохожему отчаяние своей погибающей души. И как она изнемогала под тяжестью греха! Ни бури, ни ветра, один, падающий прямо, мокрый снег при мертвенном блистании газового фонаря. Раскольникова снова тянуло к людям: он искал сложить с себя черную ношу, не постигая сердцем, что сделать это можно лишь предварительно смирившись. Он все еще хотел бороться, воевать и с судьбой и с Небом, а если уж признаваться в преступлении, так с вызовом. Так, зайдя с улицы в трактир под громким названием «Хрустальный дворец», он повстречал там секретаря полицейской конторы Заметьова и тотчас приступил к игре, заскользил над бездной, наводя ищейку намеками на догадку. «И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущение одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топором, запор прыгал, они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!» Да, есть в такой игре греховное предвкушение вечности, пусть всего лишь на аршине пространства, и прав Пушкин: воистину, всё, что прозит гибелью, «для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог». Но такими предвкушениями вечности разрушается душа дерзавшего. Совершенно опустошенным вышел Раскольников из «Хрустального дворца». Он мог бы повторить теперь слова Вальсингама, безумного председателя из Пушкинского «Пира во время чумы»: «Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззаконья моего и ужасом той мертвой густоты, копорую в моем доме встречаю».

По выходе из трактира, Раскольников натолкнулся на встревоженного, всюду искавшего его Разумихина и, прубо отделавшись от непрощенных добрых забот приятеля, «прошел прямо на Н-ский мост, стал на середине, у перил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдаль».

Всё, что в дальнейшем произошло с Раскольниковым в этот знаменательный для него день, развивалось с неукоснительной последовательностью, как нечто заранее подготовленное в духовных глубинах и теперь отражающееся вовне, в мире явлений. Такой подход к свершающемуся в жизни чужд и недоступен людям душевно-телесного склада, вроде Флобера, Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Бунина. Читатели двадцатого века, развращенные реалистическим искусством, должны перестроиться на иной лад, чтобы идти вслед за Шекспиром, Сервантесом, Бальзаком, Гоголем, Достоевским, вслед за великой русской поэзией, от Державина до наших дней. Недаром у нас так мало настоящих ценителей поэзии. Ведь, ох! как нелегко переходить от костей и мяса, от душевных настроений и задушевного нытья, от какой-нибудь Купринской «Ямы», картин Шишкина и Айвазовского к чему-то подлинно реальному, не только трехмерному, но и трехпланному. Понадобилось величайшее крушение, поныне все еще продолжающееся, чтобы очнуться от усыпительных описаний житья-бытья тех времен, когда мы не жили, а поживали, да добра наживали. Мудрено прийти в себя «от перенюха роз и оперного пенья», как сказал по поводу произведений Тургенева один одаренный шутник. Но стояние у смертного столба и щи с тараканами на каторге далеко отстоят от *bel canto*. Перед Достоевским раскрывались пропасти человеческой души. И, прежде всего, он увидел, что нет в жизни изолированной, отдельной личности, что все мы отражаем и дополняем друг друга. Нет человечества, есть прехом раздробленный Адам, а мы — его частицы, неустанно ищущие воссоединения, стремящиеся один к другому с тем, чтобы снова взорваться под напором преха и снова, в тоске и надрыве, искать воссоединения. Здесь замечу, что я никогда не мог понять, почему Вячеслав Иванов, тончайший знаток творчества Достоевского, так грубо однажды ошибся. По его мнению, персонажи Достоевского не всегда житейски обоснованно собираются вместе тут или там, что такие внезапные сборища нужны и удобны автору, но ходом событий не оправданы. Пиши Достоевский реалистические романы, утверждение Вячеслава Иванова было бы справедливо. Но, ведь, сам он первый заметил, и в этом его большая заслуга, что романы Достоевского мистериальны. При развитии мистерии автор не всегда может, без нарушения художественной меры, задерживаться на житейских причинностях. И жизнь и искусство, в данном случае, — на стороне Достоевского. Он на собственном опыте познал, что такое неожиданность, необъяснимость и чудесность событий. Он заработал право отвечать на наши требования есте-

свденности: у меня это так, потому что это так. Всех причин не соберешь, а фантастичности ежедневных будничных происшествий все равно не перещеголяешь.

*

«Простившись с Разумихиным, он (Раскольников. — Г. М.) до того ослабел, что едва добрался сюда. Ему захотелось где-нибудь сесть или лечь на улице. Склонившись над водою, машинально смотрел он на последний розовый отблеск заката, на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где-то на мансарде, по левой набережной, блиставшее точно в пламени от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновение, на темневшую воду канавы и, казалось, со вниманием всматривался в эту воду. Наконец, в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи, — всё это завертелось и заплясало кругом. Вдруг он вздрогнул, может быть спасенный вновь от обморока одним диким и безобразным видением. Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом; он взглянул — и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, испитым лицом и с красноватыми, впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не видала и никого не различала. Вдруг она облокотилась правой рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла и ее тихо понесло по течению, головой и ногами в воде, спиной вверх, со сбившегося и вспухшего над водой, как подушка, юбкой».

Баратынский, по рассказам близких ему людей, определял поэзию как «полное ощущение известного мгновения». Это верно. Но еще точнее было бы сказать, что поэзия есть исчерпывающее выражение мгновения, когда удалось поэту уловить и закрепить в слове мимолетный миг, выразить, сформировать по-своему его метафизическое содержание, вывести наружу то, что пребывало внутри в немоте. Тогда как бы останавливается время, и выраженное поэтом мгновение «свое ликует торжество». Ряд таких мгновений полновесного творчества имеется в только что приведенном мною отрывке из «Преступления и наказания». Все, происходящее в душе Раскольникова, нерасторжимо сцеплено там с явью, нашло себе выражение в ней, а то, что принято называть действительностью, явью, — запрокинулось внутрь, стало символом, вещим

выражением, инобытием свершившегося в духовных глубинах. Великое искусство всегда сопоставляет внешнее с внутренним и раскрывает их тождественность. С каждым из нас происходит в жизни только то, что мы сами себе подготовили в собственной глубине, обращенной и к Небу и к аду. Можно по внешним признакам, происшествиям, встречам угадать с абсолютной точностью духовные состояния каждого из нас. Вот именно такие угадывания и выражения их в слове, красках, звуках, осуществляемые лишь в предельном напряжении всех сил, следует назвать высшей стадией искусства.

Разговор в трактире с Заметовым, игра с гибелью, стояние «бездны мрачной на краю» утомили Раскольникова, и он — на этом Достоевский настаивает — так ослабел, что едва добрался до перил моста. Крайняя усталость, истощение сил телесных и душевных дают ощутить приближение конца, умирания и, одновременно, обостряют внутреннюю зоркость; человек двоятся, трюится в себе и начинает видеть свою таинственную связь со всем происходящим вокруг него. Всё, им видимое, живет своей отдельной жизнью, но, в то же время, он воспринимает это как прямое продолжение самого себя. Подобное состояние охватывает человека, когда он стоит на грани погасания, чему вполне соответствуют сумерки. Растворяясь в них, можно лишь повторить сказанное Тютчевым: «Все во мне и я во всем». Но это ощущение слияния с миром, с точки зрения христианской, преховно: оно порождено не цельной, а раздробленной, потерявшей себя личностью.

Склонившись над водою, Раскольников смотрел на последний отблеск заката, на отдаленное окошко мансарды, блиставшее, точно в пламени, от последнего солнечного луча, и всматривался в темневшую воду канала. Смотря на все это, он как бы наблюдал за собою и видел пламенный очаг своей души, видел собственную душу такой, какой она вышла из рук Творца, повелевшего ей быть. И вот теперь близился ее закат, ее отход: никогда не умиращее сердце уходило в неведомую область сердец, а самого Раскольникова поджидала чернеющая вода канала, вода! — то, что течет, уходит и может бесследно поглотить любого из нас. Ее поток, по слову того же Тютчева, «неодолим, неудержим и не вернется вспять». Тут вдруг вочию увидел Раскольников распадение мира, раздробление сопрешившего Адама: «в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи, — все это завертелось и заплясало кругом». Раскольников, возможно, упал бы в обморок, но от такого подбоя смерти спасло его «одно дикое и безобразное видение». Заме-

чательнее и многозначительнее всего, что он прежде *почувствовал*, что кто-то встал подле него, и только потом явилось видение, неслышно подошедшее к нему совсем близко. Как будто оно пришло не откуда-нибудь со стороны, но выделилось из самого Раскольникова и было до того неотъемлемой частью его внутреннего «я», его совестью, им самим угнетенной, изуродованной, изгнанной. Оттого и сделалось ему дурно, что отделялось от него в эту мигнугу нечто самое в нем сущное. Но несомненное видение оказалось столь же несомненной женщиной, совершенно реально существующей в трехмерном мире.

По Достоевскому, мы творим из себя наши встречи с другими, нет изолированной человеческой личности, все мы взаимно вызываем, отражаем и продолжаем друг друга, и каждый из нас содержит в себе другого, задолго до встречи с ним.

Женщина, представшая на миг перед Раскольниковым, была высокая, с желтым испитым лицом и с красноватыми впавшими глазами. Такие лица бывают у горьких пьяниц, чего же реалистичнее! Однако Достоевский потчас спешит прибавить, что женщина глядела на Раскольникова прямо, «но очевидно ничего не видала и никого не различала». Так смотрят призраки или же существа, решившие покончить счеты с земной жизнью и как бы уже ставшие призрачными. Эта женщина связана с Раскольниковым изнутри круговой порукой греха, и потому как раз в тот миг скрестились их существования, когда опустошенному кровавым преступлением человеку уже некуда и не к кому было пойти, когда он остался наедине с духом глухим и немым, а она, «допившись до чертиков», искала спасения от них в грязной воде канала, — в сумерки, когда все грани стираются, и всё вот-вот исчезнет в темноте.

Человек предполагает, Бог располагает. Женщине, глядевшей невидящими глазами, не суждено было в тот день упоиться, а перед Раскольниковым открывались пути, им не предвиденные.

«— Упоилась! упоилась! — кричали десятки голосов...

...— Батюшки, да ведь это наша Афросиньюшка! — послышался где-то недалеко плачевный женский крик. — Батюшки, спасите! отцы родные, выгните!»

Здесь толпа была совсем не та, что тогда в распивочной, во время всенародной исповеди Мармеладова. Теперь проявлял себя не бездушный коллектив, но действовала живая соборность. Один Раскольников оставался в постылом одиночестве, и недаром люди напирали на него сзади, не замечая, слиясь как будто столкнуть его через перила в воду.

«— Лодку! лодку! — кричали в толпе.

Но лодки было уж не надо: городской сбегал по ступенькам схода к канаве, сбросил с себя шинель, сапоги, и кинулся в воду...

...— До черпиков допилалась, батюшки, до чертиков, — был тот же женский голос уже подле Афросиньюшки, — ананьясь удавиться тоже хотела, с веревки сняли...

...— Народ расходился, полицейские возились еще с утопленницей, кто-то крикнул про контору». (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

Упоминание о полицейской конторе звучит при таких обстоятельствах вполне естественно; не случайно расслышал его и Раскольников. Ведь когда еще только собирался он убивать ростовщицу, донесся со двора в его гробную комнатку чей-то возглас: «Семой час давно!» То прокричал, обращаясь к кому-то один из жильцов густо населенного дома. Но для Раскольникова эти слова прозвучали тогда как нечто роковое, неведомое существо предупредило его, что надо торопиться с убийством, пока старуха сидит у себя в квартире одна. Теперь же, услышанное им упоминание о конторе донеслось не из злых областей, а шло от самой жизни, от ее тайной, нескучеющей силы, всегда в глубине своей благодатной.

Напоминание не есть повеление. Раскольникову предстояло пройти по многим путям и перепутьям, прежде чем добраться до спасительных полицейских властей.

«Ну так что ж! и пожалуй! — проговорил он решительно, двинулся с моста и направился в ту сторону, где была контора. Сердце его было пусто и глухо». Ведь он только что видел на отдаленном окне мансарды последний пламенный отблеск покидающей его дневной жизни. Теперь стал Раскольников совсем темным, ночным, бездушным.

«Что ж, и это исход!» думал он, тихо и вяло идя по набережной канавы. «Все-таки кончу, потому что хочу... Исход ли, однако? А всё равно! Аршин пространства будет, — хе!»

Он уже знал, что жизнь опускает ему всего один аршин земли, не больше, не три аршина на могилу, но один для существования на искупительной каторге.

«В контору надо было идти всё прямо и при втором повороте взять влево: она была тут в двух шагах. Но дойдя до первого поворота, он остановился, подумал, поворотил в переулок и пошел обходом, через две улицы, — может быть, безо всякой цели, а, может быть, чтобы хоть минуточку еще протянуть и выиграть время. Он шел и смотрел в землю. Вдруг как будто кто шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидел, что стоит у того дома, у самых ворот. С того вечера он здесь не был и мимо не проходил.

Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его. Он вошел в дом» (подчеркнуто Достоевским. — Г. М.).

Итак, не то, что зовется подсознанием, привело его сюда, и уж, конечно, не случай. Автор настойчиво подчеркивает, что Раскольников шел и смотрел в землю, когда кто-то как будто шепнул ему что-то на ухо. Все это ясно и точно сказано, и поклонникам психоанализа остается только пожать плечами и развести руками. Есть, впрочем, положения, при которых Достоевский сам испытывается на нечто близкое к «подсознанию», но он всегда отговаривает их с не меньшей ясностью.

Можно допустить, что, говоря о том, как и при каких обстоятельствах Раскольников подошел к дому, Достоевский отдаленно имел в виду правило, почти не знающее исключений и давным-давно известное полиции всех стран: какая-то воля действительно влечет преступника к месту его преступления. Что же это за воля?

Трудясь над «Преступлением и наказанием», Достоевский ни на минуту не забывал о «Пиковой даме» Пушкина. Герман услышал однажды рассказ Томского о старой графине, владеющей тайной трех безошибочно выигрывающих карт, и на следующий день вечером, бродя без цели по Петербургу, очутился в одной из главных улиц перед домом старинной архитектуры. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. — Графини (*). — Герман затрепетал». Что привело или, вернее, кто привел его к незнакомому дому? Никакого преступления Герман еще не совершал, а вот кто-то уже подтолкнул его к роковому дому, в котором и решится его страшная судьба. Все стихотворные и прозаические произведения Пушкина можно, за редчайшими исключениями, подвести под единую формулу: вторжение в существование человека сверхъестественных сил и многоаспектное рассмотрение того, что из этого получается. Об этом основном в произведениях Пушкина положении первым заговорил Ходасевич. Оно перешло по наследству к Гоголю и Достоевскому и так же стало в их творчестве основным.

Неведомая сила, овладевшая Германом, владела и Раскольниковым, она привела его, куда хотела, «что-то шепнула ему на ухо» и втолкнула в дом. Почему же, все-таки, на тот или иной лад, но влечет убийцу вернуться к месту преступления? Потерянную вещь ищут там, где ее потеряли. Не все зовут тяжкого преступника потерянным человеком — в языке есть веками накопившаяся мудрость. Впадая в смертный грех, мы теряем свою личность; тогда нас тянет к тому месту, на каком мы ее утратили. Тяга стра-

шная, потому что бесполезная. Можно отыскать вещь, но возможно ли найти невидимое, невесомое, духовное? И все же, — говорит поэт, — «Сам потерял, теперь ищи!»

Раскольников поднялся по лестнице до четвертого этажа. Дверь, ведущая в квартиру убитой ростовщицы, была настежь открыта. Слышались чьи-то голоса. «Недоумение взяло его...» Он вошел в квартиру. «Ему представлялось почему-то, что он всё встретит точно так же, как оставил тогда, даже, может быть, прутья на тех же местах на полу. А теперь: голые стены, никакой мебели; спранны как-то! Он прошел к окну и сел на подоконник». В комнатах было двое работников. Они оклеивали стены новыми обоями. Да, жизнь торопилась вперед, не останавливаясь, стремилась куда-то к неизвестной цели. Зато в убийце все остановилось, застыло. А крутом него все изменилось. «Вам чего-с?» — спросил старший рабочий. «Вместо ответа, Раскольников встал, вышел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук!» Один колокольчик не изменил живому мертвецу. «Прежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущение начинало всё ярче и живее припоминаться ему, он вздрагивал с каждым ударом, и ему всё приятнее и приятнее становилось». Почему? Не потому ли, что когда он только шел убивать старуху, тянулась для него жизни нить, пусть страшной, безобразной, но всё еще живой. Да, бесспорно. Но было в этом ужасном «приятнее и приятнее», что-то действительно демоническое, чувствовалась в нём какая-то черная радость греха. Сложен человек, не одолеть его глубины никакими «психоанализами».

По-видимому, Раскольников уже порешил про себя пойти в полицейский участок и во всем сознаться. На второй окрик работника — ...«Кто таков?» — он прямо и просто ответил вопросом: — «Пол-то вымьли; красить будут? Крови-то нет?» И когда удивленный работник снова крикнул ему в беспокойстве: «— Да что ты за человек?» — он ответил: «— Пойдем в контору, там скажу».

Раскольников стал медленно сходить по лестнице. Рабочие шли за ним. «Несколько людей стояло при самом входе в дом с улицы, плазая на прохожих: оба дворника, баба, мещанин в халате и еще кое-кто. Раскольников пошел прямо к ним».

Он чувствовал, что всё умирает в нём, что нет больше сил переносить одиночество, что надо подать весть о себе при ком-нибудь и хоть как-нибудь. Но весть у него была лишь одна: «Я убил!» Но как сказать это прямо? Ему казалось, что духовные нити, соединявшие его с людьми, были порваны все до единой. В этом он, может быть, не совсем ошибался.

«— Чего вам? — отозвался один из дворников.

— В контору ходил?

— Сейчас был. Вам чего?

...Раскольников не отвечал и стал с ними рядом, задумавшись». Его необычный вид, странный вопрос о конторе уже сами по себе могли возбудить смутные подозрения. Но когда, подошедшие вслед за Раскольниковым, работники рассказали, как приходил, он смотреть квартиру и заговаривал о крови, дворник нахмурился.

«— Да вы зачем в фатеру-то приходили?

— Смотреть.

— Чего там смотреть?

— А вот взять, да свести в контору! — ввязался вдруг мещанин и замолчал.

Раскольников через плечо скопил на него глаза, посмотрел внимательно и сказал так же тихо и лениво: — Пойдем!

— Да и свести! — подхватил ободрившийся мещанин. — Зачем он об том доходил, у него что на уме, а?» (подчеркнуто Достоевским. — Г. М.).

Ни мещанин, ни Раскольников не знали тогда, при каких обстоятельствах доведется им скоро встретиться. Оба они даже отдаленно не подозревали, какие тайные духовные нити соединяют их существования. Нет, заблуждался Раскольников, не все между ним и людьми было порвано!

Странный разговор с дворником и мещанином кончился тем, что второй дворник, опромный мужик в армяке нараспашку и с ключами за поясом, схватил Раскольникова за плечо и бросил на улицу.

«— Нечего связываться, — решил большой дворник. — Как есть выжиги! Сам на то лезет, известно, а свяжись, не развяжешься... Знаем!»

Для Раскольникова наступила минута страшного душевного опустошения, как будто все и всё в мире безвозвратно покинули его. Такой пустоты и такой темноты не в силах выдержать никто. Теперь на деле познал Раскольников всю правду слов Мармеладова: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!»

«Так идти, что ль, или нет?» — думал Раскольников, остановясь посреди мостовой на перекрестке и осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отозвалось ниоткуда; всё было глухо и мертво, как камни, по которым он сту-

пал, для него мертво, для него одного...» (подчеркнуто мною. — Г. М.).

На этом кончается воля самого Раскольникова; она неспособна больше привести его куда-нибудь, кроме полицейской конторы, да и то лишь по инерции, бессмысленно и бесчувственно. Кажется, дух глухой и немой восторжествовал над ним всецело. Но не одна природа не терпит пустоты — ее не терпит Бог. И когда кто-нибудь впадает в черное, мертвое, неподвижное отчаяние, тогда-то и вспыхивает для него неожиданно чудо бытия. Это знал наш великий поэт Тютчев, сам испытывавший неоднократно весь ужас духовной опустошенности, отчаяния, неверия и завещавший нам поистине бессмертные слова:

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса.
Есть нескучеющая сила,
Есть и нетленная краса.

Чудо всегда совершается неожиданно и внезапно. Так случилось и с Раскольниковым. К тому, чтобы сознаться в преступлении, он в глубине своей не был готов. Его душе предстояло еще испытать предварительно вторжение ангельских сил и пройти при содействии полусторонней злой воли через соблазн заплатательства.

Бытие трехпланно, и веяния из иных областей доходят до нас через посредников, через нас же самих, несущих друг другу нездешние вести и повеления. Их также доносит до нас безостановочный поток жизненных событий. На помощь Раскольникову спешила чья-то отходящая душа. «Вдруг, далеко, шагов за двести от него, в конце улицы, в сгущавшейся темноте, различил он толпу, говор, крики... Среди толпы стоял какой-то экипаж... *Замелькал среди улицы огонек* (подчеркнуто мною. — Г. М.). «Что такое?» Раскольников поворотил вправо и пошел на толпу. Он точно цеплялся за всё и холодно усмехнулся, подумав это, потому что уж наверно решил про контору и твердо знал, что сейчас всё кончится».

Но жизнь не считалась с мертворожденными решениями Раскольникова и поворачивала его к иному. Перед ним снова были люди и снова мерцал для него огонек в ночи. Последний пламенный отблеск уходящего солнца на окне отдаленной мансарды не унес с собой сердца несчастного убийцы, оно еще билось в нем, и он хотел жить. За черным хождением по мукам мерещился просвет, маячила какая-то искра и звала к себе.

ЛЕПОТА

Как в области искусства, так и в оценке формы жизни вообще, слово «красота» несомненно является одним из самых важных, коренных понятий.

Настолько неразрывно связано ощущение красоты с потребностью человека воспроизводить видимое и воображаемое, что все искусство можно назвать, употребив весьма избитую фразу, поисками красоты. Красоты как чего-то всеобъемлющего, всеоправдывающего и даже спасающего.

Следует, конечно, прибавить, что понятие «красота» — настолько обширное, что попытка перечислить все то, что человек считал и считает красивым (и почему считает), неизбежно завела бы нас в «дебри философии».

Тем не менее, есть один, и может быть даже единственный, способ избежать «дебрей» и все же определить красоту.

Для этого надо вспомнить следующее: несмотря на то, что в нашем современном языке мы пользуемся словами, первоначальный смысл которых или утерян или в значительной степени изменен, слова эти являются все же неотъемлемой частью нашего исторического духовного становления, и в подсознании нашем мы несем какую-то часть первоначального ощущения наших предков, создавших определенное слово для того или иного понятия или качества.

Особенно интересно поэтому остановиться на том слове, которое человек создал для обозначения наивысшей эстетической ценности.

Хотя это уже — область семантики, и она требует специальных познаний, в русском языке слово «красота» поддается анализу довольно легко.

Действительно, если после «красоты» поставить ряд употребляющихся слов и выражений того же корня, например, — «пре-

красное», «украшать», «красить», «красный цвет», то станет очевидно, что русская «красота» каким-то образом связана с цветом. Можно привести большое количество примеров, подтверждающих это особое, только славянам присущее цветовое ощущение красоты.

Перевод иностранцами «красной девицы» в качестве красной — принадлежит, конечно, к разряду анекдотов, но для человека, мало знающего русский язык, такое родство понятий кажется несомненно интересным и знаменательным. Мы, русские, к нему слишком привыкли.

Не только «красна девица», но и «писаная красавица» говорит о какой-то живописности и красочности. Описывая красоту женщины, русский человек всегда сначала видел цвет: белое лицо, румянец (кровь с молоком), черные брови, русая коса. Черты лица, структура его оставались на втором плане, не были главными.

Можно, наконец, упомянуть еще «красное солнышко», «красный угол» и даже перебрать все имеющиеся слова с корнем «крас». Во всех случаях смысл остается одним и тем же. Понятие «красота» связано со зрительным, цветовым ощущением. Русская красота есть красота цвета.

При желании в этом можно увидеть особую духовную ценность, особое светлое мироощущение, определенную тягу к свету и цвету. С таким же успехом можно, однако, указать и на известную ограниченность и поверхностность «красоты» как зрительно-то впечатления, не имеющего формы так же, как формы не имеет цвет и свет.

Тут может последовать возражение, — а как же воспринимать красоту, как не зрительно? Если же существуют иные истоки красоты, то в чем они заключаются?

Интересно для этого сравнить зрительное восприятие красоты и передачу его в слове у наших предков с «философией слова» у другого народа в древности.

Думается, что смысл красоты древнему германцу представлялся иным: «schön» — прекрасное и «schon» — уже, то есть что-то уже завершённое, законченное, происходят от одного общего корня «scōni» и сохраняют свою смысловую родственность с первоначальным понятием законченности.

Хотя современный немец употребляет слово «schön» в том же зрительно-поверхностном смысле, как и русский, — «красиво», «schöne Seele» (прекрасная душа) в понимании немецких романтиков представлялась как благородная законченность и целостность

эмоционального и духовного мира человека и никак не ограничена была эстетическим восприятием.

Собственно говоря, перевод «schöne Seele» как «прекрасная душа» неправилен. «Красота» и «Schönheit» не совпадают, если учитывать внутрененный смысл этих слов.

Желая подобрать более удачное прилагательное для перевода «schöne Seele», приходится в голову старое русское слово «благолепие». «Schöne Seele» никак не прекрасная душа, а скорее душа благолепная, сформированная благо, достойно, этически совершенно. В современном языке выражение «благолепная душа» звучит, конечно, странно, хотя и правильно по смыслу. На этой правильности смысла и хочется немного остановиться.

Наши предки, помимо зрительной, цветной красоты, знали и другую красоту, красоту духовную, и называли ее «лепота».

«Богово лепо, а вражье нелепо», говорилось в старину, то есть Богово полно смысла и содержит в себе абсолютное совершенство, в то время как вражье (нечистое) нелепо, абсурдно и противно всему живущему. Во многих славянских языках слова того же первоначального корня «леп» до сих пор означают «лучший», «благой», «достойный».

«Лепота», таким образом, есть красота одухотворенной формы и совершенной духовной логики.

К сожалению, от «лепоты» в современном русском языке осталось всего несколько слов.

«Великолепие» по смыслу стало сейчас близким к «прекрасному», являясь лишь высшей, богатейшей степенью того же качества.

«Благолепной» мы называем (вернее, называли) церковную службу. Можно ли службу назвать «красивой»? Можно, но это, плавным образом, — ризы и подсвечники, истовость же молитвы, стройность и торжественность песнопений — это уже «благолепие».

«Красивым» богослужение могло казаться скорее всего горожанину-интеллигенту, простой русский человек всегда предпочитал «благолепие» и был абсолютно прав.

«Нелепость» и «нелепый» сохранили еще что-то от «нелепоты», но сейчас употребляются только в смысле логического абсурда, без тени антидуховного или антибожественного.

Возможно, что наиболее интересным словом того же корня является глагол «лепить», дающий нам еще один аспект «лепоты», а именно — ее своего рода глубину, трехмерность. Скульптор из глины «лепит» форму, создает целое, синтез. Поэтому, может

быть, Бог-Отец «лепил» Адама, а не ваял. Ваяние — процесс обратный, процесс уничтожения лишнего из данной массы камня, а не созидание нового из праха.

Недаром скульптура считается многими наиболее «трудным» из искусств, требующим не только большой зрелости художника, но и зрелости нации.

Трехмерность скульптуры, то, что она должна быть логически безупречной с любого угла зрения, требует большого чувства формы, то есть, в переводе — целостного мироощущения, проверенных и выношенных эмоциональных и духовных пропорций.

И не потому ли наблюдаем мы в современном искусстве такое изобилие «плоских скульптур», сделанных из жести, проволоки или скomпанованных из данных уже (и машинной произведенных) форм — металлических предметов, досок, даже винтов и гаек? Не выражается ли в этом вся нестройность нашего века и неспособность к глубине?

Мы видим, таким образом, что понятие «лепоты» неизмеримо выше «красоты» и, будучи близким к первоначальному смыслу немецкой «Schönheit», превосходит последнюю своей духовной логикой, этикой и даже пластикой («лепить»).

В нашем языке мы обладали этим словом, соединявшим в себе основы этики и эстетики и содержащим еще творческий, динамический элемент.

Для русского искусства, в течение нескольких столетий засоренного поверхностным подражанием западной живописи, с одной стороны, и социальной программностью — с другой, понятие «лепоты» должно быть особенно дорого.

Несомненно трагична гибель «лепоты» и победа над нею «красоты» как в языке, так и в искусстве.

Есть ли в этом извечный трагизм Руси, всегда в какой-то момент истории срывавшейся (или сорванной) с пути естественного и «благоразумного» развития; или же просто необъяснимая, но совершенно логическая эволюция в сторону меньших ценностей, наблюдаемая повсеместно; или же, наконец, своего рода зимняя спячка — до «лучших времен»? Об этом можно спорить.

Во всяком случае, «прекрасное» довольно мало дало России. Зато «благолепие» — неотъемлемая часть лучшего в русском искусстве, именно — иконы и церковной архитектуры. Так же как и богослужение, икона и церковь не могут быть названы «красивыми». Если же они красивы, то плохи.

Хотя это и может звучать парадоксально, но есть некая связь между «красотой», «красным солнышком» и всем вообще «крас-

ным» и явным пристрастием русских пейзажистов к восходам, закатам, туманам и опсветам.

На Западе импрессионисты все же основывали свою живопись на логической теории цвета и оптического эффекта, у нас же все покоилось на эмоциональном воздействии, на настроении, на «красоте».

Можно ожидать, что у «красоты» найдутся защитники, и такая суровая расценка ее будет сочтена примитивной и пристрастной. Тем более, что у русской «лепоты» есть один провал, одно пустое место. Это — отсутствие в России скульптурной традиции, которая, казалось бы, должна была быть у нас чрезвычайно крепкой и органической, исходя из трехмерности лепоты — лепки.

С другой стороны, «красота» цветет сейчас на Западе особенно «не-лепым» цветением. Один из крупнейших французских импрессионистов Клод Моне, умерший в 1926 г., признан сейчас в своих последних работах провидцем популярного ныне абстрактного импрессионизма, то есть «красоты» даже без логики предметных или абстрактных очертаний, а просто хаоса цветовых пятен и света.

«Красота», следовательно, не исключительно наш национальный прех.

Однако, именно это возрождение цветовой, зрительной и чисто эмоциональной (даже примитивно эмоциональной) «красоты» на Западе может послужить еще одним доказательством ее конечной неполноценности или, во всяком случае, односторонности. Мир, в конце концов, есть форма, и Бог, создавая Адама, создал форму, форму «благолепную».

Что же касается отсутствия в России скульптурной традиции, то объяснением этому является специфика православия, отрицающего всякое объемное, лепное изображение Бога как слишком вещественное, материальное, а поэтому недуховное.

Можно в какой-то степени сказать, что славяне, крестившись и утопив идолов своих, утопили и возможность скульптуры на все последующие столетия. Но в этом было и великое спасение. Останься у нас скульптура, мы вряд ли избежали бы соблазна физического третьего измерения и давно занялись бы уже анапомией, перспективной и реалистической светотенью.

Это дало бы нам естественный переход от религиозной живописи к светской, но вызвало бы несомненное обмирщение и материализацию искусства, как случилось это на Западе.

Православие же наше сохранило «лепоту» в плоскости ико-

ны, не даю «лепоты» целиком перейти в «лепку», и третье измерение у нас всегда было духовным.

«Лепили» у нас не Бога, а горшки. Бога же изображали «благолепно», а если уж употребляли слово «красота», то предпосылали ему определение — «божественная». Именно поэтому икона осталась иконой и стоит совершенно особю, сохранив себя в канонах и не допуская никакой мирской живописности и глубины.

И тем не менее, «красота» одолела «лепоту», а с Запада пришла и «лепка», причем не в лучшем, а в худшем ее виде, в виде светской реалистической традиции. Трагедия крупного и очень религиозного русского художника середины прошлого века Александра Иванова, двадцать лет писавшего картину «Явление Мессии народу» (картину неудавшуюся), заключалась в том, что он пытался изобразить духовное мирскими приемами, хотел создать «благолепие» реалистической «лепкой». Он работал и не по-русски, и не по-западному (в лучших традициях западной религиозной живописи), а брал принципы «красоты» и «лепки», того самого печального соединения, которому суждено было, в конце концов, восторжествовать в России в такой мере, что сентиментальный реализм считается сейчас на Западе чем-то специфически русским.

А было ведь когда-то почти наоборот. Когда западная Мадонна становилась уже «красивой», русская Богоматерь оставалась Матерью Божией, без тени мирского и женского.

В результате, русской национальной живописью в мировом масштабе осталась все же икона, то есть «благолепие», «лепота».

«Красота» же, «прекрасное», «красна девица» и прочее не возвысились (и не могли возвыситься), не имея в сущности своей духовности, логики и формы.

Было бы радостно думать, что «лепота» когда-нибудь возродится. Но историю не повернуть вспять. Должны сначала произойти какие-то духовные сдвиги.

Оправдание духа

(Против духоморов)

Можно ли оправдывать дух? Не духом ли оправдывается всякая плоть? Иначе у нас не возникал бы вопрос о смысле жизни, который предполагает, что жизнь, даже «в свое удовольствие» — не самодостаточна, что она должна быть одухотворена — просвещена светом истины, добра, красоты. О, конечно, жизнь и сама по себе есть великая ценность, и, не любя жизни, вряд ли можно желать просвещать ее. Но вся история человечества свидетельствует, что человек не может удовлетвориться одним самопотешением, что ему свойственно ставить себе цели, далеко выходящие за рамки биологической и даже психосоциальной жизни. Как говорил Гегель, дух использует в своих целях человеческие страсти и честолюбия, и в этом заключается «хитрость разума».

Помимо того, в жизни редко кому удается «самопотешаться». Нас слишком часто постигают неудачи, разочарования и страдания, которые заставляют даже легкомысленных людей задумываться над вопросом о смысле жизни.

Человек, хочет он этого или не хочет, есть существо не только биологическое, и не только социальное, но прежде всего существо духовное, не могущее жить без стремления к познанию, без нравственного или юридического закона, без жажды красоты и — самое главное — без религии.

Все это, казалось бы, общие места. И, тем не менее, за последнее время все явственнее обозначаются признаки отрицания духовного начала в человеке, стремление освободиться от бремени «духа», ради вящего утверждения «жизни» — стремление к эмансипации тела от души, и души — от духа. Это, конечно, уже более не стремление вернуться в лоно матери природы. Современный человек вряд ли захочет отказаться от всех удобств, которые предоставляет ему современная индустриальная цивилизация, привычка к которой вошла в наши рефлексy. Это, скорее,

стремление снять с себя ответственность за свою судьбу, стремление раствориться в «работе», в социальных функциях, оставляя за собой «частную жизнь» лишь для отдыха и развлечений.

Ранее считалось естественным, что «жизнь» должна оправдывать себя перед «духом», перед религиозными и моральными ценностями. Теперь положение перевернулось. Теперь «духу» то и дело приходится оправдывать себя перед «жизнью», — доказывать свою жизненность, свою социальную или политическую полезность.

Это восстание против духовного начала в человеке проявляет себя в тысяче признаков. Коммунисты опкороенно стремятся создать безбожную цивилизацию — вплоть до гонений на религию и стремления превратить человеческую личность в послушный, хотя и автоматически-активный «винтик» своего социального механизма. То царство человеческого муравейника, кошмар которого преследовал Достоевского, строится теперь на наших глазах в странах, находящихся под властью «Великого брата» и его меньших сподвижников.

Бунт против духовного начала в человеке был вызван рядом пороков самого «духа». — Церковь там, где она занимала господствующее положение, слишком часто становилась на сторону «власть имущих», оставаясь глухой к требованиям социальной справедливости. Блага культуры — материальной и духовной, — были слишком часто привилегией тонкого слоя, близкого власти имущим меньшинства. Протестом против этих нарушений социальной и экономической справедливости и «взгляда сверху вниз» «элиты» на «массы» и было вызвано то «восстание масс», о котором столь проникновенно писал Ортега и Гассет.

Неверно, конечно, было бы сводить большевизм к разновидности этого «восстания масс», одержимого ressentimentом. Большевизм, в первую очередь, вырос из мании тоталитарной власти. Но эта мания власти нашла свою благодарную почву в исполненном ressentimentа «восстании масс» — в массовой психологии. Ressentimentом же (уже не столько социального, сколько национального характера) объясняется временный успех другой формы властомании — германского национал-социализма и итальянского фашизма.

Существует, конечно, диапазон между положением дел в коммунистических странах и в демократиях. На Востоке «дух» находится на услужении у «злой» жизни, у прихотей и зигзагов генеральных линий, одушевляемых, в последнем счете, все той же властоманией и страхом потери власти. Не может быть, конечно,

сомнения в том, что этот бунт против духовного начала производится силами того же духа, обнаружившего свою изнанку, но это — особый вопрос, который мы затронем в конце статьи.

Нет сомнения также в том, что на Западе дух свободен. На писателей, философов, художников не оказывается никакого давления со стороны власти имущих. Но и здесь произошла своего рода «девальвация» духовных ценностей, которые стали цениться прагматическим критерием их массовой «потребляемости». Приноровление ко вкусам толпы считалось еще недавно главным средством завоевания популярности у масс — коммерческой или политической.

Для того, чтобы «материализоваться», — получить общественное признание, дух должен приспособляться ко вкусам большинства. Эта «коммерциализация» духовных ценностей достигала иногда шокирующей степени, особенно в Америке двадцатых или даже тридцатых годов. К настоящему времени положение на культурном фронте изменилось значительно к лучшему, прежде всего потому, что уровень «среднего класса» значительно повысился. Элите (часто посмертно) удавалось — таки оказать благотворное влияние на «массы», что, между прочим, приводит к замене масс — общественностью, «публикой».

Тем не менее, в области духовной — научной деятельности (без шансов непосредственного применения на практике), и, особенно художественного и философского творчества — коммерциализация и невольное частичное «обобществление» творчества дает себя знать и на Западе. Ученый, например, большей частью должен включаться в осуществление разного рода исследовательских «проектов», где темы, а зачастую и методы, разработаны заранее, и не всегда специалистами. В лучшем случае он должен состоять «при университете», где педагогические и административные обязательства, как правило, дают ему мало возможностей для личного творчества. Бюрократия, отчетность и «репрезентативность» из нормальной роли средства все более превращаются в самоцель, что связано с общей тенденцией обращать всё более внимания на процедурную сторону дела, и всё менее — на сами творческие ценности.

В результате, духовная жизнь, вернее, критерии ее оценки, все более механизмируются, и недаром тенденция заменить мыслящий разум электронной машиной стала одной из модных утопий нашего времени. Что же касается утопий, то не мешает вспомнить слова Бердяева, сказавшего, что самое ужасное в утопиях, — их

осуществимость (конечно, путем искажения первоначального замысла утопий).

Одним из корневых проявлений этой тенденции к вытеснению духовного начала является то, что можно назвать «обездуховлением интеллекта». Ибо интеллект, лишенный духовного руководства, может стать столь же слепым, как и машина, лишенная руководства инженера.

Современная интеллектуальная культура характеризуется невиданным прежде накоплением знаний и всё растущей специализацией, с одной стороны, и всё большей утратой мудрости, с другой. Если в прежние века мудрость и знание считались почти синонимами, то теперь слишком часто мы наблюдаем обратное — из знания все более выправляются элементы мудрости, и мудрости отказывается в праве быть знанием. О том, что это не голословные утверждения, свидетельствуют сами тенденции современной философии. В современном логическом позитивизме (наиболее показательном направлении), например, единственно достоверным считается описание фактов и их логической структуры, в современном прагматизме — лишь гипотезы, оправдывающие себя на непосредственном опыте, считаются истинными, а основатель феноменологии Гуссерль прямо предлагает устранить мудрость из философского обихода. Мудрость потеряла свой быллой престиж в общем интеллектуальном обиходе современности, — и стремление к автоматизации знания получило свое яркое выражение в современной «кибернетике», одушевляемой идеей создания «мыслящей машины».

Но под этим, «сознательным», слоем кибернетики скрывается иной, «подсознательный» ее слой, заключающийся в стремлении автоматизировать само знание — превратить человека в существо с «электронными мозгами». Яснее всего эта тенденция проступает у Норберта Винера, прямо утверждающего, что он не видит принципиальной разницы между электронной машиной и человеческим мозгом.

Это стремление весьма характерно для нашей эпохи. Ибо всякое стремление выправить элементы мудрости из знания поневоле приводит к «автоматизации» знания, к его разложению на интеллектуальные «рефлексы».

В том, что между положительным знанием и мудростью отнюдь не существует параллелизма, можно убедиться из простых примеров. Сократ, Будда или Конфуций, без сомнения, были мудрецами. Однако они не обладали и сотой долей тех положительных знаний, которыми обладает современный университетский

профессор. И обратно — большинство профессоров и технических специалистов, обладая несомненными знаниями, не обладают и той долей мудрости Конфуция или Сократа.

Конечно, мало кому дано быть Конфуцием или Сократом. Но беда заключается в том, что сам элемент мудрости, который только и сообщает знание его человеческую полноценность, — все менее ценится в условиях современной сверхиндустриальной культуры. Ибо мудрость предполагает созерцание как свою «питательную среду»; при современных же «американских» темпах работы и жизни для созерцания остается все менее времени. Созерцание есть частичное, временное приобщение вечности, и мы созерцаем всегда «суб specie этернитатис». Но современный человек не имеет времени для вечности, ибо он думает, что перед ним — бесконечность времени, если не в его личной, то в «коллективной» жизни.

Именно в силу того, что человек есть врожденно существо духовное, стремление «изгнать» дух из жизни заранее обречено на неудачу. Борьбаться с духом можно лишь силами самого духа, подобно тому, как борьба с религией всегда вырождается в подмену истинной веры той или иной формой идолопоклонства.

Но человек может весьма «преуспеть» в подмене истинной духовности, — ее ложными, извращенными формами. Он может «преуспеть» в порче духовного начала в нем. Разительный пример этого — практика современного коммунизма. Отрицая дух (религию, общечеловеческую мораль, чистое искусство), коммунисты сами в высшей степени дисциплинированы и умеют подчинять свои личные интересы целям абстрактного характера (идеал построения коммунизма). Последовательный коммунист — по своему жертвенен, он — дисциплинированный слуга зла (поскольку цель коммунизма — создание нового человека «без морали и религии», который субъективно-свободно ощущал бы свое объективное рабство).

Именно поэтому ложно направленной, и поэтому извращенной, духовности коммунистов необходимо противопоставить подлинную духовность и служение высшим ценностям, предполагающим не только жертвенность, но и духовную свободу.

Дух оправдывает себя достижением власти над душой и телом. Дух, овладевший стихией «жизни», просветивший ее изначально темную стихию светом добра, истины, красоты, не нуждается в оправдании, ибо он оправдывает жизнь. Но дух, узурпировавший данный ему свыше божественный огонь для достижения враждебных изначально природе духа целей, дух, насилую-

щий стихию живой жизни ради мании тотальной власти — такой отчуждившийся от себя дух есть злой дух. И если этот злой дух овладеет миром, атомное взаимоуничтожение человечества или осуществление царства всечеловеческого муравейника будет только материальным воплощением того самоосуждения, того «духоморства», которое несет в себе злой дух.

Злой дух овладевает человеческой волей не автоматически, а посредством соблазнов, сводящихся к той или иной форме голого самоутверждения непретворенной самости. Из этих соблазнов особенно важную роль в наше время играет мания тотальной власти — над телами и душами людей. Но понятие «соблазна» предполагает наличие элементов, *могущих* соблазнить, то есть «*прельстить*» человека. В злом духе, по определению, содержится духовность, хотя и извращенная. Идея построения совершенного общества — сама по себе возвышенная цель — может играть роль такого эффективного соблазна. Ибо, если в этой возвышенной идее не содержится идея человеческого достоинства и богопочитание, она неизбежно вырождается в «бесчеловечную идеологию», в идеологическую одержимость, дающую видимость оправдания садистическим подспудным импульсам, в которых и проявляется непретворенная самость.

В борьбе против злого духа безнадежно полагаться на бездуховные элементы «выгоды», «материального интереса», даже «повышения личного статуса», вообще на материальные или чисто эгоцентрические средства борьбы. Ибо дух превозмогает — и в борьбе между материальными интересами (даже самыми угонченными) и злым духом, победа останется, в конечном счете, за злым духом.

Злой дух может быть преодолен только силами духа добра. Поэтому та эвдемонистическая, утилитарная «философия жизни», которая составляет неофициальную жизненную философию современного Запада, может не выдержать смертельной схватки с силами организованного, дисциплинированного зла. Свобода, не освященная служением Добру, становится беспочвенной и «неприкаянной». Пустота такой свободы будет инстинктивно искать любого наполнения. И если не наполнить ее духом служения высшим ценностям, свобода эта неизбежно будет наполняться злым содержанием.

Если духу, как это часто бывает, придется и далее влачить роль получающего скудные подачки приживальщика, и если его будут признавать только в меру его потакания цекотанию интеллектуальных нервов средне-высшего класса (хотя бы находяще-

гося в большинстве), то эта средне-высшая псевдо-элита лишится своей духовной опоры и будет, в конечном счете, «опролетаризирована», а то и «ликвидирована как класс» силами злого духа.

В наше время, повторяем, появляются некоторые признаки того, что на Западе будет произведена переоценка ценностей в направлении утверждения духа, и что эта «революция духа» будет произведена эволюционным путем. Тогда дух снова займет — и на высшей ступени — то верховное положение, которое ему причитается по его врожденному «статусу». На высшей ступени, — ибо теперь может быть полностью учтен опыт свободы, и «жизнь» подчинилась бы духу, свободно признав его ценностный приоритет.

Для этого нужны как воля «жизни» к ее одухотворению, так и воля «духа» к его реальному воплощению.

Если этого не произойдет, то презирающие или лишь терпящие «дух» станут невольными слугителями и рабами злого духа.

Внешняя политика Московской патриархии

(за 1960 год)

Церковная политика — фактор совершенно реальный в жизни Церкви и любой церковной организации — весьма многогранна¹). К ней относятся прежде всего внешняя политика Церкви, сводящаяся к ее отношению к тем или иным событиям международной жизни, к возможному прямому или косвенному участию в них и к взаимоотношениям с другими Церквями, исповеданиями и религиями. Таким образом, область церковной деятельности, называемая нами внешней политикой Церкви, имеет как бы две стороны: одна прицерковная, связывающая Церковь с международной жизнью, в целом, с жизнью «мира сего», и вторая — собственно церковная, определяющая взаимоотношения между отдельными независимыми Церквями, исповеданиями и религиями. Но эта «прицерковная» сторона внешней политики, т. е. не относящаяся к собственно церковной жизни, тоже необходима и даже входит часто органическим элементом в жизнь Церкви. Это — мост, соединяющий Церковь с наиболее напряженной и ответственной областью жизни человечества и через который на последнюю должно передаваться церковное влияние, или, по меньшей мере, выявляться отношение Церкви к ней.

Такова принципиальная постановка излагаемого вопроса. Что же касается Московской патриархии, то область ее внешней политики (если таковая, строго говоря, у нее существует, а не заменяется неким принудительным суррогатом), является наиболее

¹) Области церковной политики: внешняя политика, внутренняя политика (характеризующие взаимоотношения и сотрудничество патриархии с советским государством), внутрицерковная политика (взаимоотношения с автокефальными Православными Церквями), конфессиональная политика (взаимоотношения с другими религиями). Внутрицерковная политика в свою очередь делится на *внешнюю* и *внутреннюю*. Первую из них мы также рассматриваем в нашей статье.

острым вопросом, связанным с бытием Русской Православной Церкви в СССР. Ничто не вызывает таких разногласий и острых суждений, как именно ее церковная политика, прежде всего, *внешняя, обращенная к свободному миру, а затем и внутренняя, в части ее взаимоотношений с диктатурой*. Мы знаем также, что диапазон суждений о Московской патриархии и подведомственной ей Церкви как в иностранном мире, так и в российском зарубежье, весьма велик. Он находится в пределах от полного непризнания плененной Церкви как Церкви вообще, с отрицанием ее благодатности, до абсолютного сочувствия, дружеских взаимоотношений и полного ее признания. Между этими двумя полюсами лежит обширный ряд суждений, часто весьма неопределенных, а также та, как нам кажется, объективная точка зрения, которая была высказана некоторыми православными кругами свободного мира²).

Думается, что разнообразие в суждениях и отношениях к Московской патриархии имеет своим источником также и недостаточную осведомленность о том, что в действительности происходит в Русской Православной Церкви и в других христианских исповеданиях и религиях в СССР. И отнюдь не общие заключения, часто вынесенные на основании тех или иных эмоционально-окрашенных впечатлений (также иногда слишком «общих»), могут дать приближающуюся к действительности картину там происходящего. Лишь совершенно объективный анализ имеющихся в наших руках данных, прежде всего печатных, официальных (к сожалению, ограниченных советской цензурой) и неофициальных, попадающих различными путями в свободный мир, может приблизить нас к оптимальному решению задачи — выявить обоснованное и беспристрастное суждение о деятельности Московской патриархии. И именно поэтому в настоящей статье рассматривается сторона деятельности плененной Церкви, возбуждающая наибольшее количество высказываний и являющаяся во многих от-

² Примером такого суждения, близкого к объективности, может служить следующий отрывок из брошюры епископа Иоанна «Пути Американской Митрополии»: «Нас совершенно не нужно уверять, что «Русская Церковь так свободна, как никогда еще не была в истории», или, что ее «нет», а на ее месте стоят «слути антихриста»... Мы имеем возможность знать о Русской Церкви правду, а также и то, что *ни одно из этих двух утверждений правды не имеет*» (Стр. 4). См. также статью того же автора «Ведем ли мы переговоры с Московской патриархией?» (О нашей позиции. По поводу выступления митрополита Бориса), опубликованную в бюллетене «Церковная Жизнь» (Сан-Франциско, сентябрь 1960), а также в газетах «Новое Русское Слово», «Русская Мысль» и др.

ношениях весьма показательной. Как уже говорилось выше, в данном случае имеется в виду *внешняя* (и отчасти внутренняя) *политика* Московской патриархии, характеристику которой за последний год мы и постараемся дать в этой статье.

Обратимся же к фактам, которые помогут нам выяснить некоторые принципиальные позиции Московской патриархии в области интересующего нас вопроса.

Перед нами весьма показательный во многих отношениях документ: текст речи патриарха Алексия, произнесенной им на Конференции советской общественности за разоружение, состоявшейся 15-16 февраля 1960 г. в Москве, в помещении Кремлевского театра. От Русской Православной Церкви на ней присутствовали Святейший патриарх Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай и протопресвитер Н. Колчицкий.

Вот что сказал патриарх:

«Мои устами говорит с Вами Русская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных христиан — граждан нашего государства...

Как свидетельствует история, это есть та самая Церковь, которая на заре русской государственности содействовала устроению гражданского порядка на Руси, укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, воспитывала в людях чувство ответственности и долга и своим законодательством нередко восполняла пробелы государственного закона.

Это — та самая Церковь, которая создала замечательные памятники, обогатившие русскую культуру и доньше являющиеся национальной гордостью нашего народа.

Это — та самая Церковь, которая в период удельного раздробления русской земли помогала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как единственного церковного и гражданского средоточия русской земли.

Это — та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений.

Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа зерой в грядущее избавление, поддерживая в нем чувство национального достоинства и нравственной бодрости.

Это она служила опорой русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы Смутного времени и в Отечественную войну 1812 года. И она же оставалась вместе с народом во

время последней мировой войны, всеми мерами способствуя нашей победе и достижению мира.

Словом, это — та самая Русская Православная Церковь, которая на протяжении веков служила, прежде всего, нравственному становлению нашего народа, а в прошлом — и его государственному устройству»³⁾).

Что можно возразить против этих слов патриарха Алексия? В них сказана чистая правда о роли и значении Церкви в истории развития российского государства. Больше того, они звучат погрязаяще, если вспомнить, где они произнесены! А звучали они в Москве, в сердце диктатуры, в московском Кремле, перед весьма значительным количеством людей. Мы не будем гадать о том, что переживал патриарх Алексий, когда он произносил свою речь в Кремлевском театре. Не будем говорить и о тех или иных скрытых или явных факторах, определивших подобное направление речи патриарха. Это иной вопрос. Нас интересует другое: что правда о Церкви Православной, взятая хотя бы лишь в историческом аспекте, прозвучала отнюдь не с церковной трибуны и преломилась при этом в сознании присутствовавших советских граждан, быть может, никогда ничего не слышавших об этой правде и знавших о Православной Церкви лишь из невежественных и лживых антирелигиозных брошюр. Какое же реальное значение имеет произнесенное с подобной трибуны? Оно определилось не только тем, что слова патриарха могли дойти до сознания *слушавших* его, но и тем, что произнесенное с официальной трибуны подобной конференции тем или иным способом доходит до *миллионов* людей. В этом смысле подобные выступления играют колоссальную роль и даже создают в стране определенный «климат» вокруг церковного вопроса.

Приведем пример. Около года назад в Буэнос-Айрес приехала группа советских ученых, выполнявшая какое-то задание Академии Наук СССР. Во время их пребывания в городе с ними установили контакт местные российские эмигранты. В беседе с одним из ученых зашел разговор о религии в СССР. Он заявил, что человек он — абсолютно неверующий и не имеющий никакого отношения к этой стороне жизни его родины. Весьма отрицательно отозвался он о деятельности различных нецерковных религиоз-

³⁾ «Конференция советской общественности за разоружение. Речь патриарха Московского и всея Руси Алексия». Журнал Московской Патриархии № 3, 1960, стр. 33-34. В дальнейших ссылках мы будем сокращенно обозначать журнал Московской Патриархии — ЖМП.

ных организаций в СССР, имея, очевидно, в виду секты. Вместе с тем он подчеркнул, что с громадным сочувствием и симпатией относится к Русской Православной Церкви, к ее деятельности, ибо, по его мнению, Православие это нечто исконно русское, лучшее, что мы имеем, оно — как бы подлинное лицо нашей родины...

Таков факт, и можно полагать, что мы не ошибемся, если свяжем подобного рода высказывания с выступлениями представителей Церкви в СССР.

Но это только одна сторона вопроса. Речь патриарха, равно как и других представителей Московской патриархии, содержала в себе отчетливо выраженные разнородные элементы. И если часть речи говорила о правде церковной, то этого никак нельзя сказать о других местах выступления патриарха. Заканчивая обзор исторической роли Русской Православной Церкви, патриарх Алексей перешел к современной деятельности Церкви после окончания Второй мировой войны и, в частности, к ее роли в так называемой «борьбе за мир». И здесь началось то, что при самом снисходительном отношении не может быть приемлемо для православного церковного сознания.

Патриарх сказал:

«Неизменная в своих упованиях Русская Православная Церковь и теперь с неослабевающей ревностью поддерживает предложение Советского правительства о всеобщем и полном разоружении, оценивая недавно принятый закон о сокращении вооруженных сил как самое яркое доказательство мирных стремлений нашего народа»⁴⁾.

Ясно, что подобное высказывание, равно как и многие другие в речи патриарха, не может быть расцениваемо и рассматриваемо в рамках нормальных взаимоотношений Церкви и государства по ряду причин:

1) Нормальные взаимоотношения, утверждаемые Церковью, не могут быть распространены на коммунистическую диктатуру как на государственную власть, активно и принципиально безбожную, и в течение всего своего существования стремящуюся ликвидировать Церковь и все связанные с ней «религиозные пережитки». Церковь — средоточие христианского начала — не может протягивать руку началу антихристианскому, стремящемуся разрушить и уничтожить христианство, насадить в народе абсолютное безбожие. В лучшем случае, становясь на чисто практическую почву, мы можем допустить только абсолютный нейтралитет

⁴⁾ См. там же, стр. 34.

Церкви во всех политических и праздничных вопросах, при активном отстаивании своих исконных прав в области духовного окормления верующих.

2) В этом выступлении патриарха заметны явные двусмысленности, которые с одной стороны направлены против власти, а с другой — на поддержку очередной лжи советского правительства.

Двусмысленностями полны официальные выступления представителей Московской патриархии. Совершенно прав патриарх, когда он говорит «о мирных стремлениях нашего народа», реально существующих на фоне лихорадочного вооружения диктатуры, стремящейся к совершенно определенным и плохо скрываемым целям в области мировой политики, достигаемым отнюдь не мирным путем. Но кого имеет в виду глава Русской Церкви: народ, противопоставляемый своему правительству в этих стремлениях, или под «мирные стремления народа» подводятся не только подлинные желания народа, но отождествляются они с целями и желаниями диктатуры, ничего общего с народными не имеющими.

Что же касается так называемого «советского сокращения вооруженных сил», то едва ли стоит этот вопрос рассматривать. Советское разоружение — это ложь, в данном случае прикрываемая омофором патриарха Алексия.

Надо лишь отметить, что выступления патриарха на эти темы наиболее сдержанны. В них есть много справедливого и правильного, обращенного ко всему миру и ко всем верующим людям. Если разобраться по существу в его далеко не частых общественных выступлениях, подобных приведенному, можно в них усмотреть самые различные элементы.

Приведем еще пример из его выступления:

«И теперь мы представляем здесь Русскую Православную Церковь с той целью, чтобы выразить ее всецелую поддержку мирных стремлений нашего народа и помочь устранению всех поводов и причин, могущих вызвать новый военный конфликт, ибо для нас, церковных людей, война является грубым и преступным извращением нашей христианской веры и тяжким поруганием заповеди Христа Спасителя о всепрощающей любви»⁵).

Что можно возразить против этого? И лишь неизбежный в условиях СССР элемент двусмысленности заставляет с известной осторожностью подходить к оценке приведенного заявления. Несомненно одно: патриарх весьма сдержан в подобного рода вы-

⁵ См. там же, стр. 34.

ступлениях. Но известная его сдержанность с избытком компенсируется на страницах того же номера «Журнала Московской Патриархии» перепечаткой из «Известий» документов конференции советской общественности за разоружение, в которых до небес превозносится закон о сокращении на одну треть советских вооруженных сил как акт миролюбия советского правительства.

Отмеченная выше сдержанность выступлений патриарха «исправляется» также выступлениями других сотрудников Московской патриархии. Среди них первое место в продолжение многих лет занимал митрополит Николай Крутицкий, голос которого настойчиво звучал все эти годы, с избытком напоминая о необходимости неуклонно выполнять условия унии, заключенной с диктатурой. Голос этот недавно смолк. По данным, исходящим непосредственно от представителей Московской патриархии, находящихся за рубежом, митрополит Николай ушел в отставку, в связи с серьезным сердечным заболеванием, и находится на излечении в Сухуме. По иным данным, дошедшим до нас, митрополит Николай попал в опалу со стороны диктатуры и освобожден от занимаемых им должностей по требованию власти. Его «уход», возможно, справедливо связывается некоторыми со снятием Г. Г. Карпова и заменой его В. А. Куроедовым на посту председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР. Одно время усиленно циркулировали слухи о смерти митрополита Николая, но оказались неверными. Прекращение деятельности митрополита Николая не изменило ничего во внешней политике Московской патриархии⁶). Общий характер большинства выступлений ее сотрудников остается тем же. Курс двусмысленностей и хронической лжи продолжает стоять во главе угла всех печальных выступлений Московской патриархии в области внешней политики. Приведем несколько примеров, наиболее ярко характеризующих сказанное нами.

Как известно, все внешне-политические выступления патриархии проводятся под флагом так называемой «защиты мира»:

⁶) Председателем Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии, вместо митрополита Николая, был назначен епископ Подольский (ныне Ярославский и Ростовский) Никодим (Ротов). Епископ Никодим родился в 1929 г. Среднее и высшее богословское образование получил заочно. В священном сане с 1949 г. Был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме. Епископ с 1960 г. В политическом отношении является таким же последовательным сторонником унии с властью, как и митрополит Николай. Обращает на себя внимание его скоропалительная церковная «карьер».

Ложь

«Святейший патриарх... обратился к главам автокефальных православных церквей с призывом высказать свое отношение к предложению Правительства Советского Союза о всеобщем и полном разоружении. В момент прояснения мировой обстановки, предложение это оказалось гигантским шагом вперед, и начин Советского правительства история признает величайшей заслугой перед человечеством».

«...Советское предложение разоружиться звучит для всех как единственный путь к спасению»⁷⁾.

«Мы полностью поддерживаем заявление Н. С. Хрущева в Париже о позорном поведении правительства США в отношении Советского Союза!

Я позволю себе выразить уверенность в том, что... руководители США осознают всю бесчестность своих поступков и сделают возможным в свое время это совещание на высшем уровне»⁸⁾.

«Американо-японский договор оказался новым проявлением агрессивной линии поведения, не позволившей осуществиться надеждам человечества на умиротворение»⁹⁾.

«Однако поборники «холодной войны», сторонники разжигания ненависти народов друг ко другу, пользуясь находящейся в их руках властью, и часто кощунственно ссылаясь на слова Священного Писания, делают все для них возможное, чтобы сорвать или ослабить реальные намерения и действия миролюбивых сил, чтобы любыми средствами обострить международную обстановку...

Глубокую тревогу вызывает деятельность Ватикана, который, попирая всякие нормы христианской морали, пренебрегая евангельским учением, вносит в жизнь народов не мир, но разделение»¹⁰⁾.

⁷⁾ А. Казем-Бек. «И перекуют мечи свои на орала...» ЖМП № 1, 1960, стр. 49.

⁸⁾ Митрополит Николай. «Речь на собрании советской общественности г. Москвы (18 мая 1960 года)». ЖМП № 6, 1960, стр. 57 и 58.

⁹⁾ А. Львов. «Надежда народов». ЖМП № 7, 1960, стр. 21.

¹⁰⁾ «Мир и Православная Церковь» (Доклад на третьей христианской мирной конференции в Праге). ЖМП № 9, 1960, стр. 30 и 33. Доклад этот опубликован без обозначения его автора. По стили и содержанию он весьма напоминает выступления митрополита Николая Крутицкого. Если это так, то анонимная публикация доклада с несомненностью свидетельствует о политическом неблагополучии его автора.

Двусмысленности

«...Русская Православная Церковь, вместе с христианами всего мира, поддерживает требование народов о прекращении испытаний и производства ядерных бомб и всеобщем разоружении»¹¹).

«Мы поднимаем свой голос в защиту мира в тревожные дни бытия человечества, когда опасность смерти нависла над всем миром. Мы поднимаем свой голос смело и уверенно, ибо для нас несомненно, что если бы все люди согласились жить так, как этого требует христианская мораль, то опасность смерти была бы предотвращена и на земле водворились мир и счастье»¹²).

Количество примеров можно произвольно умножить. Все, что говорят представители Московской патриархии, является необходимыми звеньями в той постоянной деятельности, которая носит название «борьба за мир». Соответствующий отдел Журнала Московской Патриархии называется «В защиту мира». Сама идея борьбы за мир в наше, более чем беспокойное, время вполне уместна, равно как и претворение ее в практической и издательской деятельности Церкви. Ибо кто же должен прежде всего бороться за мир, как не Церковь? Но в условиях советской действительности, где вся жизнь государства направлена на то, чтобы нарушить мир во имя всемирной победы коммунизма, название «В защиту мира» звучит как страшное издевательство и над идеей мира и над церковным органом, ратующим за нее, тем более, что в покушении на мир обвиняются все, кто угодно, кроме коммунистической диктатуры.

Сторонники Московской патриархии за рубежом бросают нам упрек в непонимании того, что Церковь в СССР, отказавшись от всяких реставраторских и реакционных возжеланий, видит прошедшие в России сдвиги и понимает, что в России формируется новое общество, которое рано или поздно придет к нормальным формам человеческого общежития. В целях внесения христианского начала в новый общественный организм, Московская патриархия мирится со своим плененным положением, рассматривая его как временное и преходящее, как переходной период — мост к новой России. В этом и заключается корень явного соглашательства с безбожной диктатурой.

Мы чрезвычайно далеки от того, чтобы связывать настоящий анализ внешней политики Московской патриархии с какими бы то

¹¹) И. Хибарин. «Русская Церковь и дружба между народами». ЖМП № 11, 1959, стр. 51.

¹²) «Перековать мечи на плуги». ЖМП № 7, 1960, стр. 21.

ни было реакционными стремлениями и вожделениями, свойственными некоторым церковным кругам. Мы глубоко убеждены в том, что рано или поздно СССР станет Россией, свободной от гнета коммунистической диктатуры, и в ней будет создан новый строй, ничего не имеющий общего ни с дореволюционной империей, ни с традиционно-классическими формами западных государств, ни с коммунистической диктатурой. Мы также не сомневаемся в том, что многое из созданного во всех областях жизни российским народом за последние сорок лет войдет как положительные ценности в будущее российское государство. Но все это не снимает вопроса о деятельности Московской патриархии в данный момент и в той плоскости, в которой мы ее рассматриваем.

Перед нами возникает еще один вопрос: чем объясняются *zigzagi* внешней политики Московской патриархии, которые в ней ясно заметны? Ведь еще совсем недавно был период, когда представители плененной Церкви высказывали нечто отличное от того, что мы цитировали выше. Тот же митрополит Николай Крутицкий, в течение многих лет поносивший в своих выступлениях США и Западный мир и обвинявший их в самых разнообразных преступлениях, сравнительно недавно, в первой половине 1959 года, в связи с состоявшейся в Москве сессией Бюро всемирного совета мира, произнес следующие слова, прозвучавшие диссонансом с тем, что говорилось раньше и позже по этим же вопросам.

«И тем не менее мы стоим перед фактом самой интенсивной гонки вооружений, в которой каждая сторона оправдывает себя мотивами самозащиты». (Выделено мной. — Д. К.)

Что же означает это противоречие?

«В поисках ответа на этот вопрос приходится признать наличие каких-то глубоких причин, которые мешают Востоку и Западу проникнуться взаимным доверием»¹³).

А в 1960 году, в связи с выступлением патриарха Алексия, о котором говорилось выше, на страницах «Журнала Московской Патриархии» были напечатаны следующие слова:

«Но преодоление зла требует нравственного перевоспитания человека. Упразднив ядерное оружие и даже запасы более умеренных огнестрельных средств ведения войны, надо еще предотвратить опасность возвращения к ножу и простой дубине. Ибо при современных, далеко еще не исчерпанных возможностях науки и техники, с одной стороны, и при наличии воли к братоубийству —

¹³ Митрополит Николай. «О единстве христиан в борьбе за мир». ЖМП № 3, 1959, стр. 27 (Сессия Бюро всемирного совета мира).

с другой, переход от кулака к еще неизвестным средствам массового уничтожения может совершиться в процессе молниеносной эволюции. Поэтому для религиозного сознания все более очевидной становится необходимость разоружения сердец человеческих. Мы видим залог мира прежде всего в преодолении духа ненависти, до сих пор омрачающей жизнь человечества»¹⁴).

Если вдуматься в эти слова, высказанные в официальном органе плененной Церкви, а также и в произнесенное митрополитом Николаем, мы несомненно почувствуем обращенность этих слов не только к Западному миру. Но это особый вопрос.

Отвечая на поставленный выше вопрос о зигзагообразности внешней политики Московской патриархии, следует выявить закономерности, лежащие не только в самих высказываниях патриархии по вопросам международной политики, но и в их хронологической последовательности. Частичную разгадку приведенных последними слов митрополита Николая и цитаты из статьи прот. Н. Харьюзова мы находим в той ситуации, которая сложилась на международной арене и в стране. Несколько западно-либеральные слова митрополита Николая о Востоке и Западе были сказаны в феврале 1959 года, во время ожесточенной схватки на кремлевском верху, при напряженном положении в стране, вызванном забастовками и волнениями в разных частях России, почти одновременно с визитом Макмиллана в Москву и студенческой демонстрацией в Московском университете, выражавшей симпатию английскому премьеру. А статья прот. Н. Харьюзова появилась перед поездкой Хрущева во Францию и ожидавшейся в дальнейшем встрече четырех. В этом разгадка более чем двусмысленно либеральных высказываний на страницах церковной печати в СССР. И наоборот, срыв начавшейся конференции четырех и провал хрущевских «гастролей» в Париже хронологически совпадает с вышеприведенными высказываниями того же митрополита Николая о бесчестности поведения правительства США. Таким образом, из этих примеров (а таких примеров можно собрать множество) видно, что официальная позиция Московской патриархии в области международной политики автоматически определяется политикой КПСС, а также отчасти и ситуацией, слагающейся иногда и независимо от власти. И не исключена возможность, что некоторая напряженность во взаимоотношениях Московской пат-

¹⁴) Прот. Н. Харьюзов. «К выступлению Святейшего Патриарха Алексия перед советской общественностью 16 февраля 1960 года». ЖМП № 4, 1960, стр. 52.

риархии и власти, замечавшаяся в последнее время, связана также с «либеральными» настроениями, проявлявшимися неоднократно представителями патриархии и возможными лишь в некоторые, не вполне благоприятные для диктатуры времена.

Еще один весьма существенный момент, определяющий правильное понимание происходящего в Русской Православной Церкви в СССР. Мы отметили уже несколько элементов во внешней политике Московской патриархии, выражающейся в отношении последней к тем или иным политическим событиям. Это отношение выражено Московской патриархией в различных печатных документах, частично упомянутых в этой статье. Выше мы подчеркивали, что во всевозможных печатных декларациях Московской патриархии и в устных выступлениях ее представителей имеется ряд положений, говорящих правду о Церкви, затем имеется несомненная ложь и некоторое количество двусмысленностей. И ложь и двусмысленности являются прямым и неизбежным следствием унии, заключенной с диктатурой. Это как раз и есть та цена, которую обязана платить патриархия за право существования плененной Церкви. Но в последнее время во внешнеполитических выступлениях Московской патриархии появился еще один момент, которого раньше не было, *момент обличения власти и исповедничества*. Указанный новый момент ярко выразил себя в приведенном выше выступлении патриарха.

«...Церковь Христова, полагаящая своей целью благо людей, от людей же испытывает нападки и порицания, и тем не менее она выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви. Кроме того, в таком положении Церкви есть и много утешительного для верных ее членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства (выделено мной. — Д. К.), если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел Сам Христос и дал обетование непоколебимости Церкви, сказав, что и врата адавы не одолеют Церкви Его»¹⁵. (Выделено в тексте. — Д. К.)

Для нас является совершенно несомненным, что упоминание о людях, нападающих на Церковь и порицающих ее, а также о человеческом разуме, восстающем против христианства, относится к коммунистической диктатуре. В истории развития отношений между Московской патриархией и советской властью в послевоенное время *подобное упоминание является едва ли не первым*. Чем

¹⁵ «Речь Патриарха Московского и всея Руси Алексия на конференции советской общественности за разоружение». ЖМП № 3, 1960, стр. 34-35.

вызвано оно, публично высказанное перед подобным собранием? Оно имеет под собой существенную причину.

Этой причиной является нарушение диктатурой неписанной унии с Церковью, заключенной во время войны. Нарушение вызвано было победоносным развитием религиозной жизни в СССР, констатируемым не только западной, но и самой советской прессой, равно как и выступлениями представителей КПСС. Оно ознаменовалось заменой Г. Г. Карпова Куроедовым, явившимся символом нового нажима на Церковь. Приход Куроедова стал как бы началом ряда неблагоприятных явлений для Церкви. Однако думать, что новый нажим на Церковь — явление только что возникшее, совершенно неправильно. Неверны также распространявшиеся на Западе сведения о новых гонениях на Церковь, напоминающих довоенные сталинские времена. Нам представляется, что мнение о желании власти ликвидировать сосуществование с Церковью является преждевременным¹⁶). Несомненно, что власть пытается изменить режим, в котором находилась Церковь все последние годы. Но это не есть еще *наступление* на Церковь. Происходящее можно охарактеризовать как активную оборону власти от наступающей Церкви, с переходом на отдельных участках религиозного фронта в хаотические и непродуманные контратаки. Прежних гонений 30-х годов пока нет, и вряд ли они могут повториться. Переход к довоенным формам антирелигиозной пропаганды (подготовлявшийся уже начиная с 1959 года), закрытие ряда церквей, судебные процессы против неудобных власти духовных лиц, закрытие духовных семинарий, допущенные во многих местах антирелигиозные дебоши и прочее повторяют методы гонений 30-х годов, но по своему размаху, тотальности, жестокости и интенсивности лишь отдаленно пока напоминают то, что было 20-30 лет тому назад. И с этой точки зрения можно говорить о новом резком административном и идеологическом нажиме на Церковь, можно говорить об ухудшении существовавшего режима для Церкви, *но еще преждевременно говорить о повторении гонений тридцатых годов.*

¹⁶) См. В. Александров. «Власть рушит «сосуществование» с Церковью». «Посев» № 49 (760), стр. 8-9. Указанная статья, приводя интересные данные о современном положении Православной Церкви в СССР, вместе с тем, по нашему мнению, преждевременно говорит о конце режима сосуществования. И не случайно автор данной статьи отмечает, что нажим на Церковь испытывает главным образом провинция. Москва и Ленинград этого не знают. Указанное еще раз подтверждает, что власть не хочет окончательно отказываться от сосуществования с Церковью.

Административный нажим на Церковь в данное время не может перейти в новые гонения в их крайних сталинских формах уже по одному тому, что, вопреки существующему мнению, режим «сосуществования» с Церковью не отменен и продолжает свое действие. Церковь в какой-то степени нужна власти, и разрывать этот противоестественный союз диктатура пока не считает возможным по весьма многим причинам.

Более того, при существующей расстановке сил в России и при наличии того уровня влияния на народ, которого достигла Церковь за последние годы, диктатура не может себе позволить повторение гонений тридцатых годов. Политическое и экономическое положение в стране таково, что власть вряд ли пойдет на новые столкновения с народом, что было бы совершенно неизбежно при начавшихся гонениях на религию. Власть не достаточно сейчас сильна для этого. И то, что «Журнал Московской Патриархии» продолжает выходить, и в нем по-прежнему существует отдел «В защиту мира», в котором печатаются материалы, исходящие фактически от КПСС, а представители Московской патриархии продолжают разъезжать по всему миру, как раз говорит о *продолжении периода «сосуществования» с Церковью*. Иначе все это было бы совершенно невозможно.

И если по имеющимся данным за 1960 год власть фактически принудительно закрыла около 500 храмов, четыре монастыря и три семинарии¹⁷⁾, то эти факты свидетельствуют об административном давлении на Церковь, о судорожных попытках власти перейти к пружой самозащите от наступающей на нее религии, но не дают еще нам оснований говорить о возобновлении гонений на Церковь тридцатых годов.

И вряд ли при гонениях тридцатых годов Церковь имела бы возможность освящать хотя бы один новый храм (а их было освящено в 1960 г. несколько) или реставрировать в Ленинграде и в Троице-Сергиевой Лавре находящиеся в ее ведении храмы и лаврские корпуса, как это было в прошлом году.

В связи со всем сказанным следует хотя бы бегло ознакомить-

¹⁷⁾ По последним данным в 1960 году были принудительно закрыты три духовных семинарии: Ставропольская, Саратовская и одна из наиболее значительных — Киевская. Относительно последней следует заметить следующее: при открытии Киевской духовной семинарии в 1947 году духовные власти имели разрешение и обещание поддержки со стороны правительства на открытие и Киевской духовной академии, третьей духовной академии в стране. Однако, как мы видим, это обещание осталось на бумаге, и вместо открытия Духовной академии оказалась закрытой и действовавшая в продолжение тринадцати лет Киевская духовная семинария.

ся с теми церковными акциями, которые проводила Московская патриархия во внешнем мире в 1960 году. Они лишним раз продемонстрируют нам истинное положение Церкви в СССР.

Обращаясь к анализу внешних церковных связей Московской патриархии, мы должны отметить следующее: внешняя церковная политика Московской патриархии идет по линии сближения с другими церквями и исповеданиями, проявляя максимальную терпимость к инакомыслящим в религиозном отношении. Причины такого рода церковной политики, значительно отличающейся от того, что делалось в этом направлении в Русской Православной Церкви до революции 1917 года, разнообразны. Среди них отчетливо выделяются три основных:

1) Изменение принципиальной позиции Русской Православной Церкви в СССР по отношению к другим исповеданиям и религиям. Некоторые из них в настоящее время рассматриваются церковью не столько как отклонение от единой истины, заключенной в Православии, сколько как подготовительная ступень к восприятию православной веры (например, отношение к христианским сектам).

2) Антирелигиозная политика коммунистической диктатуры, естественно, повела к сплочению всех религий и способствовала образованию их единого фронта, в котором все взаимные расхождения и элементы известной неприязни заменились принципом солидарности всех религиозно настроенных людей в их общей борьбе с безбожием. Усиление нажима на религию и возникновение в тех или иных формах гонений на нее способствуют дальнейшему укреплению и сплочению всех сил, отстаивающих религиозное мировоззрение.

3) Известная заинтересованность диктатуры в расширении деятельности Московской патриархии за пределами СССР. Московская патриархия в этом случае рассматривается властью как один из проводников политического влияния КПСС в свободном мире («борьба за мир»). Кроме того, та или иная деятельность Церкви за рубежом весьма важна с точки зрения пропагандного показа «свободы религии» в СССР.

Эти основные факторы определяют сравнительно активные внешние связи Московской патриархии и устанавливаемые ею контакты с самыми разнообразными исповеданиями в свободном мире.

В этом отношении в 1960 году, так же как и в 1959, Русская Православная Церковь, в лице Московской патриархии, довольно много сделала «для установления связей с инославными испове-

даниями, некогда отделившимися в силу разных исторических причин от Тела Неразделенной Христовой Церкви»¹⁸⁾.

Московская патриархия вообще считает, что история Церкви последнего времени развивается «под знаком стремления к взаимопониманию и сближению христиан всего мира»¹⁹⁾. И действительно, христианский Запад все с большим интересом и всё пристальнее вглядывается в христианский Восток, стремясь найти в нем источник живой воды.

1960 год прошел под знаком продолжающегося сближения Московской патриархии с протестантским Западом. Думается, что не ошибемся, если отметим, что эти связи с западным протестантизмом очевидно в какой-то степени если не продиктованы, то подсказаны совсем не из церковных источников, ибо обращены они прежде всего на Германию: Восточную и Западную. Обращенность к Германии не случайна, если вспомнить, что в продолжение 1959 и 1960 годов Германия, в политическом отношении, оставалась «камнем преткновения» для международной политики и домогательств коммунистической диктатуры в отношении ее так называемого «воссоединения».

В этом аспекте и приходится рассматривать пребывание в СССР, по приглашению Московской патриархии в самом конце 1959 г., группы пасторов Евангелической Церкви из ГДР (Восточная Германия). При этом сразу следует отметить, что один из членов группы, пастор Вольфганг Каффнер, недвусмысленно подчеркнул на страницах «Журнала Московской Патриархии», что приехавшая группа, включив в себя нескольких представителей Союза евангелических пасторов в ГДР, должна расцениваться все же с позиций этого Союза, а никак не иначе. Что же касается этой организации, то она представляет собой прокоммунистическое крыло евангелического духовенства в ГДР, объединяющее духовенство, активно поддерживающее власть. Цель поездки указанной группы — ознакомление с деятельностью Православной Церкви в СССР.

Ответный визит состоялся в июле 1960 г. Делегация Русской Православной Церкви посетила, по приглашению епископов евангелических церквей, Восточную Германию, весьма подробно ознакомливаясь с деятельностью Евангелической Церкви. Делегация плененной Церкви констатировала, что ее ответный визит

¹⁸⁾ «Русская Православная Церковь и христианский мир в 1959 году». ЖМП № 1, 1960, стр. 17.

¹⁹⁾ См. там же, стр. 15.

еще раз показал полную возможность и необходимость дружеских отношений между церквами на основе христианской любви²⁰).

Не забыта была и Евангелическая Церковь Западной Германии. Еще в конце 1959 года в Арнольдсхайме, в помещении Академии Евангелической Церкви земель Гессена и Нассау, состоялись богословские собеседования между богословами Германской Евангелической и Русской Православной Церквей. Собеседования эти носили чисто богословский характер, но очевидно имели целью и создание контактов с теми церковными кругами Западной Германии, которые охотно шли на установление дружеских связей с Московской патриархией. Две темы составляли предмет собеседований: 1) «Священное предание» и 2) «Учение об оправдании верой».

В отчетах этих собеседований отмечалось некоторое сближение точек зрения православного и протестантского богословия по затронутым темам.

Стремление максимально сблизиться с западным протестантизмом сказалось и в участии представителя Московской патриархии в третьей Богословской конференции «Пюиду», состоявшейся в августе 1960 г. близ Парижа. Основу конференциям «Пюиду» (местность в Швейцарии, где в 1955 г. произошла первая конференция) положили богословы Реформатской и Лютеранской церквей, вместе с представителями меннонитов и квакеров. Основным вопросом, их интересовавшим, была проблема отношения христиан к войне, в плане отвлеченного от политики нереального пацифизма.

Поводом к созыву Третьей конференции явилась отмена встречи глав четырех правительств весной 1960 г., «ибо христиане не могли остаться безучастными и равнодушными к этому печальному событию»²¹). Главной темой конференции был вопрос отношения христианина к государству. В частности, конференцию интересовали вопросы, возможно ли для христианина свидетельствовать свою веру во Христа при существующих социальных, расовых, экономических затруднениях и международной несправедливости, затем — касаясь главы 13 (стихов 1-11), послания к Рим-

²⁰) Прот. Е. Амбарцумов. «Ответный визит делегации Русской Православной Церкви в Германскую Демократическую Республику». ЖМП № 9, 1960, стр. 63-73.

²¹) Проф. Л. Парийский. «3-я Богословская конференция «Пюиду» в Бьевре». ЖМП № 12, 1960, стр. 61-66.

лянам св. апостола Павла, — может ли христианин быть государственным деятелем, и может ли быть справедливой война с точки зрения средств ее ведения и результатов. Конференция, видимо, прошла очень оживленно. На ней был целый «спектр» выступлений — от чисто объективных до известных всем, в духе советских «мирных предложений». Но она явилась блестящим полем для внешнеполитических выступлений Московской патриархии. Этим и воспользовался проф. Л. Парийский, который, наряду с бесспорными богословскими истинами, нарисовал картину идеальных взаимоотношений Церкви и государства в СССР.

Начало 1960 года ознаменовалось дальнейшим сближением со Всемирным Союзом Церквей, делегация которого находилась в СССР в самом конце 1959 года. В своей речи на приеме в честь этой делегации патриарх Алексий подчеркнул, что «Русская Православная Церковь с сочувствием взирает на усилия братьев-христиан, стремящихся преодолеть вековые разделения и соединить по-разному славящих Бога людей в общем делании на ниве Христовой, и будет помогать им в этом»²²).

Что касается Всемирного Совета Церквей, Московская патриархия продолжает идти по линии дальнейшего углубления взаимоотношений и установления личных и организационных контактов. В течение двух последних лет Московская патриархия заметно изменила свое отношение к Экуменическому движению, заняв позицию дружественного содействия. Больше того: мы вероятно не ошибемся, если скажем, что в продолжение 1960 года позиция патриархии эволюционировала от простого дружественного содействия к явной и нескрываемой заинтересованности в Экуменическом движении. Отчет о деятельности Русской Православной Церкви в 1960 г.²³) не только уделяет много внимания Всемирному Союзу Церквей, но даже начинает его с вопроса об укреплении сотрудничества с ним Московской патриархии. В своем послании от 29 июля 1960 г. к Центральному Комитету Всемирного Совета Церквей патриарх Алексий ставит вопрос о содействии со стороны Московской патриархии деятельности Экуменического движения по единению христиан, по созданию единомыслия и сотрудничества христианских Церквей в преодолении самых насущных нужд человечества.

Большое внимание Московской патриархией было уделено

²²) «Речь Святейшего Патриарха Алексия на приеме в честь делегации Всемирного Союза Церквей». ЖМП № 2, 1960, стр. 55.

²³) «Русская Православная Церковь в 1960 г.» ЖМП № 1, 1961, стр. 8-20.

как сессии Всемирного Совета Церквей, бывшего в Сент-Эндрюсе (Шотландия), так и пленарной комиссии «Вера и устройство» (на заседаниях которой впервые официально присутствовали наблюдатели патриархии), а также пленуму комиссии Церквей по международным делам, на котором тоже присутствовали наблюдатели Русской Православной Церкви. Если к этому прибавить участие группы наблюдателей патриархии на Экуменической конференции христианской молодежи Европы, проходившей в Лозанне в июле 1960 года, и встречу в Женеве епископа Никодима с генеральным секретарем Всемирного Союза Церквей д-ром В. А. Виссерт-Хуфтом и другими деятелями ВСЦ, то картина воссоздается четкая.

Отмечая контакты Московской патриархии с инославными церквями за рубежом, следует сказать несколько слов о посещении Англии делегацией Русской Православной Церкви. Поездка эта явилась как бы ответом на посещение Москвы группой англиканских монахов в 1958 г. Делегация прибыла в Англию в июне 1960 г. и, пробыв две недели, посетила значительное количество англиканских монастырей и религиозных центров. Поездка в Англию явилась продолжением многолетней политики Московской патриархии, взявшей курс на максимальное сближение с англиканской Церковью как с исповеданием, стоящим во многих случаях почти на православной точке зрения. Целью этой поездки явилось укрепление и углубление процесса сближения обеих церквей²⁴).

Среди ранее бывших контактов с Православными автокефальными Церквями в 1960 году следует отметить посещение СССР епископом Антиохийского Патриархата Илией (Карам), митрополитом Гор Ливанских. Его посещение было также связано с вопросом об отношении Православных Церквей к Вселенскому собору, предполагавшимся быть созванным папой Иоанном XXIII, и с вопросом об отношении к Экуменическому движению.

Вторая половина 1960 г. ознаменовалась поездкой патриарха Алексия по Ближнему и Среднему Востоку. Она носила чисто дипломатический характер. Патриарх посетил Египетский и Сирийский районы ОАР, Ливан, Иорданию, Турцию и Грецию, где имел встречи и совершал совместные служения с патриархом Александрийским Христофором, патриархом Антиохийским Феодосием, патриархом Иерусалимским Венедиктом, Вселенским пап-

²⁴) Архимандрит Филарет. «В гостях у англиканских монахов». ЖМП № 8, 1960, стр. 69-79.

риархом Афинагором и архиепископом Афинским Феоклитом. Особенно торжествен был прием патриарха в Александрии, где по случаю его приезда происходили большие церковные торжества.

Кроме того, патриарх Алексей, верный основному курсу Московской патриархии, встретился с представителями инославных Церквей. В частности, состоялась встреча с главой Коптской Церкви, патриархом Кириллом VI, и встреча с Сирийским (Яковитским) патриархом Иаковом.

И если посещение глав Православных Автокефальных Церквей имело целью укрепление «исконно существующих братских связей» между Русской Церковью и этими Церквями и расширение сотрудничества «в деле сохранения прочного мира» и «укрепления дружбы между народами»²⁵), то посещение глав инославных христианских Церквей имело целью укрепление «братских связей с этими Церквями».

В 1960 г. продолжалось перманентное наступление Московской патриархии на зарубежное Православие. Открытие ряда приходов патриархии на территории Европы, поездка по США и Канаде митрополита Бориса, экзарха патриарха в Северной и Южной Америках, стремившегося к объединению всех православных под омофором патриарха Московского, вопреки патриархией судебного процесса о Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке, ведшегося Северо-Американской Митрополией, постоянные нападки на «раскольников» на страницах церковной печати, злобно торжествующая констатация того, что Иерусалимский патриарх Венедикт воспретил епископу Русской Зарубежной Церкви, пресвященному Леонтию (Чили) совершать богослужения у Гроба Господня, напоминание о том, что аналогичному запрещению подвергся в 1959 г. архиепископ Александр (Ловчий) из Мюнхена, а в 1952 г. епископ Серафим (Иванов)²⁶), — достаточно отчетливо характеризуют позицию патриархии в данном вопросе.

В 1960 г. внешняя политика Московской патриархии не только не сократила своего объема, но скорее наоборот: получила несколько больший размах, несмотря на продолжающийся нажим на Церковь со стороны диктатуры. Подтверждением этого положения является учреждение патриархом Алексием (конечно, с «благословения» власти) 28 августа 1960 г. Комиссии по межхри-

²⁵) «Возвращение в Москву патриарха Московского и всея Руси Алексия». ЖМП № 1, 1961, стр. 6.

²⁶) «Хроника Зарубежной церковной жизни». ЖМП № 12, 1960, стр. 68.

стианским связям Русской Православной Церкви. В эту комиссию вошли следующие лица: митрополит Ленинградский и Ладожский Питирим (ныне митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник); он является председателем комиссии; членами — председатель Отдела внешних сношений Московской патриархии епископ Никодим, управляющий делами Московской патриархии епископ Пимен, экзарх Среднеевропейский епископ Иоанн, епископ Белгород-Днестровский Сергей, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений прот. В. М. Боровой, ректор Московской духовной академии прот. К. И. Ружижский и проф. Ленинградской духовной академии проф. Н. Д. Успенский.

*

Приводимые краткие данные о внешней политике Московской патриархии в 1960 году свидетельствуют о том, что деятельность ее представителей за границей протекала так же, как и раньше и не была, по-видимому, в какой-то мере ограничена властью. Указанное обстоятельство с несомненностью свидетельствует о выполнении Патриархией определенных задач политического характера, данных ей диктатурой, без чего не могли быть осуществлены те контакты со свободным миром, главные из которых мы здесь перечислили. Поэтому, несмотря на все новые трудности, в настоящее время испытываемые плененной Церковью внутри страны, несмотря на несомненное ухудшение режима ее существования, все же *уния с властью не расторгнута и осталась в силе*. А поэтому не могут быть пока и повторены гонения тридцатых годов. Хаотические наскоки власти и административный произвол носят, повторяем, скорее оборонительный характер, однако, могут, конечно, нанести Церкви и значительный урон. Тем не менее, внешняя политика Московской Патриархии в 1960 году носила в достаточной степени стабильный характер и мало чем отличалась от предыдущих лет. Единственной новой ноткой прозвучало обличение патриархом власти за начавшийся административный поход на Церковь. Носит ли подобное обличение случайный, эпизодический характер или оно получит повторение в тех или иных формах — покажет ближайшее будущее.

Новый курс советской карательной политики

Вскоре после смерти Сталина была обещана реформа уголовного законодательства. Она должна была смягчить уголовную ответственность за отдельные преступления, а главное, — дать обществу уверенность, что террор сталинского периода больше не повторится. Министерству юстиции было поручено в месячный срок разработать соответствующие предложения и внести их на рассмотрение правительства¹). Но понадобилось почти 6 лет, чтобы обещанная реформа была лишь частично принята и стала законом. Только 25 декабря 1958 года Верховный Совет СССР утвердил проект нового уголовного законодательства.

Российское общество нетерпеливо ожидало от наследников Сталина демократизации и либерализации режима. В этом направлении были сделаны некоторые шаги. Характерным для постсталинского периода является множество небольших улучшений и больших обещаний, порождавших новые надежды и иллюзии. Как мы увидим из дальнейшего, в советской карательной политике также произошли изменения, отразившиеся, прежде всего, на формах и методах государственного принуждения. Однако эти изменения, при существующем государственном и общественном строе, не дают обществу прочных политических, юридических и материальных гарантий от произвола власти и не обеспечивают защиту прав и достоинства человека. Сущность этих изменений — в смягчении карательной политики по отношению к неопасным уголовным преступникам, в перенесении акцента с государственного на общественное принуждение и в общем усилении разностороннего контроля за жизнью и поведением граждан.

¹) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27.3.1953 года. «Ведомости Верховного Совета СССР» № 4, 1953 год.

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

За минувшие годы приняты законы, изменившие структуру, характер и принципы деятельности советских карательных органов и смягчившие уголовные репрессии. Отметим важнейшие из них, определившие новый курс в советской карательной политике.

1 сентября 1953 года упразднены Особые совещания при министре внутренних дел СССР и, соответственно, при министрах внутренних дел союзных и автономных республик. Эти совещания были созданы 10 июля 1934 года²⁾ и осуществляли внесудебную расправу над политическими противниками режима, над «социально чуждыми элементами» и теми, кого по разным причинам органы безопасности относили к этим категориям. Они рассматривали дела без всяких процессуальных гарантий, при закрытых дверях, без участия защиты. Обвиняемый сам должен был доказывать свою невиновность, а часто решение по его делу принималось и в его отсутствие.

Изменена структура и методы работы органов безопасности. В 1953 году дело «врачей-отравителей» и дело Берии нанесли престижу этих органов два чувствительных удара. Центральный орган партии, «Правда», писал в те дни о бывших руководителях МВД:

«Чудовищны и омерзительны преступления этих растленных людей, потерявших всякое подобие человеческого облика. Нет таких злодеяний, которые бы они не совершили, нет такой низости, до которой бы они не опустились»³⁾.

Попытка Берии опереться на органы госбезопасности и госконтроля в борьбе за высшую власть не удалась, а президиум ЦК КПСС сделал из нее соответствующие выводы. Для того, чтобы на верхах власти сохранилось необходимое равновесие и никто не смог бы воспользоваться органами госбезопасности в личных интересах, было решено поставить во главе их коллегию и подчинить ее Совету министров и президиуму ЦК. 13 марта 1954 года был создан Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. Один из членов президиума ЦК КПСС стал осуществлять контроль за деятельностью КГБ, хотя административно органы безопасности ему не были подчинены. КГБ стал свое-

²⁾ Постановление Президиума ЦИК СССР от 10.7.1934 года, Свод узаконений № 36, стр. 284; М. С. Стоягович. «Курс советского уголовного процесса», стр. 33, 1958 г.

³⁾ «Правда» от 17.12.1953 года.

образным штабом тайной борьбы против врагов режима, действующим под непосредственным наблюдением президиума ЦК КПСС⁴).

24 мая 1955 года было принято новое Положение о прокурорском надзоре⁵). Права и обязанности прокуроров и следователей были расширены и усилен прокурорский надзор за законностью в деятельности государственных органов и в том числе КГБ. Правда, несмотря на эти меры, органы КГБ в своей оперативной работе остались в значительной мере независимыми от контроля прокуратуры. Прокуроры не имеют права, например, интересоваться агентурными разработками следователей КГБ.

19 апреля 1956 года был отменен упрощенный порядок следствия и суда по делам о террористических актах и организациях. Этот порядок был установлен совместным постановлением ЦИК и СНК СССР 10 декабря 1934 года в связи с убийством видного деятеля большевистской партии — С. М. Кирова⁶). Согласно указанному постановлению, следствие по делам о террористических актах должно было заканчиваться в срок не свыше 10 дней, а обвинительное заключение вручаться обвиняемому за сутки до суда. Судебное рассмотрение проводилось без участия сторон (обвинителя и защитника), кассационное обжалование и просьба о помиловании по этим делам не допускались, а приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение немедленно. Понадобилось целых три года после смерти Сталина, чтобы эти свирепые законы были, наконец, отменены. Отныне декларировалось, что все дела должны рассматриваться судебными органами по общим процессуальным нормам.

Указом президиума Верховного Совета СССР введено условно-досрочное освобождение из мест заключения⁷). Лица, «честным трудом и примерным поведением» исправившиеся, могли быть по отбытии не менее двух третей срока наказания условно-досрочно освобождены.

⁴ Об учреждении КГБ см. «Ведомости Верховного Совета СССР» № 10, стр. 212, 1954 год.

⁵ «Ведомости Верховного Совета СССР» № 9, стр. 222, 1955 год.

⁶ Упрощенный порядок следствия и судопроизводства был установлен постановлением ЦИК и СНК СССР от 1.12.1934 года и был распространен на дела о вредительстве и диверсии постановлением ЦИК СССР от 4.9.1937 года. С. У. № 2, стр. 8, 1935 года. Отменен этот порядок упрощенного следствия указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.4.1956 года. «Ведомости В. С. СССР», № 9, 1956 год.

⁷ «Свод Законов СССР и союзных республик», стр. 416, 1956 год.

17 сентября 1955 года была объявлена амнистия для советских граждан, сотрудничавших с гитлеровцами в период Отечественной войны. По этой амнистии из мест заключения освобождались лица, служившие в немецкой армии, полиции и бывшие военнослужащие специальных военных формирований на немецкой стороне⁸). Освобождались от уголовной ответственности также советские граждане, оставшиеся после войны за границей, даже если они занимались антисоветской деятельностью. Эта амнистия формально не утратила своей силы и поныне, хотя целый ряд фактов, опубликованных в советской прессе, показывает, что прошлое амнистированных не забыто, а наиболее активные противники режима, уже отбывшие наказание или помилованные, вновь по старым делам привлекаются к ответственности, и им выносятся необоснованно жестокие приговоры⁹).

Тем не менее, на протяжении 1953-56 годов из мест заключения была освобождена значительная часть заключенных и постепенно смягчен режим концентрационных лагерей, переименованных в исправительно-трудовые колонии. Но амнистии коснулись не всех категорий заключенных. Амнистия 1953 года вообще не применялась к «лицам, осужденным на срок более 5 лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленные убийства». По амнистии 1955 года в отношении лиц, осужденных за государственные преступления на срок свыше 10 лет, наказание было сокращено лишь наполовину, и вообще не применялась амнистия к осужденным «за убийства и истязания советских граждан». Режим в тюрьмах и колониях в отношении политических заключенных и некоторых других категорий особо-опасных преступников остался все еще чрезвычайно жестоким.

Изменения коснулись некоторых преступлений и в области трудовых отношений. В апреле 1956 года были отменены законы о судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий и учреждений, за прогул и опоздание на работу без уважительных причин¹⁰). Эти законы практически почти

⁸) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17.9.1955 года. «Ведомости В. С. № 17, стр. 345, 1955 год.

⁹) «Труд» № 266, 1959 год; № 42, 1960 год.

¹⁰) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25.4.1956 года. «Ведомости В. С.», № 10, стр. 203, 1956 год.

не применялись судами уже в период войны и были частично отменены в 1951 году.

Следует также отметить значительное понижение наказания за мелкое хищение государственного и общественного имущества. Если раньше по указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года за кражу, присвоение или хищение государственного имущества, совершенного впервые и не в крупных размерах, полагалось заключение в концлагерь на срок от 7 до 10 лет¹¹⁾, то по указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1955 года за то же преступление следуют исправительно-трудовые работы на срок от 6 месяцев до 1 года. Отказ от неслыханно высоких мер наказания за неопасные для режима и распространенные в условиях Советского Союза преступления был лишь дальнейшим шагом в развитии принятого партией курса на некоторое смягчение уголовной политики.

Это смягчение отразилось и в ряде других законов. Назовем еще некоторые: «Об отмене уголовной ответственности беременных женщин за производство аборт¹²⁾», «Об ответственности за мелкое хулиганство»¹³⁾, «Об ответственности за мелкую спекуляцию» и др.

Наиболее полно новый курс советской карательной политики нашел отражение в законах, принятых Верховным Советом СССР 25.12.1958 года, и в новых уголовных кодексах РСФСР, Узбекской и Казахской ССР, а также в постановлениях пленума Верховного суда СССР и приказах генерального прокурора СССР.

¹¹⁾ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4.6.1947 года «Об уголовной ответственности за хищения государственного и общественного имущества». «Ведомости В. С.» № 19, 1947 год.

¹²⁾ Указы Президиума Верховного Совета СССР от 5.8.1954 года и 23.11.1955 года. «Ведомости В. С. СССР» № 22, стр. 425, 1955 год.

¹³⁾ Постановление ЦИК и СНК СССР от 30.3.1935 года устанавливало наказание за хулиганство при отягчающих обстоятельствах до 5 лет лишения свободы. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.8.1940 года установил наказание за хулиганство без отягчающих обстоятельств — 1 год тюремного заключения. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.12.1956 года «Об ответственности за мелкое хулиганство» устанавливается, что мелкое хулиганство влечет за собой арест на срок от 3 до 15 суток, и применение ареста является мерой административного воздействия. Сейчас постановление от 3.3.1935 года и указ от 10.8.1940 года отменены, и уголовная ответственность за хулиганство предусмотрена в соответствующих статьях новых У. К.

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДОПРОИЗВОДСТВА*)

Принятию «Основ уголовного законодательства» и «Основ уголовного судопроизводства» предшествовала дискуссия, в которой приняли участие ученые, юристы, работники исполкомов, МВД, КГБ и партийный актив. Основная масса трудящихся, чьи интересы, прежде всего, задевают эти законы, была фактически устранена от обсуждения проектов и лишена возможности высказывать о них свое мнение. Советское правительство и руководство КПСС, видимо, опасались нежелательной для них реакции населения на подготовленные проекты, поскольку в карательных законах наиболее резко сталкиваются противоречивые интересы народа и власти. Недаром еще Ленин поворил, что советские уголовные законы «есть мера политическая, есть политика»¹⁴), а следовательно дело безжалостной выгоды для руководителей партии и правительства. Всенародное обсуждение уголовных законов, в том числе законов о государственных преступлениях, могло выскользнуть стремления людей к большим переменам и вызвать серьезное и нежелательное в современных условиях обострение политической атмосферы в стране.

Несмотря на то, что круг участвующих в дискуссии был небольшой и не все выступления попадали в советскую прессу, мы можем все же проследить две основных тенденции во взглядах на задачи советской карательной политики.

Первая тенденция может быть условно названа *умеренно-реформистской*, а вторая — *ортодоксально-консервативной*.

Современные советские реформисты стремятся ограничить произвол коммунистической верхушки, добиться реальному воплощения в жизнь советской конституции, соблюдения законности и получения большей политической свободы для всех. Главное их внимание сосредотачивается на увеличении реальных гарантий неприкосновенности личности и охраны прав граждан¹⁵). Основным их методом является борьба за частичные реформы.

Сторонники ортодоксально-консервативной тенденции пред-

*) Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик («Ведомость Верховного Совета СССР» № 1, 1959 г., стр. 6).

¹⁴) В. И. Ленин, соч., том 23, стр. 36.

¹⁵) Член-корреспондент Академии Наук СССР С. Голунокий, говоря о ходе обсуждения проекта Основ уголовного законодательства, заявил на сессии Верховного Совета СССР: «Подавляющее большинство работ, посвященных этому вопросу, касается только одной стороны вопроса — охраны прав обвиняемого» («Правда» от 27.12.1958 года).

ставляют интересы, главным образом, партийного аппарата и некоторой части высшего советского общества, прочно связавшей свою судьбу с коммунистическим режимом. Они хотели бы устранить все недосадки, тормозящие общественное развитие и прогресс для того, чтобы укрепить режим, защитить его от атак радикальных элементов и получить побольше власти, прав и привилегий для себя. Им чужды интересы населения, поэтому они на стороне власти вступают в бой с радикально настроенной частью реформистов.

Наиболее остро борьба реформистов и партийных консерваторов в области права развернулась вокруг таких вопросов, как презумпция невиновности, институт аналогии, роль защитника в процессе, упразднение смертной казни, сокращение максимально-го срока лишения свободы и освобождение несовершеннолетних до 16 лет от уголовной ответственности.

Презумпция невиновности. Реформисты требовали законодательного утверждения презумпции невиновности, то есть признания человека невиновным до тех пор, пока его вина не доказана по суду. Доказательство вины возлагается на обвинителя, а обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Этот важнейший принцип судопроизводства, повсюду принятый на Западе, был горячо поддержан рядом советских ученых и юристов-практиков во время обсуждения проектов¹⁶⁾. И все же презумпция невиновности была отвергнута Верховным Советом СССР и названа депутатом Шарковым «обветшалой нормой буржуазного права», которая «способна только дезориентировать работников следствия, прокуратуры и суда»¹⁷⁾. Верховный Совет, а точнее, президиум ЦК КПСС, не решился точно и ясно записать в законе, что каждый человек заранее признается невиновным, и до тех пор им является, пока обвинение не докажет на суде обратное, а суд согласится с доказательствами обвинения.

Отказ от презумпции невиновности ограничивает право неприкосновенности личности и оставляет место для произвола карательных органов.

Независимость судей и институт аналогии. Многие ученые юристы и практики требовали усиления независимости судей и установления правила, что наказание может быть применено только судом и только в том случае, когда преступление оговорено

¹⁶⁾ «Коммунист» № 14, стр. 52, 1956 год; «Советское государство и право» № 7, стр. 83-84, 1958 год; № 9, стр. 92, 1958 год.

¹⁷⁾ «Правда» от 27.12.1958.

но в законе. Они же настаивали на упразднении позорного института аналогии, позволявшего осуждать человека за деяния, прямо не предусмотренные в законе¹⁸).

В статье 112 Конституции СССР сказано: «Судьи независимы и подчиняются только закону». Но это лишь пустая декларация. Советский суд — орган государственной власти, и в качестве такового не может не проводить в своих приговорах и решениях текущей политики коммунистической партии. Вся деятельность советского суда — деятельность политическая, причем классовый и партийный ее характер неоднократно подчеркивал Ленин¹⁹). О какой свободе от посторонних давлений и влияний, о какой справедливости может идти речь, если все советские судьи — члены КПСС, обязанные выполнять указания тех или иных комитетов партии. Партийные комитеты вмешиваются в решения конкретных дел и влияют на свободу судей, и это влияние партии делает их свободой иллюзорной. Еще Маркс писал: «Какой глупой и непрактичной является вообще иллюзия, будто возможен беспристрастный судья, когда законодатель пристрастен! Может ли иметь какое-либо значение беспристрастный приговор, если закон своекорыстен?»²⁰). Советские судьи подбираются и утверждаются комитетами партии и только потом «избираются» населением. Поэтому люди неудобные партии и независимые не могут быть выдвинуты на должность судьи. Срок, на который избираются народные судьи, очень краток, а к тому же они могут быть отозваны до истечения срока своих полномочий. Все это делает положение судей зависимым и непрочным и вынуждает их при расследовании и решении конкретных дел прежде всего прислушиваться к мнению местных руководителей партийных комитетов.

Зная все это, советские реформисты предложили увеличить срок полномочий судей с 3 до 5 лет, считать давление на решение судьи уголовным преступлением и при рассмотрении особо важных дел увеличить число народных заседателей до 4-6 человек.

По закону о судоустройстве изменен срок и порядок избрания народных судов. Народные судьи избираются теперь гражданами района (города) сроком на 5 лет, а народные заседатели на собраниях трудящихся по месту их работы или жительства —

¹⁸ «Советское государство и право» №5, стр. 87, 95, 1957 год; №8, стр. 73, 1958 год; «Известия» от 1.12.1957 года.

¹⁹ В. И. Ленин, Соч. том 32, стр. 330.

²⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 1, стр. 158.

сроком на 2 года. Это создает неравенство в сроках полномочий судей и заседателей и особо подчеркивает ведущую роль профессиональных судей, более зависимых от партийных органов. Остальные предложения, касающиеся укрепления независимости судей, были отклонены.

Против института аналогии трогательно объединились реформисты с догматиками-консерваторами и выступили на этот раз единым фронтом. Как те, так и другие, помня недавнее прошлое и не желая повторения сталинщины, заявили, что применение аналогии (ст. 16 УК РСФСР 1957 года) приводит к частым судебным ошибкам и нарушению законности. Верховный Совет СССР согласился с ними, отказался от аналогии и принял норму, в которой сказано, что никто не может быть привлечен к уголовной ответственности и подвергнут наказанию иначе, как за деяние, содержащее состав преступления, предусмотренный законом. Эта давно известная на Западе норма была принята советской юридической общественностью с большим удовлетворением как значительный шаг в сторону либерализации уголовного законодательства.

Участие защитника в процессе. В дискуссии особенно остро стоял вопрос о всемерном расширении прав обвиняемого на защиту. Речь шла о предоставлении обвиняемому права, с момента предъявления ему обвинения, пригласить себе защитника. По ранее действовавшему закону обвиняемый имел право пригласить защитника только тогда, когда дело было закончено и передано в суд.

Казалось бы, это справедливое требование и не нуждается в защите. Однако некоторые партийные консерваторы с ним не согласились и старались доказать, что допущение защитника на предварительное следствие может помешать изобличению преступника, повести к разглашению материалов следствия и затянуть расследование уголовных дел. На эти «опасения» убедительно ответил академик И. С. Строгович: «Если обвиняемый действительно виновен, и обвинение, предъявленное ему, основано на прочных и доброкачественных доказательствах, защитник не сможет опровергнуть обвинение и никак не помешает изобличению преступника. Если же обвинение основано на шатких и сомнительных уликах, на предположениях и догадках, то опровержение его защитником будет служить делу укрепления законности и охраны прав граждан»²¹).

²¹) «Советское государство и право» № 7, стр. 85, 1958 год.

Если обвиняемый, как только ему предъявлено обвинение, не может обратиться за советом и помощью к адвокату, он лишается по существу важнейшего из своих прав на защиту. Это особенно важно, имея в виду, что советское следствие страдает обвинительным уклоном, и, чтобы добиться признания обвиняемого, следователи подвергают его различным видам психического или физического воздействия. Поскольку на допросах никто, кроме следователя и обвиняемого, не присутствует, последнему трудно доказать нарушение закона следователем. Если же на всех допросах всегда будет присутствовать защитник, то следователь уже не сможет принуждать обвиняемого к самооговору. Участие в деле защитника с самого начала следствия улучшило бы качество следствия, исключило бы возможность нарушения закона со стороны следователя и предотвратило бы множество неосновательных осуждений.

Несмотря на то, что большинство юристов поддержало это предложение, Верховный Совет принял его лишь частично. Если раньше обвиняемый мог пригласить защитника только на судебное разбирательство, то теперь закон допускает защитника к участию в деле до суда, но только с момента, когда следствие уже закончено, обвиняемому об этом объявлено, и все производство по делу передано ему для ознакомления²²⁾.

Следует отметить, что такое отношение к правам обвиняемого не случайно. Оно исходит из точки зрения, что человек уже заранее предполагается виновным. Здесь, как и во всем, интересы диктатуры превалируют над интересами человека. Поэтому по советским законам гражданин могут арестовать без разрешения суда, по простому административному распоряжению прокурора, хотя именно прокурор поддерживает на суде обвинение и не может быть объективным. Нередко санкцию на арест прокурор дает *post factum*, и арестованный может сидеть долгое время без предъявления ему обвинения. К защитникам советский суд относится без уважения, а партийная общественность их зло претирует. Правдивая, искренняя и страстная защита по политическим делам может привести к очень неприятным последствиям для защитника. К тому же ущербное положение советских защитников на суде, непонимание и недооценка их роли обществом, недоброжелательство власти чрезвычайно уменьшают их воспитательную роль в советском суде, поскольку защитник не может сказать

²²⁾ Основы уголовного судопроизводства предоставляют право только несовершеннолетним иметь защитника с момента предъявления им обвинения.

на суде все, что он хочет и мог бы сказать, не решается вскрыть подлинные социальные и политические причины, порождающие преступление.

Тяжелое и неблагоприятное положение защитника в советском суде еще увеличивается тем, что ему приходится вести состязание не только с государственным обвинителем, но и с обвинительным уклоном следователей и судей. В советской прессе публикуются время от времени факты, когда невинные люди признаются на предварительном следствии и в суде в преступлениях, которых они не совершали. В «Комсомольской правде» как-то приводился такого рода пример, когда ни в чем не повинный молодой рабочий Леонид Астахов, под воздействием следователя, признал себя виновным в убийстве сторожа Ватадзе, за что и был приговорен к 15 годам заключения²³).

За подобными случаями скрывается явление, характерное для всей советской юстиции. Его верно определяет член Хабаровского краевого суда Толстенько:

«До сих пор некоторые судебные работники считают: раз есть обвинительное заключение — значит надо любой ценой добиваться, чтобы оно подтвердилось. Если суд вынесет оправдательный приговор, значит привлекли к ответственности невинного. А это брак в работе, за это могут строго спросить. И, охраняя престиж, такие работники забывают о человечности, о своем святом долге — долге служителя закона»²⁴).

Упразднение смертной казни. Снижение максимальных сроков наказания. Вопрос об упразднении смертной казни как высшей меры наказания в Советском Союзе не нов. Смертная казнь уже трижды отменялась, а затем снова вводилась²⁵). После XX

²³) «Комсомольская правда» от 12.11.1959 года.

²⁴) «Известия» от 22.5.1960 года.

²⁵) Первым актом, установившим после Октябрьского переворота 1917 года меры наказания, была инструкция Н. К. Ю. РСФСР революционным трибуналам от 19.12.1917 года. Применения смертной казни инструкция не предусматривала (С. У. РСФСР № 12, 1917 года). Эта инструкция была отменена 16.6.1918 года, что дало право революционным трибуналам применять расстрел в качестве высшей меры наказания. Впервые смертная казнь была применена по делу адмирала Щастного 21 июня 1918 года. Вновь смертная казнь была отменена постановлением ВЦИК и СНК от 17.1.1920 года (С. У. РСФСР, № 4-5, стр. 22, 1920 год), а вскоре опять введена. Указом Президиума ВС СССР от 26.5.1947 года смертная казнь была упразднена в третий раз («Ведомости ВС» № 17, 1947 год), а затем вновь введена указом ВС СССР от 12.1.1950 года («Ведомости ВС» № 3, 1950 год) и применяется к «изменникам родины, шпионам, диверсантам», а с 30.4.1954 года и к лицам, совершившим умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах.

съезда КПСС опять раздались голоса за отмену смертной казни и сокращение максимального срока лишения свободы до 10 лет²⁶).

Целый ряд юристов и других представителей советской общественности поддержали это требование, указывая, что настало время полностью отказаться от применения смертной казни как высшей меры наказания и сократить максимальные сроки лишения свободы. С этими требованиями не соглашались наиболее консервативные представители правящего слоя. Они выражали опасение, что отмена смертной казни явится поощрительным актом для политических врагов социалистического строя — изменников родины, антисоветских элементов, шпионов и диверсантов. Верховный Совет и в этом вопросе занял половинчатую позицию. Статья 22 «Основ уголовного законодательства» устанавливает расстрел «в виде исключительной меры наказания» (а где она не является исключительной мерой? — Е. Г.) за измену родине, шпионаж, диверсию, террористический акт, бандитизм и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Не могут быть приговорены к смертной казни лица, не достигшие 18-летнего возраста и беременные женщины. Максимальный срок лишения свободы сокращен с 25 до 15 лет. В законе сказано, что лишение свободы устанавливается на срок не свыше 10 лет, а «за особо тяжкие преступления — не свыше 15 лет». Неопределенность понятия «особо тяжкие преступления» открывает дорогу для произвола судей избирать меру наказания свыше 10 лет там, где законом это прямо не запрещено.

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Многие реформисты и часть ревизионистов предлагали освободить несовершеннолетних до 16 лет от уголовной ответственности и установить для несовершеннолетних с 16 до 18 лет пониженные наказания²⁷).

Этот вопрос вызвал большую дискуссию. Подавляющее большинство участвующих в ней считали, что в отношении подростков, не достигших 16-летнего возраста и совершивших общественно-опасные проступки, необходимо применять меры педагогического порядка. В этом возрасте происходит только начальное формирование взглядов, нравственных устоев личности, освоение принципов общежития, а потому подросткам трудно предусмотр-

²⁶ «Коммунист» № 6, стр. 129, 1957 год; № 8, стр. 93, 1958 год; «Советское государство и право» № 8, стр. 106-108, 1958 год.

²⁷ «Известия» от 27.7.1957 года; «Советское государство и право» № 5, стр. 71-84, 1957 год; № 7, стр. 92, 1958 год; № 8, стр. 81, 1958 г.; № 9, стр. 88, 1958 год.

реть возможные вредные последствия своих действий. Уголовное наказание к несовершеннолетним после 16-летнего возраста, говорили участники дискуссии, должно применяться только в случаях, когда меры общественного и воспитательного характера оказались недостаточными. Министр юстиции РСФСР В. А. Болдырев писал: «При всех условиях уголовное наказание не должно применяться к несовершеннолетним, совершившим преступление, не представляющее большой общественной опасности, и в этих случаях к несовершеннолетним до 18-летнего возраста судом могут быть применены меры воспитательного характера, не являющиеся уголовным наказанием»²⁸).

По советским законам до 1959 года «несовершеннолетние, достигшие 12-летнего возраста», за кражи, причинение насилия, действия, могущие вызвать крушение поездов, за причинение телесных повреждений, увечий, за убийство или покушение на убийство привлекались к уголовному суду «с применением *всех мер* (курсив мой. — Е. Г.) наказания». За все иные преступления несовершеннолетние привлекались к уголовной ответственности, начиная с 14-летнего возраста²⁹). Ничего похожего не существует на Западе. В большинстве европейских государств к детям до 14 лет, совершившим преступления, применяют меры педагогического воздействия и попечения, а к подросткам до 18 лет применяют меры воспитательного характера, а не уголовного наказания. Несовершеннолетние от 18 до 20 лет подлежат за преступления уголовному наказанию, но более мягкому, чем взрослые, и должны содержаться отдельно от взрослых.

Верховный Совет СССР немного улучшил старый закон и увеличил возраст несовершеннолетних, подлежащих уголовной ответственности, на два года. Теперь за убийство, нанесение телесных повреждений, изнасилование, кражу, грабеж, разбойное нападение, злостное хулиганство, за умышленную порчу чужого имущества, повлекшую тяжкие последствия, и за действия, могущие вызвать крушение поезда, к уголовной ответственности привлекаются дети, достигшие 14 лет, а за все иные преступления — подростки с 16-летнего возраста.

Законодатели не решились внести коренные изменения в законы о преступлениях несовершеннолетних, имея в виду угрожающий рост детской преступности и безнадзорности. Каких не-

²⁸) «Советское государство и право» № 7, стр. 92, 1958 год.

²⁹) Постановление ЦИК и СНК СССР от 7.4.1935 года (СЗ СССР № 19, стр. 155, 1935 год); Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31.5.1941 года и 7.7.1941 года («Ведомости ВС СССР» № 32, 1941 год).

вероятных размеров достигло это явление, можно судить хотя бы по тому, что при отделениях милиции созданы комнаты для малолетних, а при исполкомах — комиссии по делам несовершеннолетних. Факты роста детской безнадзорности уже не может скрыть и советская юридическая печать³⁰). Однако ни в печати, ни в дискуссиях не было уделено серьезного внимания социальным и политическим причинам роста преступности. Вряд ли можно всерьез принимать в качестве такой причины пресловутые «пержитки капитализма в сознании людей».



Как мы видим, важнейшие вопросы дискуссии нашли то или иное отражение в «Основах уголовного законодательства» и в «Основах уголовного судопроизводства». Эти реформы несколько улучшили уголовное законодательство. Однако и нынешние уголовные законы во многом расходятся с интересами охраны прав личности или ограничиваются лишь полумерами.

Эти улучшения, разумеется, не затрагивают основ режима и не представляют для советского государственного строя большой опасности. Там же, где основы режима могут быть затронуты, мы не только не найдем никаких послаблений, а, наоборот, увидим известное усиление мер наказаний. К этому разделу законодательства мы и переходим.

Закон о государственных преступлениях. Нигде так откровенно и ярко не выражен сугубо политический характер советского уголовного законодательства, как в законе о государственных преступлениях. Это и понятно. В государственных преступлениях заключены действия, направленные, прежде всего, против основ коммунистического строя и существующей власти. Деятельность по подготовке захвата власти является для руководства партии самой опасной, и поэтому в отношении своих политических противников она неизменно применяет самые свирепые репрессии.

По сравнению с пресловутой 58 статьей УК РСФСР, сделаны некоторые изменения. Отказались от термина «контрреволюционные преступления», переименовав их в «особо опасные государственные преступления»; в определение «измена родине» внесено уточнение о непрременном наличии *умысла* при совершении гражданином СССР измены; исключены из закона такие преступления, как контрреволюционный саботаж, вооруженное восстание,

³⁰) «Советское государство и право» № 1, стр. 9, 1960 год.

действия против рабочего класса при царском строе и некоторые другие. Но внесены новые: террористический акт против представителя иностранного государства с целью вызвать войну, пропаганда войны и особо опасные преступления против режимов «народных демократий».

Понятие «измена родине» включало в себя: переход на сторону врагу, шпионаж, выдачу государственной тайны, бегство за границу. Сейчас внесены дополнения: «отказ возвратиться из-за границы в СССР», «оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР» и «заговор с целью захвата власти». Эти «новеллы» имеют важное политическое значение и говорят сами за себя. Отдельные действия, направленные не только против внешней безопасности государства, но и против существующего режима, открыто квалифицируются как «измена родине». Термин «заговор» в советском уголовном законе появляется впервые.

Расширено понятие антисоветской агитации и пропаганды. Теперь к этому виду государственного преступления относят не только призыв к свержению, подрыву или ослаблению власти, но и «распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания».

Расширена и уточнена статья, предусматривающая уголовную ответственность за террористический акт, а также расширены понятия диверсии и вредительства. Все это, по-видимому, продиктовано нуждами режима и опытом борьбы карательных органов с преступлениями такого рода.

За государственные преступления установлены особо суровые наказания. Так, например, за бегство за границу или отказ вернуться из-за границы (в некоммунистическом мире такого состава преступления вообще не существует) следует лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или смертная казнь.

Все дела об особо опасных государственных преступлениях расследуются следователями комитетов государственной безопасности и рассматриваются в общих или в военных судах.

Следует попутно отметить, что органы КГБ в новых условиях также должны были несколько изменить методы своей работы³¹).

³¹) «Наши дни» № 8, 1959 г., статья «Новые методы КГБ и революционное движение».

Они сосредоточили теперь свое внимание на выявлении не потенциальных, а убежденных и активных противников коммунистического режима. Они пытаются в своей деятельности опереться на партийную общественность и с ее помощью усилить наблюдение за поведением граждан, сломать стену изоляции, окружающую КГБ, и проникнуть в политическое подполье, выявить в нем подлинных руководителей, изъять их и взорвать это подполье изнутри.

Управления КГБ посылают своих людей на предприятия, в вузы и учреждения с докладами и беседами. Цель этих докладов — привлечь общественность к своей работе и возбудить бдительность партийного актива. От чекистов требуют теперь умения отличать убежденных врагов от лиц, им сочувствующих, или просто неустойчивых. Если по отношению к первым следует применять решительные и беспощадные меры, то ко вторым нужно подходить осторожнее, наблюдать за ними, убеждать их, подвергать общественному воздействию, а если это не приводит к желаемым результатам — принуждать и изолировать.

В своей речи в Рязани Хрущев, признавая, что бывают перебои с хлебом, и люди на это жалуются, поспешил заявить, что прошло то время, когда «подобные жалобы расценивались чуть ли не антисоветскими»³²). Власть допускает теперь разговоры о местных недостатках и перебоях в снабжении и дороговизне, и за них чекисты, как правило, уже не арестовывают. Даже если у иного советского гражданина обнаружат антисоветскую брошюру, которую он, никому не предлагая, прочел, он может отделаться только служебным взысканием. Но если КГБ найдет почему-либо нужным, он всегда может привлечь к уголовной ответственности и за чтение книги Пастернака «Доктор Живаго». Поэтому оценку новых приемов и методов работы КГБ следует делать очень осторожно. Недаром на XXI съезде КПСС Хрущев потребовал дальнейшего укрепления органов государственной безопасности.

КАРАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОСЛЕ XXI СЪЕЗДА

XXI съезд КПСС декларировал, что Советский Союз вступил в новую полосу развития — в период развернутого строительства коммунизма. Первоочередной задачей этого периода, говорится в резолюции съезда, является создание материально-технической

³²) «Правда» от 13.2.1959 года.

базы коммунизма и решающего экономического перевеса над Западом.

В дальнейшем развитии государственности главными пунктами должны быть: расширение политической базы власти, привлечение большого числа граждан к участию в деятельности государственных органов и передача общественному активу части государственных функций. На XXI съезде Ворошилов сообщил, что уже сейчас в исполкомах многие функции выполняются активом бесплатно³³). В современных условиях советское государство не может развиваться без привлечения общественных сил. Общественные организации, привлекаемые к делам управления, будут осуществлять свои функции, в основном, через государственный механизм и под контролем партии, поэтому их функции будут носить ярко выраженный политический характер. При этом государство отнюдь не должно ослабляться, а, наоборот, укрепляться, и руководящая роль КПСС возрастать³⁴).

В области права XXI съезд поставил задачу *искоренения всяких нарушений правопорядка и полную ликвидацию преступности*³⁵). Хрущев заявил на съезде, что «нужно предпринимать такие меры, которые предупреждали бы, а потом и совершенно исключали появление у отдельных лиц каких-либо проступков, наносящих вред обществу. Главное — это профилактика, воспитательная работа». Задача ликвидации преступности, сказал далее Хрущев, не может быть решена только силами государственных карательных органов — «общественные организации имеют не меньше возможностей, средств и сил для этого, нежели органы милиции, суда и прокуратуры!» Поэтому сейчас несколько сокращен аппарат милиции, но зато всемерно развивается деятельность народных дружин, товарищеских судов, общественных инспекций, и акцент переносится с государственного принуждения на общественное убеждение и принуждение.

Эта задача на практике должна вылиться в более полное сочетание государственного принуждения с общественным воздействием, имеющим также принудительные черты. *Принуждение не отпадает и даже не уменьшается, а лишь изменяет характер.* По отношению к малоопасным уголовным преступникам на пер-

³³) «Стенографический отчет XXI съезда КПСС», том 2, стр. 7, 1959 год.

³⁴) «Советское государство и право» № 9, стр. 24-33, 1959 год; № 2, стр. 28-29, 34-35, 1960 год.

³⁵) «Советское государство и право» № 2, стр. 28, 1960 год; доклад Хрущева «О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-60 год», Госполитиздат 1959 год; резолюция XXI съезда КПСС.

вый план выдвигаются различные формы общественного воздействия и принуждения. Если же этих мер окажется недостаточно, выступит государство, со всей тяжестью своих законов и карательных санкций.

Когда в конце 1958 года были приняты «Основы уголовного законодательства и судопроизводства», советское общество встретило их с удовлетворением и ожидало, что произволу приходит конец. Однако надежды и ожидания были преждевременными. В то время, когда принимались «Основы», шла подготовка к XXI съезду КПСС и уже заготавливались новые проекты законов, открывающие широкую дорогу внесудебному принуждению и произволу. Этот произвол направлен против нежелательных для власти элементов и осуществляется администрацией или припартийной казенной «общественностью».

Закон о борьбе с паразитическими элементами. Статья претъя «Основ уголовного законодательства», принятых 25.12.1958 года, гласит: «Уголовное наказание применяется только по приговору суда». Этот принцип имеет большое политическое и юридическое значение и означает отказ от внесудебной репрессии, от применения наказаний какими-либо иными органами, кроме суда. Такова теория.

В 1957-59 годах восемь союзных республик приняли законы «Об усилении борьбы с антиобщественными паразитическими элементами». По этим законам, общим собраниям граждан по месту жительства лиц, ведущих «паразитический образ жизни», предоставляется право *приговаривать* этих лиц к ссылке на срок от 2 до 5 лет в соединении с *принудительными работами*. «Паразитическими элементами» считаются совершеннолетние трудоспособные лица, не занимающиеся «общественно-полезным трудом» или работающие лишь для того, чтобы скрыть свои нетрудовые доходы. Приговоры общих собраний к ссылке и обжалованию не подлежат и, после их утверждения соответствующими исполкомами, немедленно вступают в силу и приводятся в исполнение при помощи милиции и народных дружин. Таким образом, в Советском Союзе общее собрание соседей по дому или жителей села имеет право отправить в ссылку на срок от 2 до 5 лет любого гражданина для выполнения принудительных работ только за то, что он, будучи трудоспособным, официально нигде не работает и живет, скажем, на иждивении родителей, на свою экономию, на наследство или неизвестные доходы. Никакими процессуальными нормами, защищающими права граждан, привлекаемых к ответственности, общее собрание не связано. Участие адвоката не до-

пускается. Люди, часто совершенно не сведущие в правовых гарантиях, по простому наговору, под влиянием эмоций или давления со стороны партийных комитетов могут тяжело наказать ни в чем не виновных людей, не совершивших никаких предусмотренных законом преступлений.

Советские юристы считают, что это осуждение и ссылка «паразитических элементов» решениями общих собраний не является уголовным наказанием. На каком основании? Ссылка на принудительные работы на длительный срок является мерой принудительной и имеет все черты наказания. По закону же, как указывалось выше, наказание может быть применено только судом к виновному в совершении *преступления*. Поскольку «тунеядцы» или «паразитические элементы» не совершили никаких преступлений, ссылка их на принудительные работы есть открытый и грубый произвол. Указы Верховных Советов союзных республик об усилении борьбы с паразитическими элементами воскрешают времена недоброй памяти «троек» и «особых совещаний», когда также внесудебным порядком проводились репрессии против тех или иных категорий граждан. Никакой роли не играет, как называется эта репрессия — уголовным наказанием или административным воздействием. Ясно одно, что человека, не совершившего никакого преступления, предусмотренного законом, несудебный орган имеет право без всяких процессуальных гарантий сослать на принудительные работы. Эти беспрецедентные законы направлены, прежде всего, против экономического подполья (разных мелких частников, торговцев, крестьян, живущих со своих приусадебных участков), против молодежи, окончившей средние школы и живущей на средства родителей, и тех, кто предпочитает спекуляцию или сидение на церковных папертях — работе на новый класс коммунистической буржуазии. Цель же этих законов: покрыть недостаток в рабочей силе.

Народные дружины. «Народные дружины» начали возникать в 1958 году еще до постановления ЦК КПСС и Совета министров «Об участии трудящихся в охране общественного порядка»³⁶). На работе первых «народных дружин» власть проверяла отношение к ним населения и эффективность их деятельности. Она создавала впечатление, что инициатива в этом деле полностью принадлежит населению, охраняющему себя от хулиганов и

³⁶) «Правда» от 10.3.1959 года; постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 2 марта 1959 года: «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране».

бездельников, нарушающих тишину и порядок. После постановления ЦК и Совета министров от 2 марта 1959 года «народные дружины» были созданы повсеместно. Чтобы представить широту и значение этого явления, достаточно сказать, что в Ленинграде в дружинах состоит свыше 200 тысяч человек, в Харькове — свыше 70 тысяч, а в Ивановской области имеется 500 дружин и около 25 тысяч дружинников и т. д.³⁷⁾ Общая численность дружинников не публикуется, но приблизительный подсчет говорит, что в дружинах состоит от трех до трех с половиной миллионов человек. Большие города разбиты на районы и микрорайоны, и в каждом создан штаб по руководству дружинами. Штабы возглавляются, как правило, партийными работниками, а сами дружины комплектуются, в основном, из комсомольского и партийного актива. Работу районных штабов координирует и направляет городской штаб. На предприятиях, стройках, в вузах, учреждениях и при домоуправлениях образованы отряды. Они разделены на роты, взводы, оперативные группы. Дружины созданы не только в городах, но и в поселках, в совхозах и колхозах. Днем и ночью, как в осажденном лагере во время войны, многие сотни тысяч людей дежурят на вокзалах, около общественных мест, патрулируют по улицам, заглядывают в окна, прислушиваются к разговорам.

Первоначально «народные дружины» были созданы для поддержания общественного порядка и борьбы с лицами, «которые не соблюдают норм общественного поведения, появляются в нетрезвом состоянии в общественных местах, совершают хулиганские действия и другие проступки». По утверждению советской прессы, в результате деятельности дружин, в 1959 и 1960 годы «число нарушений общественного порядка и преступлений резко снизилось...», что должно было повести к сокращению дружин. Но этого не случилось. Число их продолжает увеличиваться. По-видимому, теперь их рост определяется не ростом хулиганства, а появлением новых форм и методов сопротивления населения власти, вызывая этим необходимость расширения сферы деятельности «народных дружин»³⁸⁾. Дружины наделяются новыми секретными сыскными функциями, ничего общего не имеющими с борьбой против хулиганства. Дружинники обязаны теперь не столько ходить по улицам с красными повязками, сколько следить за поведением граждан, знать их доходы и образ жизни, контролировать

³⁷⁾ «Социалистическая законность» № 2, 1960 год.

³⁸⁾ «Известия» № 46, 1960 год.

соблюдение дисциплины на производстве, выявлять уклоняющихся от работы, бороться с хищениями, следить за образом мыслей советских граждан и доносить о всех случаях неloyального отношения к режиму. Власть в лице дружинников создает себе новую политическую опору в борьбе с теми, кто так или иначе проявляет себя оппозиционно по отношению к режиму. Обстановка в стране сложная. Органы милиции, прокуратуры, суда и КГБ не в состоянии справиться с положением. Поэтому в помощь им придана огромная армия дружинников. Размеры этой армии и система ее организации говорят о непрекращающейся и всё обостряющейся гражданской войне между населением и властью.

Деятельность дружинников часто выходит за рамки закона и нередко является грубым произволом. Судя по фактам из советской прессы, дружинники имеют право задержания, допроса, обыска и применяют меры физического воздействия, не связывая себя при этом никакими процессуальными нормами. Летом 1959 года, на конференции юристов, работников милиции и актива дружинников один из командиров «народных дружин» рассказывал, как дружинники штрафовали пьяных «на полную наличность», то есть на всю сумму имевшихся при них денег, брали нарушителей порядка «на болевой прием самбо» и так далее. В печати сообщалось, что дружинники задерживают юношей и девушек, которые кажутся им одетыми слишком модно, «как стилисти», разрезают у юношей узкие брюки, снимают клетчатые рубашки, стригут у девушек волосы, врываются ночью в частные квартиры, будят стариков и детей, чтобы «проверить» поведение какой-нибудь девушки. Без письменного разрешения, например, в городе Николаеве ни одна девушка не может пойти с молодым человеком в ресторан. Если прическа или одежда какой-либо женщины не нравится дружинникам, они ее фотографируют и заносят в «альбом женщин легкого поведения».

Был опубликован случай, когда без всякого повода дружинники задержали пятнадцать молодых женщин и заставили их пройти унизительный медицинский осмотр в диспансере.

Начальники штаба городских дружин находятся под защитой городского комитета партии³⁹⁾.

Произвол дружинников, естественно, вызывает повсеместное сопротивление населения, которое нередко переходит в кровавые столкновения с применением оружия. В Ленинграде был убит дружинник В. Трайнин, в Харькове — дружинник В. Шафран, в

³⁹⁾ «Комсомольская правда» от 6.10.1960 года.

городе Марге — А. Атаджин, в Охотске — А. Филонов; убиты дружинники в Свердловске, Ташкенте, Новокаширске и в других городах. За убийство дружинников виновных, как правило, судят по закону об особо-опасных государственных преступлениях и как политических террористов приговаривают к смертной казни.

Создание «народных дружин» — политическая мера руководства КПСС по укреплению коммунистического режима путем внедрения в жизнь страны правила: «каждый следит за каждым». Дружины — внеправовая организация открытого террора и произвола.

Судя по материалам XXI съезда, власть намечает и в дальнейшем умножать дружины и расширять круг их произвола, видя в них прообраз милиции будущего коммунистического общества⁴⁰).

Товарищеские суды. 23 октября 1959 года опубликованы проекты закона о повышении роли общественности в борьбе с нарушениями законности и правил общежития и «Примерные положения о товарищеских судах и комиссиях по делам несовершеннолетних». Одной из важнейших функций товарищеских судов является борьба с теми нарушениями законности и правил общежития, к которым не следует применять меры административного воздействия или уголовного наказания⁴¹).

Товарищеские суды — не новая институция. Существуют они с 1938 года, но в прошлом не играли значительной роли в общественной жизни⁴²). Новый проект серьезно расширяет их компетенцию и требует всемерного развития их деятельности.

По проекту товарищеские суды избираются открытым голосованием на общих собраниях коллективов трудящихся сроком на два года. Они рассматривают дела: о нарушении трудовой дисциплины и «правил социалистического общежития» (прогул и опоздание на работу, появление на работе в нетрезвом виде, допущение брака, простоя, нарушение распорядка в общежитиях, квартирах и пр.), о мелкой спекуляции, мелком хищении государственного и общественного имущества, мелком хулиганстве, оскорблении, нанесении побоев, изготовлении самогона и других подобных проступках, совершенных впервые (до 1959 года все эти проступки относились к уголовным преступлениям, рассматривались в обычных судах и наказывались исправительными работа-

⁴⁰) «Известия» от 24.2.1960 года.

⁴¹) «Известия» от 23.10.1959 года.

⁴²) «Социалистическая законность» № 1, стр. 8, 1960 год.

ми или лишением (свободы); о преступлениях, не представляющих большой опасности, если следствие или прокуратура сочтут возможным передать то или иное дело на рассмотрение товарищеского суда; об имущественных спорах граждан на небольшую сумму и спорах при разделах и выделах крестьянских дворов.

Товарищеские суды могут применять следующие меры воздействия: потребовать извинения; объявить предупреждение, порицание или выговор; наложить штраф до 100 рублей; потребовать от администрации перевода виновного на нижеоплачиваемую работу, понижения в должности или увольнения; возложить на виновного возмещение причиненного вреда. Руководство товарищескими судами осуществляется на предприятиях профсоюзами, а в иных местах — исполкомами советов.

В проекте не сказано, какими мерами товарищеские суды обеспечивают явку виновных на свои заседания. Член Верховного суда РСФСР Бородин предлагает в этом случае использовать дружинников, то есть еще больше увеличить принудительные функции товарищеских судов⁴³). При рассмотрении дел в товарищеских судах обвиняемые лишаются даже тех небольших прав на защиту, которыми они обладают в обычных судах. Деятельность товарищеских судов, так же, как и «народных дружин», часто выходит за пределы закона, грубо нарушая права и достоинство граждан.

Несмотря на то, что проект закона еще не утвержден, товарищеские суды уже расширили свою компетенцию. Повышение роли товарищеских судов есть одна из мер нового курса советской карательной политики, направленной, в частности, на использование низовой партийной общественности для борьбы с массовыми правонарушениями.

ПЕРИОД ОГРАНИЧЕННОГО ПРОИЗВОЛА

Смягчение советской карательной политики началось вскоре после смерти Сталина и длилось вплоть до 1961 года. В отличие от сталинского времени, когда граждане не были уверены в своей личной безопасности и в любой момент без всякой вины могли подвергнуться репрессиям, все последующие восемь лет лояльный советский гражданин мог спать гораздо спокойнее. В эти годы, как указывалось в начале статьи, были отменены наиболее жесткие законы сталинского времени, снижены максимальные

⁴³) «Социалистическая законность» № 1, стр. 10, 1960 год.

сроки лишения свободы, расширены права обвиняемого, на защиту, упразднена аналогия и приняты иные изменения в уголовном законодательстве. После сталинского время может быть названо поэтому *периодом ограниченного произвола*, поскольку произвол еще остается, но массового террора уже нет.

В этот период карательные органы оказались не только не страшными для людей привилегированного класса, но, наоборот, они выступают в роли их защитника от революционеров и иных врагов режима, выгораживают провинившихся от уголовной ответственности, строго охраняют их личную, все возрастающую собственность. У людей нового класса в эти годы появилась уверенность в прочности своего привилегированного положения и в том, что сталинское прошлое для них никогда больше не повторится. Для большей прочности они постарались в новых уголовных кодексах 1960 года этому прошлому поставить юридические барьеры.

В период ограниченного произвола приняты законы, требующие более строгого индивидуального подхода к обвиняемым. Наказание теперь может быть назначено за то же самое преступление не одинаковое, а с учетом личности виновного. В этой норме особенно отчетливо отражается классовый характер советского уголовного закона, фактически отвергающего принцип равенства всех перед законом и судом. Классовому коммунистическому суду предоставляется право назначать наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом, заменять наказание более мягким, применять условное осуждение или условно-досрочное освобождение от наказания в отношении лиц, *«не представляющих общественной опасности»*. Этим правом, как показывает практика, суды пользуются прежде всего в отношении людей правящего класса и по рекомендациям партийных комитетов освобождают их от наказания или назначают непомерно низкое за те преступления, за которые непривилегированные граждане приговариваются к длительным срокам заключения.

Советские судьи при решении конкретных дел лавируют между двумя принципами. Первый гласит: *«Каждый, совершивший преступление, должен нести наказание»*, а второй — *«Применение наказания к лицу, не представляющему общественной опасности, хотя и совершившему преступление, недопустимо»*. Чтобы не ошибиться, какому принципу в каком случае следовать, судьи должны пристально следить за зигзагами политики, чутко прислушиваться к мнению комитетов партии, вышестоящих су-

дебных инстанций и — меньше всего — к голосу собственной совести.

Генеральный прокурор СССР в 1959 году требовал тщательного выяснения всех данных, характеризующих личность обвиняемого. По отношению к врагам режима должны применяться беспощадные репрессии, а в отношении лиц, не представляющих опасности, но совершивших преступление, он предлагает чаще практиковать условное осуждение и передачу их на поруки⁴⁴).

Верховный суд СССР и генеральная прокуратура в соответствии с решениями XXI съезда КПСС о постепенной замене уголовных наказаний мерами воспитательного характера, дают установку судьям, следователям и прокурорам не считать лишение свободы основной мерой наказания. Работа судов и прокуроров оценивается в этот период тем выше, чем меньше людей они присудили к лишению свободы. Общество пытаются уверить, что в период строительства коммунизма преступность и количество заключенных в Советском Союзе уменьшаются.

Смягчение уголовной политики в отношении незначительных преступлений превратилось в кампанию и привело к тому, что в 1960 году суды и прокуратура прекратили основательное число дел не только о малозначительных, но и о серьезных уголовных преступлениях.

Стремясь получить наименьший процент осуждений к лишению свободы, судебные и следственные работники без достаточных оснований осуждали условно или передавали на поруки опасных уголовных преступников. Так, например, Капушкин, восемнадцатилетний парень, за кражу со взломом, был присужден 19 августа 1959 года народным судом к одному году лишения свободы. Областной суд, по ходатайству администрации ремесленного училища, в котором Капушкин учился, заменил ему лишение свободы условным осуждением. После освобождения Капушкин стал воровать каждый день. 30 августа он, с тремя другими парнями, проник в чужую квартиру и унес вещи; 31 августа совершил кражу продуктов из буфета; 1 сентября ограбил другой буфет, а 2 сентября совершил сразу две кражи: взломал замок магазина хозяйственных вещей, украв оттуда товаров на 2 тысячи рублей, и вечером унес из одной квартиры разных вещей на 20 тысяч рублей⁴⁵).

От прокурорско-следственных работников в 1959 и 1960 годах

⁴⁴ «Советское государство и право» № 10, стр. 22, 1959 год.

⁴⁵ «Социалистическая законность» № 2, 1960 год.

требовали, чтобы они обращались к общественности, проводили собрания в связи с каждым уголовным делом. Следователи и судьи, стремясь иметь хороший отчет, собирали людей, уговаривали, «сватали» преступников коллективам трудящихся, прося взять их на поруки. Вот один из типичных примеров. В Иркутске был задержан на месте преступления грабитель. Наутро он предстал перед следователем Рюмкиным. Между ними произошел такой разговор:

«— Было дело, праздники начальник! Хотите — судите, хотите — милуйте. Но лучше бы на поруки меня...

— Это ваше первое преступление?

— Почему первое? Полгода как из тюрьмы вышел.

— Вас хорошо знает коллектив? За вас поручатся ваши товарищи по работе? Вы в этом уверены?

— Не совсем. Может и взяли бы на поруки товарищи по работе, только я не работаю. Не уважаю, знаете, эту петрушку. Мне физический труд противопоказан. Вот и маюсь.

— Кто же вас на поруки возьмет, даже если... вас отдадут, — горячился следователь.

— Ну, нет так нет. Сажайте, — лениво протянул рецидивист».

Однако прокурор не согласился, что рецидивиста нужно сажать, и заставил следователя провести собрание жильцов дома, где жил грабитель, и упросить их взять его на поруки⁴⁶).

Часто собрания, обсуждающие вопросы брать или не брать виновного на поруки, фальсифицируются. На праздники партийные органы оказывают давление, ходатайства трудящихся поддельваются, что является, по признанию советской прессы, «прямой издевкой над... мероприятиями партии по привлечению общественности к воспитанию людей, совершивших преступления»⁴⁷). Ответственных за перевоспитание в коллективах не существует, а коллектив в целом его осуществить не может, и все поручительство сводится обычно к пустой фразе и выгораживанию уголовников.

Поворот в уголовной политике отразился на качестве расследования дел и увеличил количество нераскрытых преступлений. В ряде республик возросло число убийств, хищений, нанесений тяжелых телесных повреждений и т. д. Несмотря на это, пленум Верховного суда еще в марте 1960 года вновь потребовал от судов не назначать уголовных наказаний лицам, не представляющим

⁴⁶) «Известия» от 27.3.1960 года.

⁴⁷) «Социалистическая законность» № 2, стр. 31, 1960 год.

большой общественной опасности, и передавать их дела на рассмотрение общественности⁴⁸).

В этот же период в ряде союзных республик приняты новые уголовные и уголовно-процессуальные кодексы. УК и УПК РСФСР были приняты Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 года. В них полностью воспроизведены Основы уголовного законодательства, Основы уголовного судопроизводства, общесоюзные законы о государственных и воинских преступлениях. Больше места отведено роли припартийной общественности в борьбе с мелкой уголовной преступностью, снижены наказания за некоторые преступления, шире применяется уголовное осуждение и передача виновных на поруки. Суд теперь может возложить на общественную организацию или коллектив трудящихся обязательство по воспитанию уголовно осужденного, даже если со стороны этой организации или коллектива не будет такого ходатайства. В ряде статей предусмотрена возможность освобождения обвиняемого от уголовного наказания и передача его дела в товарищеский суд. Все эти смягчения касаются, разумеется, малозначительных преступлений. В отношении политических и иных государственных преступлений никаких послаблений не сделано, и меры наказания за них по-прежнему очень суровы.

В новых уголовных кодексах усилена охрана личной собственности, а также уравнено в мерах наказания хищение государственной и общественной собственности, поскольку правящая группа предвидит их полное «слияние» в единую «общенародную собственность». Усиление мер наказания за хищение личной собственности — уступка новому привилегированному классу, накопившему личные богатства и желающему их охранять так же строго, как государственную собственность — собственность всего своего класса.

Усилены меры наказания за тяжкие преступления против личности, но в то же время за очень распространенные преступления, такие как оскорбление, легкое телесное повреждение и побои, может быть вынесено всего лишь общественное порицание. Оскорбление действием, устно или письменно, умышленное унижение чести и достоинства человека, совершённые впервые, вообще не подлежат уголовному наказанию и относятся к компетенции административных и общественных организаций. В кодексах появилась специальная глава о преступлениях против политических и трудовых прав граждан. В эту главу включены впервые

⁴⁸) «Известия» от 7.4.1960 года.

статьи о нарушении тайны переписки, неприкосновенности жилища, о подлоге избирательных документов и другие. Разумеется, в этой главе нет статей об охране прав трудящихся на забастовку, о нарушении администрацией прав граждан на свободу слова, печати, собраний и т. д.

Вновь создана глава о преступлениях против правосудия. Эта глава имеет особое политическое значение. Высшие слои советского общества, разрабатывая статьи новых уголовных кодексов, направили всю силу репрессий против политических врагов режима и наиболее тяжких уголовных преступников. В то же время они сделали все возможное, чтобы оправдать себя от повторения сталинщины. В главу о преступлениях против правосудия внесены такие, например, статьи: привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного, вынесение неправосудного приговора, заведомо незаконный арест или задержание, принуждение к даче показаний, заведомо ложный донос или ложное показание и другие. Особо строго караются преступления, связанные с неосновательным обвинением в государственных преступлениях.

В новых уголовно-процессуальных кодексах признание обвиняемым своей вины не является достаточным для вынесения обвинительного приговора. Оно «может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имевшихся доказательств по делу» (ст. 77. УК РСФСР).

Несмотря на известное усиление процессуальных гарантий, познанию истины в новых УПК уделено все же очень мало внимания. А установление истины в деле и есть основная цель уголовного процесса.

УСИЛЕНИЕ РЕПРЕССИЙ

Не прошло и полугодя после принятия нового уголовного кодекса РСФСР, как пришлось вносить серьезные коррективы в карательную политику. Угрожающий рост уголовщины в 1959-60 годах и протесты «советской» общественности против либерального курса по отношению к хулиганам, ворам, насильникам и убийцам потребовал от советского правительства усиления репрессий. Пришлось признать, что в судебной практике допускались серьезные и грубые ошибки по применению уголовного осуждения и досрочного освобождения от наказания. 4 марта 1961 года было издано постановление пленума Верховного суда СССР, а 8 апреля того же года — приказ генерального прокурора, потре-

бывавшие прекратить необоснованное применение досрочного освобождения от наказания и строже подходить к применению условного осуждения.

5 мая 1961 года президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями»⁴⁹). Указ значительно расширяет применение смертной казни. Теперь к смертной казни могут приговорить также за крупное хищение государственного и общественного имущества, за фальшивомонетничество, а рецидивистов и осужденных ранее за тяжкие преступления, — если они «терроризируют в местах лишения свободы вставших на путь исправления заключенных», совершают нападения на администрацию мест лишения свободы или организуют для этого группировки.

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена его более мягким не будут теперь применяться к осужденным за особо-опасные государственные преступления, к рецидивистам и иным осужденным за тяжкие преступления. Суды имеют теперь право назначать этой категории осужденных, помимо лишения свободы, и ссылку сроком от двух до пяти лет.

9 мая издан указ об усилении наказаний за изготовление самогона. 25 мая — указ Верховного Совета СССР «Об ответственности за приписки и другие искажения отчетности в выполнении планов».

Все эти меры — новое усиление советской карательной политики. Встать на этот «непопулярный» путь накануне XXII съезда КПСС правительство Хрущева было вынуждено потому, что иными методами и средствами уже не могло справиться с положением. За последние годы авторитет власти резко уменьшился, а страх перед органами террора ослаб. Произошло расслоение советского общества и противоречия между верхами и низами усилились. Положение осложнилось идейным выветриванием в самой партии и буржуазным разложением ее руководящих кадров. В жизнь пришли новые поколения, не знающие ужасов ежовщины и властно требующие себе доли в управлении страной. Но все места прочно заняты партийными стариками, упорно не желающими «уходить с ярмарки».

Эти и многие другие явления создали в стране особо неблагоприятную для власти политическую и психологическую атмосферу и повели к падению дисциплины, производительности труда, росту хулиганства, пьянства, насилий, спекуляции и иной уголов-

⁴⁹) «Известия» от 7 мая 1961 г.

ной преступности, а также к расцвету бюрократизма, очковлительства и иным формам обмана государства. Наряду с этим, в обществе стали возникать организованные группы политического и экономического подполья и все чаще вспыхивать очаги стихийного социального протеста.

В каком направлении идет советская карательная политика за последнее время можно проследить по прилагаемой таблице. В нее я внес лишь наиболее характерные виды наказаний, встречающиеся в различные периоды в уголовных кодексах РСФСР. По тому, сколько раз то или иное наказание обозначается в уголовном кодексе 1926, 1957 и 1960 годов, можно судить о кривой уголовных и политических репрессий, неразрывно связанной с определенными эпохами государственной жизни СССР.

Таблица⁵⁰⁾

уголовных наказаний в кодексах РСФСР 1926, 1957, 1960 гг.

Наказание	УК 1926 г.	УК РСФСР	УК 1960 г.
	с изменениями на 1.3.1957 г. с изменениями к 1940 г.	с изменениями на 1.6.1961 г.	
Смертная казнь	24	4	13
Лишение свободы до 25 лет	4	21	—
Лишение свободы до 15 лет	—	3	24
Лишение свободы до 10 лет	61	66	26
Лишение свободы до 5 лет	29	31	28
Лишение свободы до 3 лет	37	42	31
Лишение свободы до 1 года	32	32	40
Исправительные работы до 1 года	49	50	117
Ссылка и высылка	8	8	40
Общественное порицание	2	1	20

⁵⁰⁾ В таблицу, разумеется, не вошли все статьи, предусматривающие лишение свободы, а лишь важнейшие. Всего в УК РСФСР с приложениями к началу 1957 года лишение свободы предусматривалось в 261 случае, а в УК 1960 г. в 238. Разница, как мы видим не столь значительная. После «майских» указов она еще больше сократилась. Кроме того, из таблицы исключены воинские преступления, т. к. в наказаниях за них не произошло значительных изменений.

Смертная казнь в 1947 году была отменена, а затем в 1950 году вновь введена, и в дальнейшем ее применение расширилось. Как показывает таблица, в новом уголовном кодексе применение смертной казни увеличено с 4 случаев (УК РСФСР 1957 г.) до 13 к июню 1961 года. Теперь к смертной казни могут приговорить за все наиболее опасные для режима политические, а также тяжёлые уголовные преступления.

В новом УК снижен максимальный срок лишения свободы с 25 до 15 лет. Но это снижение никого не должно обманывать, так как количество случаев применения максимального срока лишения свободы в новых УК теперь увеличено, и власть имеет возможность либо казнить наиболее убежденных и опасных своих противников, либо держать их в тюрьме 15 лет.

Как мы видим из таблицы, общественное порицание, ссылка, высылка и исправительные работы стали по новому уголовному закону применяться более часто. Это было сделано по целому ряду политических и экономических причин, в частности, в связи с острой нехваткой рабочей силы и из-за малой эффективности труда заключенных. Хотя общее число случаев лишения свободы в УК РСФСР по сравнению со сталинским временем несколько уменьшилось, тем не менее лишение свободы по-прежнему остается основной мерой наказания.

При рассмотрении таблицы всегда нужно иметь в виду, что в Советском Союзе уголовщина умышленно смешивается с политической борьбой, и в разряд особо-опасных преступников относят не только шпионов, убийц и насильников, но и идейных, убежденных политических врагов режима.

Установление особо высоких мер наказания в отношении политических противников режима, постепенное расширение состава государственных преступлений, представляющих повышенную опасность для режима, создание «резинových», неопределенных по своему содержанию, формулировок законов, расширение судебного усмотрения при выборе наказания и классовый подход к подсудимым — вот характерные черты советского уголовного законодательства. Советский уголовный закон дает возможность любую критику режима объявить антисоветской агитацией и пропагандой, акт самозащиты от произвола дружинников — террористическим актом против представителей власти, а политическую борьбу — уголовным преступлением.

Советская карательная политика и советское уголовное право служат интересам коммунистической диктатуры, и на разных этапах ее развития меняются в зависимости от требований правя-

щей верхушки и соотношения сил в советском обществе. Но так же, как и раньше, при Сталине, советское законодательство в настоящее время не стабильно: диктатура не связывает себя никакими законами, никакими нормами и правилами и в любой момент может их нарушить. В Советском Союзе процветает не принцип законности, а принцип политической целесообразности. Происшедшие изменения в стране привели к изменению определенных форм и методов диктатуры, но не изменили ее сущности.

Библиография

«Воздушные пути II»

Насильственно оторванная от своего питающего лона эмиграция, и в биологическом и, особенно, в творческом отношении, не может жить вечно. Ранно или поздно должен наступить конец исключительному по своему богатству творческому цветению, которым были отмечены первые десятилетия эмиграции. Но и сейчас, когда длящийся отрыв от России даже для той части эмиграции, которую после войны называли «новой», исчисляется уже почти двумя десятилетиями, творческие возможности не иссякли. Если в зарубежье круг читателей и сузился, и издательские возможности становятся все более ограниченными, то зато «там» обозначилось целое море требовательных и благодарных читателей, доступ к которым сейчас закрыт менее плотно, чем в довоенные годы. С каким жадным интересом будут «там» читать, с какой бережливостью передавать из рук в руки те немногие экземпляры альманаха «Воздушные пути», которым суждено будет достичь «берегов отчужденности дальней»! Уже одно это должно вознаградить редактора и издателя альманаха Р. Н. Гринберга за его труды.

Первый том альманаха «Воздушные пути» был посвящен, в основном, творчеству Б. Л. Пастернака и приурочен к его семидесятилетию. Известно, что альманах дошел до Бориса Леонидовича незадолго до того, как смерть избавила его от травли и унижений. Второй том альманаха — это тоже венок на могилу, в отличие от могилы Пастернака давно ставшую безымянной. Мы не только не знаем, в какой братской могиле похоронен Осип Эмильевич Мандельштам — даже точная дата его смерти остается неизвестной и колеблется между 1938 и 1940 годом. Несомненно лишь, что один из самых замечательных русских поэтов умер от голода, лишения и травли «где-то на Дальнем Востоке». В отличие от Б. Л. Пастернака, получившего всемирное признание, имя О. Э. Мандельштама известно лишь узкому кругу любителей поэзии. Дело не только в том, что Мандельштам жил в те годы, когда вся Россия была придавлена «глухой паучей», и поэту со всех сторон «из черных дыр зияла срамота». Воспринимать поэзию Мандельштама и любить ее могут только те, кто обладает музыкальным слухом и той коренящейся в атмосфере XIX века культурой, которая с каждым годом идет на убыль — не только в Советской России. Для того, кто даже по наслышке незнаком с Гомером и Вергилием, Данте и Петраркой, многие из

Альманах «Воздушные пути» том II, под редакцией Р. Н. Гринберга, Нью-Йорк 1961 г., стр. 268.

лучших стихотворений Мандельштама (как и Вячеслава Иванова) будут просто непонятны. Можно ли винить в этом мое окраденное поколение, которое на десять или больше лет моложе «Октября»? Ни в десятилетке, ни в «хай-скул» мы Вергилия не «прорабатывали», а собранные отцами библиотеки спорили или были брошены при поспешной эвакуации раньше, чем мы могли начать ими интересоваться. Но даже те из нас, кто хотя и не читал Гомера, но не лишен поэтического слуха и не проходит равнодушно мимо поэзии, будут покорены как ранними стихами Мандельштама, так и теми, написанными между 1930 и 1937 гг., которые собрала редакция альманаха.

Большинство из напечатанных в сборнике 57 стихотворений печатаются впервые. Некоторые, хотя и в очень несовершенных описках и со значительными разночтениями, попадали за границу и раньше. Не все стихотворения, напечатанные в сборнике, написаны с тем совершенством и блеском формы, которыми отмечен пореволюционный период творчества Мандельштама. Некоторые стихи содержат в себе срывы, которые были бы немислимы в тот период, когда была написана «Бессонница» или «В Петербурге мы сойдемся снова...» Но, как справедливо отмечает в своей статье «О последних стихах Мандельштама» В. В. Вейдле, удивляться приходится не тому, что некоторые стихи оказались частично искаженными, а тому, что Мандельштам в тех условиях, в которых ему суждено было прожить последние двадцать лет жизни, вообще сохранил способность писать стихи. Какой силой духа, какой верой в тот свет, что победно светит даже в самой крошечной тьме, должен был обладать поэт, чтобы в страшном тридцать седьмом году написать скупые двенадцать строк, которые мне представляются едва ли не лучшими из собранных в альманахе. Не могу удержаться, чтобы не привести их:

О, как же я хочу
Нечуемый никем
Лететь во след лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись —
Другого счастья нет —
И у звезды учишь
Тому, что значит свет.
Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шопотом могут
И лепетом согрет.

Творчеству Мандельштама в альманахе посвящены уже упомянутая статья В. В. Вейдле, статья Георгия Адамовича «Несколько слов о Мандельштаме» и, наконец, статья Ю. Марголина «Памяти Мандельштама». Первые два автора были лично знакомы с Мандельштамом, последний кровно связан с ним тем «еврейско-русским воздухом», которым оба дышали в детстве, и благоговейно перед ним, как перед высокоодаренным старшим братом. Статьи о Мандельштаме — это еще не критика, не литературный анализ. Для этого Мандельштам еще слишком близок к нам — ведь те, что казнили его медленной казнью, еще находятся у власти, и под маршируют их жертв

еще не подведена заключительная черта. Поэтому то, что пишут о Мандельштаме сегодня, подчинено чувствам, которые не могут не владеть тем, кто знал его лично или испытал на себе неотразимое очарование его стихов — чувствам восхищения, благодарности и печали...

Вариант «Поэмы без героя» Анны Ахматовой значительно отличается от того текста поэмы, который был напечатан в первом томе альманаха «Воздушные пути». Поэма эта вынашивалась Ахматовой десятилетиями, поэтические фрагменты, включенные впоследствии в поэму, разбросаны в различных сборниках и журналах довоенных и послевоенных лет. Поэт и критик Борис Филиппов, которому издавна близка тема Петербурга-Ленинграда в русской литературе, в своих заметках о «Поэме без героя» проследил рождение центральной темы поэмы в творчестве Ахматовой. Нельзя не согласиться с Б. Филипповым, что сокровенный смысл поэмы Ахматовой можно выразить лишь одним словом — искупление. Ахматова не только прощается с чарами «Серебряного века», но и уходит от них к иным, более глубоким откровениям. Вчерашняя культура, несмотря на всё ее обаяние и удивительные творческие взлеты, должна быть оцениваема и судима в свете тех испытаний, которые суждено было пережить ее колыбели — «трагичному порождению слав и беды»; блистательной и трагической северной столице. Революция, террор, великий исход, война и апокалипсис почти трехлетней осады, надежды и разочарования послевоенных лет — этот трагический мотив не только заглушает, но и ставит под вопрос «черную музыку Блока». Не случайно эпизод поэмы свободен от метафор и маскарадных условностей — не Пуланица-Психея, а суровая война подводит итог:

От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отщепеная зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Преодо мною шла на восток.

Статья композитора и музыканта Артура Лурье «Чешуя в неводе», критика Владимира Маркова «О свободе в поэзии» и Николая Ульянова «Из незаконченных споров» формально не связаны ни с первой половиной альманаха, ни между собой. Их сближает лишь общая тема о судьбе искусства в современном мире и страстное отрицание того, что искусству и его свободе угрожает. Авторы статей лишшний раз подчеркивают то, что должно было бы быть общеизвестным, но, тем не менее, часто забывается, а именно, что диктатура, угрожающая подлинному искусству смертью, многолика. Существует не только диктатура «социального заказа», но и диктатура морализма (пример тому Толстой — становлению его мировоззрения, отмеченного деспотизмом морального начала, посвящена статья Н. Ульянова), как и диктатура моды.

Статья А. Лурье состоит из фрагментов, где оценки современной музыкальной жизни перемешаны с воспоминаниями и заметками по философии искусства. Стиль А. Лурье намеренно импрессионистичен, даже порой парадоксален. Поэтому с автором статьи трудно опираться — он не раскрывает до конца своей мысли, предпочитая говорить намеками. Преимущество такого стиля в том, что автор вызывает читателя на диалог, ставит перед ним

вереницу вопросов, на которые, вероятно, невозможно дать окончательный ответ. Возможна ли музыка, которая «ничего не выражает»? Существует ли музыкальное сознание, как сознание антихристианское? Сама постановка подобных вопросов делает статью А. Лурье необычной и увлекательной.

Статья В. Маркова «О свободе в поэзии» имеет в виду не свободу от какого бы то ни было внешнего принуждения или ограничения, а внутреннюю свободу художника, у которого хватает смелости и таланта выходить за рамки общепринятых поэтических канонных и жертвовать формальным совершенством во имя того, что В. Марков условно называет «легкостью полета». Эту «тайную свободу» В. Марков находит, прежде всего, у Пушкина, но и у таких несправедливо забытых поэтов, как Фет и Кузмин.

Та же, в сущности, тема, хотя в совершенно ином плане, владеет мыслью Льва Шестова — небольшим фрагментом из его раннего произведения заканчивается сборник. В 1902/3 гг. Лев Шестов работал над книгой, посвященной творчеству Тургенева и Чехова. Книга эта, в своем первоначальном виде, так и не появилась — она оказалась Шестову слишком плоской и лишенной того «экзистенциального беспокойства», который уже тогда им владел. Разбитая на фрагменты, эта книга появилась впоследствии под заглавием «Апофеоз бесплощности», но в нее не вошел тот отрывок о Тургеневе, который напечатан в альманахе. Внимание Шестова привлекает тот внутренний кризис, который пережил гармоничный и сдержанный Тургенев накануне смерти, когда духовная почва заколебалась под его ногами, и он пережил впервые в жизни тот «страх и трепет», который если и не ведет к Богу, то заставляет усомниться в кумирах разумности и пегельянско-го оптимизма. Так совершается то «освобождение души», которое Шестов ценил больше всего — неслучайно он всю свою жизнь вел диалоги с теми, кто рушил привычные формы духовной жизни и жаждал их пророческого обновления — с Иовом и Лютером, Толстым и Кьеркегором...

Заглавие альманаха полностью оправдано его содержанием. Сборник пронизан воздухом свободы, и в этом — тайна его привлекательности.

С. Сокольников

«Разорвать... плен рутины!»

Эта, переведенная с русского книга, — если нерусский читатель правильно поймет ее, — может открыть глаза на подлинный характер брожения в рядах современной советской молодежи и среди современных советских ученых. Кроме того, она знакомит читателя — пусть не с самыми совершенными по форме, но зато едва ли не с самыми смелыми по мысли и силе протеста образцами опальной, подпольной, запретной поэзии в Советском Союзе.

А. С. Есенин-Вольпин. «Весенний лист». Текст дан в оригинале с английским переводом.

"A Leaf of Spring" by A. S. Yesenin-Volpin. Перевод George Reavey, Изд-во Frederick A. Praeger, New York, 1961.

Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, автор «Весеннего листа» — сын крупного русского поэта Сергея Есенина (1895-1925), молодой советский поэт, философ и математик, кандидат наук Московского университета.

Сборник его состоит из двух частей: в одну входят стихотворения, написанные им с 1942 по 1958 годы, в другую — «Свободный философский трактат» (с подзаголовком «Мгновенное изложение моих философских взглядов»).

Этот «Трактат» безусловно написан человеком, который свободен так, как в Советском Союзе мало кто смеет быть свободным. Но в какой мере трактат А. С. Есенина-Вольпина оправдывает название «Философский»?

Боюсь, что если к нему подойти с теми же строгими требованиями, с какими в некоммунистическом мире принято подходить к подобному рода работам, то А. С. Есенина-Вольпина можно упрекнуть в наивности, в эклектизме, в разбросанности, в логической непоследовательности (что вряд ли прощительно специалисту по математической логике). Во вступлении к «Трактату» издатель, как бы предостерегая от подхода к этой работе с обычной меркой, обращает внимание на лихорадочную поспешность, с какой был написан этот «Трактат» (на это ушел всего один день) и — самое главное — на то, что он написан в условиях советской несвободы и принципиальной нетерпимости ко всем философским взглядам, кроме тех, которых придерживались Маркс и Ленин.

Вступление рассматривает А. С. Есенина-Вольпина как сторонника «философского скептицизма». То, что быть может не имеет большой цены в некоммунистическом мире, приобретает в условиях советской действительности поистине исключительную ценность: «Это — совершенно закономерная реакция мыслящей и стремящейся к свободе личности против уже совершенно окостеневшей и мертвящей догмы». Я склонен думать, что трактат А. С. Есенина-Вольпина было бы правильнее назвать «проповедью внутреннего мятежника и протестанта». Проповедь эта, на мой взгляд, имеет едва ли не большее отношение к политике и идеологии, чем к философии, в собственном смысле слова.

Если это философский скептицизм, то, во всяком случае, такой, который переходит в духовный бунт. Против чего же, собственно, направлен неистовый протест А. С. Есенина-Вольпина?

Из трактата нетрудно уловить, что автор не видит ничего священного в неназванном им, но набившем ему оскомину, коммунистическом «четвероевангелии», куда входят: «Материализм и эмпириокритицизм» и «Философские тетради» Ленина, «Анти-Дюринг» Энгельса и «О монистическом понимании истории» Плеханова. А. С. Есенин-Вольпин даже не собирается вступать в философский спор с авторами этих трудов, хотя ему совершенно ясно, что в них много косного, отжившего, устаревшего, догматически омертвелого. Но он смело и решительно выступает против тенденциозно схоластического истолкования этих трудов в Советском Союзе, против принудительного превращения философии в какую-то отрасль догматического богословия, вернее, маркссловия. Этот трактат — не «сплошной призыв к скепсису», а сплошной призыв к ниспровержению коммунистических богов и коммунистических верований с философских пьедесталов. На смену культуре Маркса и Ленина должна прийти никакая не скованная мысль, никак не теснимое знание и свобода духовных и творческих исканий.

«Раз уж речь зашла о свободе, — пишет А. С. Есенин-Вольпин в своем

«Трактате», — замечу, что мы дорожим свободой, понимаемой как возможность выбора, вовсе не потому, что нам нравится выбирать, а потому, что желаем выбирать без принуждения.

Это желание идет у меня очень далеко... В России нет свободы печати — но кто скажет, что в ней нет и свободы слова».

Эта выстрадавшая и упорно отстаиваемая автором мысль и становится лейтмотивом всего «Свободного трактата». Отпалкиваясь от ревизионизма философских основ марксизма-ленинизма, А. С. Есенин-Вольпин приходит к резкому осуждению всех видов духовного гнета в Советском Союзе. Его неистовый протест против варварского культа коммунистических богов и против принудительного обожествления философских воззрений Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова переходит в духовное восстание против всякой несвободы и всякой антикультуры. Я убежден, что плавная и едва ли не единственная ценность этого «Трактата» — не в его философской специфике, а в страстных неистовых протестах автора (и в самом характере этих протестов) против духовного гнета вообще, против всякой несвободы и против всякой антикультуры. Поскольку эти протесты исходят от человека из Советского Союза, то, естественно, хотелось выяснить, одинок ли А. С. Есенин-Вольпин в своем духовном бунте или же нет. Не будут ли его призывы пласом вопиющего в пустыне? На это я отвечаю, что автор «Весеннего листа» нашел в себе мужество открыто сказать о том, что у многих накоплено на сердце, но о чем эти многие предпочитают молчать.

У Ивана Ефремова (видный советский писатель и палеонтолог) есть повесть «Звездные корабли». Профессор Шатров, герой повести, — лицо вымышленное, но он как бы вообрал в себя настроения, чаяния и раздумья наиболее независимых внутренне представителей русской интеллигенции. Любопытно, что его взгляды во многом совпадают со взглядами А. С. Есенина-Вольпина. Профессор Шатров с большим трудом мирится с тем, что в Советском Союзе он осужден «на длительное самоограничение, на нарочитое сужение круга интересов, на необходимость мириться с организованным глушением сильной и смелой мысли...

Самоограничение, — продолжает Ефремов в «Звездных кораблях», — как бы заперло Шатрова наглухо в темную комнату, отделяя от многообразного и широкого мира. Надо было разорвать этот плен рутины».

Профессор Шатров из повести «Звездные корабли» и А. С. Есенин-Вольпин, автор «Весеннего листа», единодушны в этом своем стремлении разорвать плен рутины. И они понимают, что для этого нужно уничтожить железный занавес, отделяющий коммунистический мир от некоммунистического, где плен рутины уже разорван, потому что там философия и идеология не стали заменителями религии (насильственно упраздненной и повергнутой в прах в Советском Союзе) и потому, что там свободе мысли сопутствует свобода печати и слова.

Именно этим некоммунистический мир и притягивает А. С. Есенина-Вольпина и как думающего человека и как поэта. В стихотворении «Горевал я на чужбине» он пишет:

Горевал я на чужбине,
Вот опять она, Москва,
Только нет во мне, скотине,
Даже тени торжества.

Горечь прежняя забыта —
И была бы воля мне,
С торжеством космополита
Я бы жил в чужой стране.

Стихотворения А. Есенина-Вольпина составляют другую часть сборника «Весенний лист». Если Сергей Есенин родился поэтом, то сын его Александр сделал себя поэтом. Сопоставляя его ранние стихи с более поздними, убеждаешься в том, как упорно и настойчиво он преодолевал формальное несовершенство своей поэзии. Но от отца Александр Есенин-Вольпин унаследовал безудержную смелость и редкую способность улавливать и воспринимать трагические стороны российской действительности.

Его стихи — это кровавые слезки переживаний и мук отчаявшегося человека, который не хочет и не может терпеть. Это — траурный марш обреченных, но не утративших до конца надежд.

В нашем обществе все равны
И свободны — так учит Сталин.
В нашем обществе все верны
Коммунизму — так учит Сталин.
И когда «мечту всех времен»,
Не нуждающуюся в защите,
Мне суют, как святой закон,
Да еще поворят: любите,
То, хотя для меня тюрьма
Это — гибель, не просто кара,
Я кричу: «Не хочу дерьма!»
...Словно я не боюсь удара.

...Словно право дразнить людей
Для меня, как искусство свято,
Словно ругань моя умней
Простоватых речей солдата.
Что ж поделаешь, раз весна —
Неизбежное время года,
И одна только цель ясна,
Неразумная цель: свобода!

Стремление к этой цели не осталось безнаказанным для А. С. Есенина-Вольпина. «Он был несколько раз арестован, — сообщается во вступлении от издателя, — органы госбезопасности многократно и длительно допрашивали его, и в течение многих лет он находился в концентрационном лагере в Караганде. В какой советской тюрьме он находится сейчас, точно неизвестно».

Та лихорадочная спешность, с какой автор «Весеннего листа» написал свой «Свободный трактат», и объясняется тем, что он опасался упустить редкую возможность переправить рукопись «Весеннего листа» за железный занавес до своего последнего ареста. А. С. Есенин-Вольпин отдавал себе полный отчет в том, чем ему прозлит опубликование этой рукописи за границей («до последовний мне дела нет»). В Советском Союзе есть своего

рода духовный резистанс. Нельзя преувеличивать ни размеры, ни возможности этого стихийно возникшего движения духовного сопротивления, но нельзя и полностью не считаться с ним. Для читателя встреча со сборником «Весенний лист» и будет встречей с современным русским духовным резистансом.

В. Завалишин

Владислав Ходасевич

Есть поэзия промогласная — не обязательно пафосная, она просто кричит из-за избытка жизненных сил, из-за сангвинического темперамента, она обращается к широкому кругу застолийцев и поднимает про-языковски пенящиеся чаши с вином или — как у Маяковского — митингует и ораторствует.

Но есть поэзия тихого уединения, едкого, но умудренного жизнью и культурным нажимком поколений понимания окружающей вседневности. Она сторожко и чутко подходит и к мысли, и к слову: не ищет проможающих образов, не подчеркивает курсивом чуть ли не каждую фразу, превращая каждую строчку в афоризм. Нет, эта поэзия не отражает и не осмысливает жизнь, а *живается* в жизнь. Она сама — жизнь, и в ее подчеркнутой повседневности и незаметности — ее значительность. Ну к чему подчеркивать, если во всем сущем существует *существенно* решительно всё? И к чему говорить промким голосом, если тихие слова, которых ждешь и жаждешь, еще лучше промогласия проникают в душу?

Ходасевич написал немного. Во всяком случае, немного стихов. Но всю свою жизнь он отдал поэзии. Как редактор и переводчик, как литературовед и критик. Он жил в поэзии, как мы живем в давно, съездивства обжитой квартире. Да нет, не в квартире, а в собственном наследственном доме, где каждый уголок прочно связан с личной и родовой жизнью. И это не могло не оставить следа на его поэтическом творчестве. Нет, он не стал низким образом эпигоном и мозаичистом, составляющим из чужих поэтических камешков ювою композицию. Но та реальность, которая является предметом созерцания Ходасевича-поэта — это не непосредственное *видение* окружающего и самого себя; это — видение мира, *насквозь пронизанного поэзией*. И именно — русской поэзией. Не просто мир Иванов Ивановичей и Петров Павловичей, а мир уже преображенный в звучащие медью строфы Державина и опрозраченный гением Пушкина. Державин, Пушкин, Баратынский — вот и запруднишься уже: трудно назвать другие имена: и, во всяком случае, вся русская поэзия после пушкинской плеяды не оставила заметного следа на видении Ходасевича. При всей его *современности* — он вне русского двадцатого века.

Но, повторяем, — здесь не истоки творчества Ходасевича. Он — не последователь и не компилятор. Просто — для него Державин и Пушкин — такие же реальности, как и вещественный мир. Его мир — это уже мир, этими творческими реальностями населенный и преображенный.

Так, в ранней христианской поэзии (свв. Ефрем Сирин, Иоанн Дамаскин и др.) мир был преобразжен более реальной для гимнопевцев реальностью, чем сам жизненный опыт: был преобразжен Боговоплощением и Богопробыванием.

Для Ходасевича, человека века позитивного и обезбоженного, — мир преобразжен поэзией: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли...»

И, вместе с тем, это очень реальный, совсем будничный, очень наш, сегодняшней мир — мир поэзии Ходасевича. И его величина, все значение Ходасевича в том, что этот будничней мир им показывается без всякого нажима, как мир нашей душевности, как поэзия наших обезбоженных дней. Муза Ходасевича не на классических котурнах, хотя он ни на минуту не забывает о правилах классического русского стихосложения девятнадцатого века:

Высоких слов она не знает,
Но грядь беда и высока...
...Она молчит, скрестивши руки,
Но хочет песен до утра.

Может быть, нигде Ходасевич не отразился так ярко и полно, как в коротком стихотворении 1937 года:

Сквозь уютное солнце апреля —
Неуютный такой холодок.
И — смерчем по дорожке песок,
И — смолкает скворец пустомеля.

Там над северным краем земли
Черносерая вздутая туча.
Котелки поплотней нахлобуча,
Попроворней два франта пошли.

И под шум градобойного гула —
В сердце гордом, веселом и злом:
«Это молнии нашей излом,
Это наша весна допорхнула!»

Тут решительно всё — и всё совершенно: и наш городской пейзаж, и неуютный холодок нашего шумного одиночества — сквозь «уютное солнце апреля», и окутывающая нас «черносерая вздутая туча», и гордое злое сердце сегодняшней отъединенной самости.

И всё — неподчеркнуто, всё такими обычайными словами.

Ходасевич любит смещение планов: и вниз, и — иногда — ввысь. Такковы его превосходные «Звезды»: планетный хоровод дешевых потаскушек — непотребных этуалей полотелесного мюзикхолльного балета — и Божий небосвод:

Так вот в какой постыдной луже
Твой День Четвертый отражен!..

И все-таки, есть и День Четвертый, не погас он в душе поэта:

Не легкий труд, о Боже правый,
 Всю жизнь воссоздавать мечтой
 Твой мир, горящий звездной славой
 И первозданною красой.

Да, мир Ходасевича — не первозданный мир. Это мир современника, мир, преображенный нашим житейским опытом и наукой, техникой и городом, искусством и поэзией, ущербным сознанием сегодняшнего человека: Ходасевич понимает, что только этот мир дан ему — и не может быть, как жется, никому или почти никому дан мир иной:

Покрова Майи потаенной
 Не приподнять моей руке,
 Но чуден мир, отображенный
 В твоем расширенном зрачке.

Там в неподвижном сочетании
 Любовь и улица даны...

Но ведь этот мир — неповторимый и все-таки для нас милый мир: ведь мы живем в нем, и только в нем и живем — так проникновенно дан в лирике Ходасевича!

Есть в нем и щемящие до боли ноты:

Всё высвистано, прощено,
 Вот так и шлепай по грязи...

Или его известная баллада:

Мне невозможно быть собой,
 Мне хочется сойти с ума,
 Когда с беременной женой
 Идет безрукий в синема...

И Ходасевич, отнюдь не благонамеренно и благочестиво, отнюдь не «почтительнейше отдает свой билет на вход в царствие Небесное»:

Ременный бич я достаю
 С протяжным окриком тогда
 И ангелов наотмашь бью,
 И ангелы сквозь провода
 Взлетают в городскую высь...

Да, щемящая боль сквозь уют вешних солнечных лучей. И такая тихая, такая некрикливая печальная радость типично-русского сумеречного или ранне-осеннего сознания. Нерусский по крови Ходасевич — исключительно русский по душе и духу. Ему не надо теплохладного добродушия: русские в желаниях и стремлениях своих всегда в большей или меньшей мере максималисты — даже такие противники всего подчеркнутого и крайнего, как Ходасевич:

Входя ко мне, носи мечту,
Иль дьявольскую красоту,
Иль Бога, если сам ты Божий.
А маленькую доброту,
Как шляпу, оставляй в прихожей.

Иной раз потянет Ходасевича к высокому настрою Державина и Тютчева — и тут же притаится и прозаизм, — как шут подле патетически-безумного короля Лира:

Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай.
Помедли, помедли, зимнее светило...

Вот тебе — эти столик и холодный чай — и тютчевское звучание «зимнего светила»:

Помедли, помедли, вечерний день...

Эти противоположения холодного чая и торжественно медлящего «зимнего светила» — лучше не напишешь, лучше делал разве только Константин Случевский:

Устал в полях, засну солидно,
Попаив в деревню на харчи.
В окно открытое мне видно
И сад наш, и кусок парчи
Чудесной ночи... Воздух светел...
Как тишь тиха! Заону, любя
Весь Божий мир... Но крикнул петел!
Иль я отрекся от себя?

Да, вот в смещении планов Ходасевич, пожалуй, идет по пути Случевского. Хотя хорошо не знаю — знал ли он его: ведь Случевский был крепко и основательно забыт — и находился скорее в том поэтическом стане, который не был близок Ходасевичу.

А там, за толстым и опромным
Отполированным стеклом...
...Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб.

Как церковнославянизм «многоочитости» создает нужный тон для наиболее реалистического изображения ирреальности ночного Берлина эпохи двадцатых годов!

Мир Ходасевича не духовен — он человек нашего века! Мир этот — мир едкой душевности, безблагодатной и ущербной гуманитарности предпоследней эпохи русской и европейской культуры: душевность эта расслабляет дух и тело, волю и жизнестойкость:

Пробочка над крепким йодом!
 Как ты скоро перетлела!
 Так вот и душа незримо
 Жжет и разъедает тело.

Но хватит цитат! Слишком много пришлось бы приводить их из хорошей книги, подаренной русоким — и интересующимся русской литературой — читателям Нинной Николаевной Берберовой.

Книга издана хорошо, интересны впервые опубликованные стихи, авторские комментарии к стихотворениям. Жаль, что библиографическая справка ограничивается списком отдельных книг Ходасевича — и не указаны хотя бы главнейшие, основные его публикации в альманахах, журналах и газетах. Но, конечно, такая библиография потребовала бы значительного количества страниц. Среди литературы о Ходасевиче не указаны некоторые существенные статьи — в том числе статья самого редактора этой книги — Н. Н. Берберовой — «Владислав Ходасевич, русский поэт» — в двенадцатой книге (1951) «Граней». Но все это — мелкие придирки к ценной книге.

Борис Филлипов

Выдачи, предательства, лагеря... 1945 года

Талантливо написанная книга с меткими обрисовками характеров, зоркой живописью обстановок, динамической фотографией событий, но с расхолаживающими предисловиями, вступлениями и лирическими отступлениями генералов, полковников и майоров.

Если читать только то, что пишет А. И. Делианич, и принять во внимание то немногое, что известно из ее биографии со слов знавших ее по Белграду, выясняется, что она «не была сторонницей немцев и никогда не сочувствовала нацизму во всех его проявлениях» (стр. 257). И неудивительно: в Белграде она опсидала при немцах сорок девять страшных дней в тюрьме «Ваньица», в камере заложников, и была потом спасена чудом.

Пусть жестокости английских лагерей и кажутся сейчас многим каплей в море по сравнению с геноцидами двух величайших мировых тиранов — Сталина и Гитлера, умудрившихся в двадцатом веке замучить и убить десятки миллионов людей обоюбого пола и всех возрастов; пусть даже и ужасы «Вольфсберга 373» бледнеют на фоне газовых камер Аушвица и Дахау или концентрационных лагерей в ледяной сибирской тайге, но то настроение, которое навеивает на нас отважная и проникновенная рассказчица, увлекает читателя, как захватывающий приключенческий роман.

Сколько бы ошибок ни совершили в Потсдаме и Ялте умирающий Ф. Д. Рузвельт и гениальный, но не к месту доверчивый джентльмен Черчилль, все же они не идут в сравнение с тем ужасом, которым было бы объять все

А. И. Делианич. «Вольфсберг 373». 411 стр. Изд-во «Русская жизнь», Сан-Франциско, Калифорния, США.

свободолюбивое и частично свободное человечество, если бы переговоры двух тиранов и их опричникков Молотова и Риббентропа накануне Второй мировой войны привели бы к разделу всего «капиталистического» мира между этими двумя живоглотами.

Трагедия, описываемая в книге, заключается в том, что кучка русских и сербов «не хотели сложить оружия» после окончания Второй мировой войны, когда весь мир, включая и большинство немцев, считали войну законченной.

«Прихрамывая, — пишет автор, — я шла и слышала: — И чаво так опспутать перед этими с...с... Собраться бы вместе в кулачину, да вдарить им по красному носу...», и как бы эхо к этому невежественному ауканью откликается десятая страница: «у немцев — плевательные настроения». Оно и естественно: потерявши голову, по волосам не плачут. Но эта логика не могла проникнуть в мозги «Варягов» и других подобных воинских частей.

Автор проявляет много человеколюбия на своем страдном пути. Как трогательно вспоминает Делианич о маленькой датчанке-радистке Герли: «...прибилась к моему боку, как котенок, и заснула, тихонько поскуливая...» Еще более нежно вспоминает она о Сане, русской девушке, которая пряталась у старой немки: «Старуха долкала ее в спину и тоном заботливой бабушки повторяла: «Хаб дох кайне ангст, Саня!» Не бойся, Саня, они — свои!.. Где ты сегодня, через четырнадцать лет, милая, чистая, честная девушка? Где ты, Саня? Жива? Доехала ли ты до своей супровой родины? Попала ли в концлагеря ледяного севера или давно уже закрыла свои по-русски серые лучистые глаза?..» В этом же нежно-лирическом тоне написаны многие человеческие воспоминания. Хвалит она и канадского офицера, молча выдавшего ей, вместо ее фальшивого пропуска, настоящий за его подписью с приложением воинской печати. С восторгом рассказывает она об отряде из двадцати трех английских солдат, которые не только помогали ей неоднократно, но и прислали подарок «храброй девушке».

Тепло описывается лагерь в Глазенбахе: «Американцы были крайне гуманны, распорядительны...»

На 54-57 страницах изображено наиболее драгическое событие из всего калейдоскопа переживаний автора. Упорно разыскивая своих «Варягов», доставая правдами и неправдами всякие пропуски, настоящие и липовые, рассказчица к ужасу своему, после крепкого сна, высунув голову из грузовика, увидела, что он остановился перед воротами грандиозного лагеря, обнесенного густыми рядами колючей проволоки. Над воротами — доска, и на ней выведено: «Репатриационный лагерь граждан СССР». По бокам стояли две англичанки в военных формах. У обеих в кобурах тяжелые револьверы: «...У меня потемнело в глазах. От ужаса к порлу подкатила тошнота... Схватив рюкзак за ремни, я спрыгнула на землю и одним взглядом охватила две сторожевые будки по обе стороны ворот, длинный ряд черных, как сажа барачков, кишашую массу мужчин и женщин, походные кухни и метрах в десяти от нас *группу военных в советских формах* (выделено мной. — Г. З.).

Привезший меня грузовик дал ход назад и на момент скрыл меня от рыжких англичанок. Мой мозг прорезала мысль: — бежать! Подхватив покрепче мешок, я бросилась через улицу. Летела, как стрела; передо мной машинально отскакивали встречные пешеходы, а сзади слышались крики: — хальт! хальт! и слышался топот ног».

Инстинктом или чудом ноги донесли рассказчицу к главному управлению городом, и ее впустили к самому «таунмэджеру» — английскому майору, великолепному блондину с моноклем, который, увидев «забавную фигуру полной, мятой, распрепанной, с бертмотце на самом затылке, с бьющимся, как у запряженного зверя, сердцем, прерывающимся дыханием и вытаращенными глазами», — спросил с типичным для его нации юмором: «В чем дело? Где-нибудь пожар?» Рассказчица начала объяснять, что она русская эмигрантка из Югославии... В это время вошли две англичанки и начали наперерыв тараторить, показывая пальцами на А. И., которая в то время еще не знала английского языка.

Майор выслушал их высокомерно и затем указал на дверь. Когда они ушли, майор упустил беглянку папиросой, усюсюжил, посоветовал нигде пока не говорить, что она русская, «лучше говорите, что вы югославянка».

Дал пропуск с подписью Вильям Баратов, пожелал счастливого пути. Через полчаса английский военный прозвонил рассказчицу на дальнейшие небезопасные странствия через Лиенц и друтые лаперя...

Описывая беженцев из Югославии, автор не жалеет для них черных красок: «Устали не желают разговаривать с сербами и словенцами, а четник прозился, что он их всех ночью зубами запырзет...»

Книга изобилует множеством таких подробностей, которые большинству читателей неизвестны и которые стоит прочитать.

Окончательно рассеивает подозрения в симпатиях к нацизму, возникающие было при чтении чужих предисловий и присловий, стр. 356: «К женщинам, служившим когда-то в казетах, мы не питали симпатий. Они для нас были той темной стороной, той кровавой страницей, которая и привела, главным образом, к созданию Вольфсберга. Слепые слуги нацизма, люди без совести, без сердца, роботы, на глазах которых умирали тысячи беззащитных... Нет, мы их не любили и споронились их».

Г. Забежинский

«Москва» Бориса Зайцева

Юбилейную дапу в жизни Бориса Константиновича Зайцева издательство «ЦОПЭ» в Мюнхене — юбиляру исполнилось 11 февраля 80 лет — отметило выпуском его книги «Москва», в которой собраны частично уже появлявшиеся в разных издательствах и сборниках очерки писателя, так или иначе говорящие о родном и столь дорогом ему городе, о людях и событиях, связанных с жизнью первопрестольной с начала века до революции, об ушедшем в безвозвратное прошлое тихом и полном содержания бытии, которое Зайцев хочет, как он говорит, «дать почувствовать, а, может быть, и полюбить».

И надо сказать, что цели своей эти очерки достигают полностью. Люди, дела, пейзаж Москвы нарисованы Зайцевым в обычной его, незаметно завораживающей манере. Читая очерки, как бы слушаешь характерный мо-

сковский говорок автора; картины быта встают выпукло, жизненно, красочно, увлекая той задушевностью, той искренностью, той правдивостью, которые нас всегда ласкают со страниц Зайцевского письма. Не одни только москвичи почувствуют, как учащенно бьется их сердце, когда Зайцев их ласково водит по Арбату, с его живописно встающими в памяти Старокошненскими и Кривоарбалтскими переулками, по полуразрушенным в дни революции палисадам бывших барских особняков, по Охотскому ряду и Дмитровкам, к памятнику Гоголя и Пушкина, или по близлежащим к столице подмосковным...

Через любовь автора к Москве сказывается в книге любовь его ко всему русскому, как к незаметным обывателям, так и видным представителям литературы, искусства и общественности. Как живые встают тени людей, с которыми Зайцев встречался с первых его шагов в столице, куда он прибыл по окончании гимназии и где прошла затем его литературная жизнь, вплоть до событий, перевернувших вверх дном судьбы нашей родины и жизнь самого Зайцева.

Первые его встречи в мире литературы связаны с именем Чехова, которого он молодым студентом посетил впервые в имении Чехова Меллихове, воспользовавшись выраженным Чеховым желанием продать таковое. Позднее Зайцев встречал Чехова в Ялте на его даче в Аулке, где он, уже сильно больной, давал Зайцеву указания по поводу первых его литературных опытов. Большой очерк посвящен Леониду Андрееву, с которым он сблизился и много виделся в Москве, в Петербурге, за границей и в Финляндии.

Встают в воспоминаниях Зайцева и Сергей Глаголь, полицейский врач, бывший душою московского литературного кружка «Среда», где бывали и Андреев, и Тимковский, и братья Ив. и Ю. Бунины, и другие; маячат и деятели памятного Московского Литературного Кружка во главе с известным психиатром и жуиром Ник. Ник. Баженковым, и группа «Скорпион», во главе с Бальмонтом и Брюсовым, и задавленный позднее трагичным в Берлине популярный по лекциям своим на Высших Женских Курсах критик Юлий Айхенвальд, и работавший после революции в изгнании в Болгарии, поревший всю жизнь любовью к театру критик П. Ярцев, и многие другие, составлявшие в те времена соль московской литературной земли.



Особые разделы посвящены воспоминаниям «военным» и послереволюционным до принудительного отъезда Зайцева в эмиграцию.

Первый назван автором «записками шляпы», как величают на языке военных училищ «безнадежно штатских», непригодных для военного звания людей. Тут Зайцев исключительно занятно, обнаруживая дар юмориста, описывает месяцы учебы, проделанные им в Москве в Александровском Военном Училище, когда он, рядник 2-го ополчения, все же оказался призванным на действительную службу летом 1916 г. Страницы, на которых он рассказывает, как из него, уже женатого и нерасторопно штатского, пробовали сделать бравого прапорщика, не раз вызывают взрывы смеха (например, когда он повествует о том, как вызванный, «рассчитать роту», осыпанный, командуя, точно бы сам находился в строю, а не перед строем, или как он, став во фронт на Пречистенке перед каким-то стареньким генералом, не заметил лужи на тротуаре и обдал водою генералово пальто, так

что «старичок горестно махнул рукой: «Эх, юнкер, юнкер!», или как он, все же оказавшись офицером, так и не попал на фронт, застреляв без всякого своего участия при назначениях и выступлениях, пока не схватил запущенного им прищипозного воспаления легких, от которого оправился, уже находясь в отпуску, когда и узнал об Октябрьском восстании, положившем конец его военной карьере).

Последний раздел — жизнь послереволюционная, главным образом, касается «Лавки писателей», предприятия, объединившего П. Муратова, Грифцова, Осоргина и других с Зайцевым для изыскания средств существования: тут продавались издававшиеся в незначительном количестве произведения этих писателей, объявлялись циклы лекций, на которых слушатели сидели в шубах, так как аудитории, конечно, не топились, хлопотали о так называемом «академическом лайке», который приходилось везти через всю Москву к себе на салазках, благодаря все же Богу за то, что этот так пригодившийся писателям в те голодные годы паек вообще был введен стараниями Луначарского, тогдашнего комиссара народного просвещения, а в прошлом одно время «по-богемски» дружившего с Зайцевым во Флоренции, где проживал в одном с ним «альберго» и за кианги беседовал о Бодичелли.

Вспоминается тут Зайцеву «очкастый, путанно-нервный, несколько пухлый на черного жука» М. О. Гершензон (автор известных книг «Декабрист Кривцес» и «Грибедовская Москва»), с которым он не раз ходил хлопотать за арестованных к председателю московского совета Каменеву, благо Зайцев знал его случайно с юношеских времен, когда тот ораторствовал на собраниях молодежи, где бывал и Зайцев. Старое знакомство это хорошо пригодилось теперь, и Зайцеву с Гершензоном удавалось не раз выручать попавших в ЧК писателей.

Повествует Зайцев и о том, как он и сам попал, к счастью не надолго, в ЧК по делу организовавшегося под контролем большевиков «Комитета помощи» во время голода 1921 г. Арестованы тогда были Вера Фигнер, Прюколович, Муратов, Осоргин, Куркова, бывший председатель Думы Ф. А. Головин, доктор Кишкин, Борис Вишпер и другие.

Заканчивает книгу короткая глава о том, как, получив паспорт на выезд за границу, Зайцеву довелось увидеть никогда им до того не виданное здание Виадавского вокзала. Тут только, уже в поезде, когда начала «утекать назад платформа, милые лица, платочки, слезы», он, наконец, почувствовал, как от всего пережитого устал.

Александр Шик

Дружеские шаржи

Юр. Большухин

Анатолий Дар

КАЛАМБУР ВСЕ ЖЕ СВЕТИТ!

Основательно подвыпив, Иван все же, хотя и не без труда, передвигался. «Я, так сказать, передвижник», — подумалось ему, — «впрочем, мне больше хочется быть неподвижником. Не подвижником». Навстречу ему голубела раздетая доната осина. «Лучше бы ей быть не осиною, сохраняя донатараздетость. А уж если осина, то самому ему быть бы Осей или, по крайней мере, Осипом. Почему, однако, по крайней мере? Нельзя ли по краевой? Либо по сбластной, но не районного же масштаба! С какой стати? Я достаточно статен, чтобы не стать статичным, пусть даже статистическим. Экстатическим? Экс-статическим. Не став Осипом, я остаюсь Иваном и ни в малейшей степени не ивой. Но почему я не ива? И почему у меня нет привыв?»

Олег Ильинский

О П У С

На рассвете собвей так жуток,
Как несознанный строй рапир.
Непр несет Королеву Уток
В ночь, в Нью-Йорк, как темный тапир.

А в окошке — тень Аквината
Со спиной в глухом серебре.
Аквавитой сочится соната
Опус три, в подсознательном «ре».

И сейчас же возникла фреска,
А за фрескою шла тоска,
И без блеска, но не без треска
На плите кипела треска.

О пошлите же быстро в Минск его
С элегической реминисценцией!
(В собвее играют Стравинского,
Тяжко пренебрегая каденцией),

Чтобы вне полужидкой темени
Менестрельным левкоем пахнуло.
Не по теме, так хоть по темени
Меня ласково Вахом бахнуло...

Замеченные опечатки и пропуски в № 48 ГРАНЕЙ

В стихотворении А. Неймирока «Близким», на странице 121, во второй строфе второй строки, напечатано — «Как будто, телом по кресту». Следует читать — «Как будто, телом ко кресту...»

В статье Г. Мейера «Хождение по мукам»:

стр.	строка	напечатано	следует читать
170	16 сверху	с менее	с не менее
171	22 сверху	брызгливые	брезгливые
173	16 сверху	Толкачевы	Толкаченки
177	15 снизу	чем оно живет и дышет	чем они живут и дышат

В рецензии Г. Шицкина «Духовная биография Льва Толстого» выпали две строки на стр. 245: в первом абзаце первая строка в левой колонке — «Читатель во многом сам находит путь» — и последняя строка в этой же колонке — «уважение к его свободе и самостоятельности».

Р е д.

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Е. Р. Романов**
Заместитель главного редактора **Н. Б. Тарасова**
Редакционная коллегия:
А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Поцлюко.

Адрес редакции журнала «Грани»:
Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a

Условия подписки на «Грани»: Цена отдельного номера 6 НМ
На 12 м-цев — 20 НМ.

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

О Б Р А Щ Е Н И Е
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ
И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ,
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ

Доводим до сведения писателей, поэтов, литературных критиков, деятелей искусства и науки, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине, что русское издательство «ПОСЕВ», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, *предоставляет эту возможность.*

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи будут опубликованы в журнале «Г р а н и».

Отдельные художественные произведения, сборники стихотворений, сборники статей и научные труды могут быть изданы также отдельными книгами.

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

1. Издательство «Посев» принимает рукописи, *подписанные псевдонимами.*

2. Издательство «Посев» обязуется немедленно перепечатывать присланные рукописи на пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту его машинки. После перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство «П о с е в» гарантирует, что *ни одна рукопись не попадет в чужие руки.*

3. Все права на рукописи авторы передают издательству «П о с е в», включая сюда разрешение переводить рукописи на иностранные языки и

печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «Посев».

4. Издательство «Посев» обязуется откладывать авторский гонорар в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

5. Сорок процентов чистого дохода от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках, поступают в распоряжение автора. Остальные шестьдесят процентов поступают в фонд издательства «Посев» для расширения печатной базы и покрытия расходов по *бесплатному распространению в СССР*, через подпольные каналы, журнала «Грани» и книг, в том числе и произведений данного автора.

6. Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в издательстве «Посев», издательство берет обязательство передавать рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства по указанию автора. В таком случае издательство «Посев» берет на себя *защиту интересов авторов*.

7. Непринятые издательством «Посев» или другими зарубежными издательствами по каким-либо причинам рукописи будут храниться в *перепечатанном виде* до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

8. Во избежание возможных недоразумений при последующем установлении авторского права *рекомендуется прилагать к рукописи «вещественный пароль»*. Например: половину узорно разрезанной открытки, копию какого-либо рисунка или чертежа и т. п. У себя автор сохраняет другую половину открытки, оригинал рисунка или чертежа и т. п. Когда автор сможет и захочет — он предъявит этот «вещественный пароль», который совпадает с «вещественным паролем», хранящимся в издательстве, и легко утвердит свое авторство и свои права.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»?

а) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

в) Через членов различных научных и общественных делегаций; спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

г) Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иностранных артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к ненадежному, нечестному человеку.

д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение особой осторожности.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag
Frankfurt/Main
Hauptpostamt
Postfach 2786

Издательство «Посев»
Франкфурт-на-Майне
Главный почтамт
Почтовый ящик 2786

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. ИЗ РУК В РУКИ

Представители издательства «Посев» есть во всех европейских странах, в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и др. Представители издательства «Посев» часто встречают моряков, туристов и делегатов, приезжающих из СССР в западные страны.

В связи с этим приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с представителем издательства «Посев» и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. ПО ПОЧТЕ

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «Посев» и бросить в почтовый ящик или сдать на почту в любом западном государстве.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом случае оплачивает получатель — издательство «Посев».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возлагается историей ответственнейшая задача — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Цена 6 марок (6 DM)